РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

1

ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ

БИБЛИОТЕКА
Сыктывкарского
ГОСУНИВЕРСИТЕТА
имени 50-летия СССР

"НАУКА"

МОСКВА – 2001

СОДЕРЖАНИЕ

Л.Н. Булатова, Е.А. Земская, С.М. Кузьмина, В.И. Новиков (Москва). Диапазон дарования. К 80-летию М.В. Панова 3
Е.А. Земская (Москва). Умирает ли язык русского зарубежья? 14

* * *

М.Л. Гринберг (США). Расцвет и падение лениции взрывных в словенском языке 31
А.Л. Шилов (Москва). Топонимические кальки и этимология субстратных топонимов 43
Г.И. Берестнев (Калининград). Самосознание личности в аспекте языка 60
В.Д. Девкин (Москва). О неродившихся немецких и русских словарях 85
Г.П. Нещименко (Москва). Динамика речевого стандарта современной публичной вербальной коммуникации: проблемы. Тенденции развития 98

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

И.К. Сазонова (Москва). Русский семантический словарь 133
Ш.В. Хайров (Петрозаводск). *A. Mikołajczuk*. Gniew we współczesnym języku polskim 136
В.М. Алпатов (Москва). *Tanaka Katsuhiko*. "Sutaarin-gengogaku"-seidoku 139

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 151

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.З. Демьянков,
В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Ю.Н. Караулов,
А.Е. Кибрик (зам. главного редактора), *М.М. Маковский* (отв. секретарь),
А.М. Молдован, Т.М. Николаева (зам. главного редактора),
Ю.В. Откупщиков, О.Н. Трубачев (главный редактор),
А.М. Щербак

Зав. отделами: *М.М. Маковский, Г.В. Строкова, М.М. Коробова*
Зав. редакцией: *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2
Институт русского языка им. В.В. Виноградова
редакция журнала "Вопросы языкознания"
Тел. 201-25-16

© Российская академия наук
Отделение литературы и языка РАН, 2001 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2001

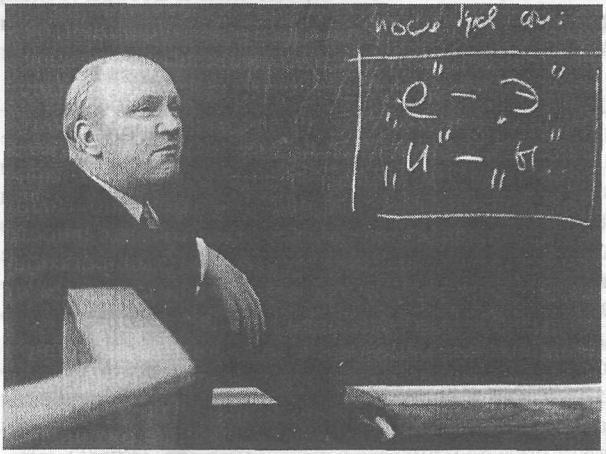
© 2001 г. Л.Н. БУЛАТОВА, Е.А. ЗЕМСКАЯ, С.М. КУЗЬМИНА, В.И. НОВИКОВ

ДИАПАЗОН ДАРОВАНИЯ

К 80-летию М.В. Панова

А наука, которая впрямь наука, –
зеленое,
ласковое,
зовущее дерево.
Веет прохладой и счастьем.

(*М. Панов*)



Научная деятельность М.В. Панова – редкий и вдохновляющий пример верности своему призванию и широты исследовательских интересов. В эпоху по преимуществу узкой специализации этот ученый возродил в своей работе принцип филологического единства, восходящий к временам Ломоносова.

М.В. Панову чрезвычайно близка образная идея радужного спектра: не случайно он присвоил разным эпохам в истории русского произношения цветовые наименования – от "лиловой" до "алой". И слово всегда интересовало М.В. Панова во всем богатстве его спектра: фонетика, графика, морфология, синтаксис, эстетика.

М.В. Панов – самый крупный представитель московской, фортунатовской лингвистической школы на нынешнем этапе ее развития. Идеи этой школы он талантливо развивает, уверенно и бережно строя здание, каркас которого возведен его предшественниками. В данной статье мы кратко рассмотрим основные направления научной деятельности этого замечательного ученого.

1. Под руководством и при авторском участии М. В. Панова в Институте русского языка РАН написаны работы, возродившие традиции **социолингвистики** и определившие на многие годы направление исследований в этой области не только в Институте русского языка, но и во всей русистике.

М.В. Панов разработал теорию языковых антиномий, лежащих в основе внутреннего, спонтанного развития языка, а также методику массового обследования языковых вариантов, позволившую выявить внутриязыковые и социальные факторы и описать их взаимодействие как в развитии языка, так и в его функционировании на

данном этапе. По образцу составленного им "Вопросника по современному русскому литературному произношению" (М., 1960) были созданы вопросники для широкого исследования других языковых уровней – морфологии, словообразования, лексики. Они позволили собрать большой материал по функционированию языковых вариантов в зависимости от внутриязыковых и социальных факторов (в частности, возрастных и территориальных). На основе обработки собранного материала под руководством М. В. Панова и при его авторском участии была написана фундаментальная коллективная монография в 4-х книгах "Русский язык и советское общество. Социолого-лингвистическое исследование" (М., 1968), послужившая мощным стимулом для развертывания работ в области социолингвистики (см. [Крысин 1990]) и заложившая основы новой школы – Московской школы функциональной социолингвистики [Земская, Крысин 1998].

Это социолингвистическое исследование имеет колоссальное значение еще и потому, что дает возможность с единых теоретических позиций и на основании одной методики описывать состояние русского языка на последующих этапах его развития и прослеживать на разных синхронных срезах дальнейшую эволюцию русского языка.

2. Ученик создателей Московской фонологической школы – А.М. Сухотина, Р.И. Аванесова, А.А. Реформатского – М.В. Панов начинает свой научный путь с исследования **фонетики**. Впрочем, фонетика и фонология и в дальнейшем занимают в его научной работе особое место, представляя, по его словам, опытное поле языкознания, на котором испытываются новые идеи.

Русская фонетика исследована им во всех аспектах: современная и историческая, сегментная и суперсегментная, теоретическая и нормативная (орфоэпия), системная и функциональная, поэтическая, сценическая. Многие направления в изучении фонетики были открыты именно им.

Виртуозно составленный М. В. Пановым текст для фонетической записи – знаменитый "Антоныч" (см. о нем [Развитие фонетики 1966]), в котором собраны все фонетические варианты середины XX в., послужил, наряду с вопросниками, основой для собирания массовых данных о произношении. Научный потенциал этих записей (они хранятся в фонотеке отдела современного русского языка Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН) далеко не исчерпан. Текст позволяет и дальше изучать русское произношение и получать данные об устойчивости орфоэпического навыка человека на протяжении его жизни [см. Каленчук (в печ.)], а также собирать данные для сопоставления произношения на новых синхронных срезах.

Монография М.В. Панова "Русская фонетика" (М., 1967) содержит всеобъемлющее описание фонетического яруса русского языка. Это своего рода фонетическая энциклопедия. Впервые дается последовательное описание фонетики в синтагматическом и парадигматическом аспекте. Книга соединяет в себе тончайшие, микроскопически-точные наблюдения и широкие теоретические обобщения.

В фонетических работах Михаила Викторовича находят отражение и получают развитие все центральные проблемы фонетики и фонологии: вопрос о языковой системе (он расширяет и уточняет это понятие), об "атоме" фонемной системы (фонема или дифференциальный признак?), проблемы слога, понятия позиции и нейтрализации.

Пафос фонологической теории Михаила Викторовича – наведение мостов между Московской (МФШ) и Пражской фонологическими школами, осмысление и снятие противоречий между ними. Так, в фонологической теории МФШ на ранних этапах ее развития была заложена возможность разного понимания фонемы: с одной стороны, как единицы, из которой принципиально невыделимы ее акустические или артикуляционные элементы (на этом настаивал В.Н. Сидоров), а с другой – как единицы, состоящей из элементарных признаков – дифференциальных и интегральных (А.А. Реформатский). Именно в целях преодоления этого противоречия Р.И. Аванесов "расщепил" понятие фонемы на две единицы: кратчайшая звуковая единица в составе словоформы (сильная и слабая фонема) и кратчайшая функциональная единица в составе морфемы (фонемный ряд).

М.В. Панов предлагает другое решение. Исходя из двух разных функций звуковых единиц – различать и отождествлять значимые единицы языка (при этом различать – удел синтагматики, отождествлять – парадигматики), Михаил Викторович постулирует две функциональные единицы: фонему, или идентификатор, назначение которой о т о ж д е с т в л я т ь значимые единицы языка, и дифференциатор, назначение которого р а з л и ч а т ь значимые единицы языка. Фонема как языковая единица, представленная рядом позиционно чередующихся звуков, не имеет дифференциальных признаков, дифференциатор же как ряд звуков, имеющих одинаковую функциональную характеристику, определяется набором различительных признаков [Панов 1997]. Эта теория (поистине теоретический прорыв) снимает противоречия между двумя крупными фонологическими школами.

М.В. Пановым разработана оригинальная типология фонетических систем, основанная на противопоставлении фонетических систем преимущественно синтагматических и преимущественно парадигматических. Важной является мысль, что парадигматические системы дают громоздкое синтагматическое описание, из которого к тому же не всегда может быть выведена парадигматическая организация фонетики. Напротив, из парадигматических законов фонетики легко выводятся ее синтагматические законы [Панов 1977]. Плодотворность этой теории была подтверждена в исследовании, основанном на типологической концепции Панова и проведенном на материале русского консонантизма с привлечением фонетики таких типологически разных языков, как английский, испанский и венгерский [Бархударова 1999].

Можно указать немало направлений фонетических исследований, успешно развиваемых в современной лингвистике, начало которым положил Михаил Викторович. Это и изучение локальных разновидностей литературного языка, и фонетическая стилистика, и описание различных фонетических подсистем – обусловленных лексически: подсистема необщеупотребительных (редких) слов, терминов; грамматически: подсистема служебных слов, флексий, междометий; подсистема поэтической речи; разговорного языка.

В фундаментальном исследовании М.В. Панова "История русского литературного произношения XVIII–XX вв." (М., 1990) развертывается богатейшая картина сменяющих друг друга произносительных эпох. На основе филигранно разработанной им методики, с помощью изобретательных способов привлечения уникального материала решается задача, кажущаяся невыполнимой при понятном отсутствии записей звучащей речи: реставрируется произношение XVIII–XIX веков. Автор ставит перед собой большой круг задач: 1) показать реальную картину изменения русского литературного произношения за последние три века; 2) найти языковые законы, которые определяют русское произношение в каждую эпоху, в каждое изучаемое столетие; 3) сопоставить эти законы, чтобы понять, имеют ли изменения общее направление, последовательность, единство развития; 4) определить, в какой степени произносительные изменения обусловлены внешними (социальными) воздействиями на язык и в какой степени – внутренними законами языка; 5) определить роль этих наблюдений при рассмотрении общих проблем развития языка.

Эти задачи получили блестящее решение. При подчеркнуто простой композиции (все главы написаны по одному плану) в книге всесторонне характеризуются пять синхронных срезов, в которых автор обнаруживает восемь фонетических систем.

Исследование русской речи в ее эстетической (поэтической) функции всегда привлекало Михаила Викторовича. Это ярко проявляется и в книге "История русского литературного произношения XVIII–XX вв.", где дается характеристика художественной речи каждой произносительной системы. Панов первый разработал в этой книге жанр фонетических портретов (например, Петра I, М.В. Ломоносова, О.О. Садовской, Е.Т. Турчаниновой, В.Н. Рыжовой, В. Яхонтова, А. Вознесенского). Этот жанр был подхвачен разными исследователями (рецензию на эту книгу см. [Ильина 1993]).

В широком спектре научных интересов М.В. Панова немалое место занимает **теория письма**, в разработке которой он опирается на положения Московской фоно-

логической школы, развивая их. Так, он углубил и расширил понимание фонематического принципа, применив его не только к парадигматическому аспекту – к передаче гласных и согласных в слабых позициях, но и к синтагматике, включив в зону его действия написания в соответствии с так называемым слоговым принципом: признаки фонем, не являющиеся различительными, не должны получать отражение на письме. М.В. Панов показал, что фонематический принцип лежит в основе не только написания букв, но и слитного-раздельного написания слов ("межсловные диеремы последовательно обозначаются пробелом независимо от того, нейтрализованы они или нет"), а также в основе русской пунктуации [Панов 1967].

Большое внимание в работах М.В. Панова уделяется эволюции русской орфографии, осмыслению путей ее развития. В своей работе в этой области, как, впрочем, и в других областях, он следует принципу Ф.Ф. Фортунатова: нельзя языку (в том числе письменному) навязывать его прошлое, письмо должно отвечать своему синхронно данному статусу. Этим принципом он руководствовался и работая в Орфографической комиссии 1963–64 гг. (подробнее о роли Панова в работе этой комиссии см. ниже). Своими трудами он доказал, что московская фонологическая теория дает ключ к усовершенствованию орфографии, служит научной базой для оценки действующих и альтернативных правил. М.В. Панов обосновал необходимость культурно-исторического подхода к решению вопросов усовершенствования орфографии. Культурно-исторический взгляд на письмо, по его мнению, означает не запрет на изменения, а необходимость оценки того, не навредит ли орфографическое новшество уже имеющимся старым текстам [Панов 1974].

3. Кратко рассмотрим некоторые из работ, посвященных проблемам слова, морфемной членимости слова, классификации частей речи (большинство этих работ, к сожалению, опубликовано в виде журнальных статей или же в малотиражных изданиях, труднодоступных читателю).

Проблема слова. В статье "Слово как единица языка" Михаил Викторович пишет: "Такая простая и ясная вещь: слово. Но она же оказывается самой трудной, неясной, загадочной. Сколько усилий потрачено, чтобы научно определить эту единицу, а конец работы еще далек" [Панов 1956: 129].

Отталкиваясь от определения слова, данного А.И. Смирницким [Смирницкий 1952], М.В. Панов предлагает свое оригинальное решение: слово – "смысловое единство, части которого не составляют свободного сочетания" [Панов 1956: 146]. Это краткое определение требует пояснений. Оно основано на том свойстве слова, о котором писал еще А.М. Пешковский [Пешковский 1959] и которое М.В. Панов углубил и расширил. Это свойство слова получило название фразеологичность (или идиоматичность) семантики слова – слово подобно фразеологизму, а не свободному синтаксическому сочетанию. Смысл слова обычно, как правило, не складывается из смысла составляющих его частей (морфем). Между смыслом целого слова и смыслом его частей существует зазор, люфт. Ученый блестяще показывает это, сопоставляя слова *вечерник* (студент вечернего факультета), *дневник* (подневная запись событий), *утренник* (утренний спектакль или утренний мороз), *ночник* (ночной светильник). И действительно, слова, образованные по одной модели на основе соотносительных по форме и смыслу прилагательных *вечерний, дневной, утренний, ночной*, имеют причудливо различающиеся значения. Каждое слово содержит свое смысловое приращение.

Именно это и отличает слова (единицы лексики) от словообразовательных структур (основа прилагательного + суффикс *-ик*), так как, с точки зрения словообразования, значение рассматриваемых единиц аналогично: нечто, связанное по смыслу с семантикой базовой основы.

Учение о фразеологичности семантики производного слова породило целую серию работ, оно активно разрабатывается в языкознании (см., например [Ермакова 1984]).

Постоянный интерес к слову как единице языка побуждал М.В. Панова исследовать проблему **членимости слова**. Эта проблематика, разрабатываемая в языкознании на

протяжении десятилетий, породила так называемый спор о *буженине* и *стеклярусе*, иными словами о том, членятся ли слова, содержащие единичные корни и полноценные аффиксы (*бужен-ина, свин-ина, осетр-ина*) или полноценные корни, но единичные аффиксы (*стекл-ярус, стеклянный, стекольщик*). Полемика между Г.О. Винокуром [Винокур 1959] и А.И. Смирницким [Смирницкий 1956: 59–64] вызвала отклики у многих современников. Однако ответ на поставленный вопрос был дан не сразу. Лишь в конце 60-х годов М.В. Панов предложил решение. Он писал: "Степень вычленимости морфемы из слова может быть различной. Границы между морфемами в одних случаях глубоки и резки, в других – менее глубоки" [Панов 1968, 2: 214]. Ученый построил шкалу членимости слова, выделяя шесть ступеней членимости – от первой ступени (наиболее четкой) до шестой (наиболее слабой).

При этом учитываются такие факторы: 1) корень употребляется свободно или связанно; 2) аффикс повторяем или уникален; 3) аффикс по значению подобен другим аффиксам данного языка или уникален; 4) аффикс употребляется / не употребляется при свободных корнях. В результате были построены две таблицы, одна из них представляет степени членимости слова в виде абстрактных единиц [Панов 1968, 2: 216–217]. Приведем вторую.

Дано слово *Аб*	Есть ли *Ав*	Есть ли *Бб*	Есть ли *Бв*	Есть ли *Дг*	Есть ли *Дв*
1. *Лет | чик*	*Лет | ать*	*Развед | чик*	*Развед | ать*	(*Пис | атель*	*Пис | ать*)
2. *Пас | тух*	*Пас | у*	–	*Нес | у*	*Лет | чик*	
3. *Стекл | ярус*	*Стекл | янка*	–	*Дерев | яшка*	–	
4. *Бужен | ина*	–	*Осетр | ина*	*Осетр | овый*		
5. *Мал | ина*	–	*Круш | ина*	–	(*Кост | яника*	*Кост | яной*)
6. *Коче | гар*	*Коче | рга*	–	–	(*Топор | ник*	*Топор*)

Позднее – уже в 70-е годы – М.В. Панов возвращается к проблемам членимости слова, расширяя и дополнительно аргументируя свои взгляды (см. [Панов 1975а]). В том же сборнике опубликована другая статья ученого, посвященная этой же проблематике. В статье «О переводах на русский язык баллады "Джаббервокки" Л. Кэрролла» М.В. Панов исследует проблематику членимости слова на очень интересном специфическом материале. Он сопоставляет четыре перевода поэмы Кэрролла (Т.Л. Щепкиной-Куперник, Н.М. Демуровой, В. и Л. Успенских и Д.Г. Орловской), показывает своеобразие творческого метода каждого из переводчиков и характеризует достигнутый ими эстетический эффект.

Проанализированный поэтический материал позволяет ему высказать такое мнение: "... можно составить в виде таблицы периодическую систему членимости слова. В ней должны быть учтены и такие качества выделяемых отрезков, как их звуковая выразительность. Эта черта, вероятно, особенно весома в художественной речи" [Панов 1975а: 248]. И далее М.В. Панов добавляет, подчеркивая значимость фактов поэзии для теории языкознания: «О многих клетках "периодической системы членимости слова" мы бы не догадались, если бы не Кэрролл... Надо уметь видеть все факты, в том числе и странные, и видеть именно их необычность. Даже такую простую вещь, как таблицу членимости, нельзя построить, не научившись видеть все факты. Кэрролл учит» [Панов 1975б: 248].

Учение о фразеологичности семантики и о степенях членимости слова вошло в вузовское и школьное преподавание, см., например [Белошапкова 1997; Земская 1973; Энциклопедия для детей 1998].

Классификация частей речи – это еще одна сфера теоретической лингвистики, интерес к которой свойствен М.В. Панову на протяжении десятилетий. В статье "О частях речи в русском языке" [Панов 1960] строит свою классификацию частей речи, исходя из мысли о том, что множественность теорий частей речи законна и необходима. И тому есть две причины: 1) "Соотношения, сложившиеся в русском языке

между крупнейшими грамматическими классами слов, сложны и многообразны"; 2) «Описание может быть истинным, если оно строго следует определенным и четко сформулированным принципам, регламентирующим соотношение между изображаемым и его "проекцией" в данном описании» [Панов 1960: 3].

Кратко изложенная в названной статье теория частей речи была позднее дополнена автором в теоретическом проспекте к монографии "Русский язык и советское общество", опубликованном в 1962 г. в Алма-Ате и ставшем библиографической редкостью [Панов 1962]. М.В. Панов вновь вернулся к проблематике частей речи в своей новейшей монографии "Позиционная морфология русского языка" (М., 1999). Отсылая читателя к этой книге, подчеркнем, что в ней М.В. Панов формулирует свое понимание понятия "система языка" и рассматривает "два других важнейших понятия, необходимых для понимания языка как особой сущности: понятие позиции и (вслед за ним) понятие нейтрализации" [Панов 1999: 21]. Эти понятия родились в сфере фонетики и фонологии, М.В. Панов применяет их при исследовании морфологии и других уровней языка; см. рецензии на данную книгу [Кронгауз 2000; Клобуков 2000].

4. Крупный теоретик, М.В. Панов является также талантливым **организатором научных исследований.** У него необыкновенный дар увлекать людей своими замыслами, заражать своими идеями, вдохновлять их на разработку проблем, которые он считает актуальными. От М.В. Панова как бы исходит ток высокого творческого напряжения, который заряжает всех соприкасающихся с ним.

Организаторский талант М.В. Панова особенно ярко проявился в период его работы в Институте русского языка Академии наук СССР, когда в руководимом им секторе современного литературного языка шла работа над темой "Русский язык и советское общество". Тема была выдвинута еще прежним руководителем сектора С.И. Ожеговым, но именно участие в ней М.В. Панова вдохнуло жизнь в разработку темы и дало общее направление всему исследованию. Это направление было задано идеями М.В. Панова и его единомышленников о взаимоотношениях между внутренними законами языка и внешними факторами, влияющими на его развитие.

Руководство работой, в которую было вовлечено множество людей (авторский коллектив, участники массового эксперимента, специалисты по статистике, чья помощь была нужна при обработке материалов), требовало от М.В. Панова больших научно-организационных усилий. Ему удалось добиться слаженной работы коллектива на всех этапах исследования: составление вопросников, собирание и обработка материала, его теоретическое осмысление и написание самой книги.

Для М.В. Панова как организатора научной работы не существовало ведомственных барьеров. Он привлекал к работе тех, в ком видел интерес к проблеме и чьи знания и способности могли принести пользу делу. Так было и с этой работой, отдельные разделы которой были написаны авторами, не являвшимися сотрудниками Института русского языка.

Результатом огромного коллективного труда, проделанного под руководством М.В. Панова, стала монография "Русский язык и советское общество", где во всех четырех частях прослеживается такое единство научной концепции, которое нечасто встречается в коллективных трудах подобного масштаба.

В 1963 г., когда еще шла напряженная работа над монографией, М.В. Панов был назначен заместителем председателя Орфографической комиссии, созданной по постановлению Президиума Академии наук СССР при Отделении языка и литературы. Готовя проект предложений по усовершенствованию русской орфографии, М.В. Панов проводит большую организационную работу с целью привлечь к обсуждению актуальных орфографических проблем широкий круг лингвистов и методистов, заинтересованных в улучшении нашей орфографии.

По инициативе М.В. Панова в Институте русского языка создается общественная орфографическая комиссия под председательством Ирины Сергеевны Ильинской. На заседаниях этой комиссии обсуждались такие сложные вопросы, как, например, написание букв *е* и *о* после шипящих, *н* и *нн* в причастиях и отглагольных прилагательных.

Авторы наиболее интересных сообщений получили рекомендацию выступить перед официальной орфографической комиссией.

В связи с работой Орфографической комиссии в 1964 г. было выпущено три сборника статей с обсуждением актуальных проблем орфографии. Их фактическим редактором был М.В. Панов, хотя он числился только одним из членов редколлегии.

Под руководством М.В. Панова был подготовлен "Обзор предложений по русской орфографии (XVIII–XX вв.)", вышедший в 1965 г. Это поистине капитальный труд, в котором с максимальной полнотой собраны предложения по усовершенствованию русской орфографии, начиная с эпохи Петра I, приведены все аргументы, выдвигавшиеся за и против каждого из них, дана подробнейшая библиография.

Обсуждение проекта предложений Орфографической комиссии в широкой прессе показало, что общество очень горячо относится к судьбам орфографии, но уровень его лингвистических познаний явно недостаточен. Многие из выступавших против этих предложений отождествляют орфографию и язык, видят покушение на русский язык в попытках реформировать его орфографию. М.В. Панов выступил на заседании общественной орфографической комиссии с призывом к лингвистам заняться популяризацией лингвистических знаний, в частности разъяснять в научно-популярных работах соотношение между орфографией и языком. Этот призыв был услышан. Стали появляться такие научно-популярные книжки, как "Орфография и русский язык" под редакцией И.С. Ильинской (М., 1966), "Письма об орфографии" Б.З. Букчиной, Л.П. Калакуцкой, Л.К. Чельцовой (М., 1969) и другие. Но самые увлекательные научно-популярные книги об орфографии были написаны самим М.В. Пановым: "И все-таки она хорошая! Рассказы о русской орфографии, ее достоинствах и недостатках" (М., 1964), и вышедшая позднее "Занимательная орфография" (М., 1984).

В настоящее время М.В. Панов – признанный глава Московской лингвистической школы (МЛШ). И не только в силу его собственного вклада в развитие идей этой школы. М.В. Панов выступает как собиратель "московских" лингвистических сил. Анкеты, которые он распространяет среди представителей МЛШ, его замысел обзора исследований последнего времени, связанных с применением и развитием положений Московской фонологической школы (подробный план этого обзора см. [Фортунатовский сборник 2000: 344]), а также словаря терминологии этой школы – все это служит цели объединить усилия лингвистов МЛШ вокруг создания общей концепции языка. Большую роль в этой объединительной деятельности М.В. Панова играет многолетний семинар близких к нему по научным интересам и взглядам лингвистов. На заседаниях этого семинара читались доклады на такие важные для МЛШ темы, как понятие гиперфонемы, критерии различения фонетических и морфонологических чередований, латентный период в истории фонемы, сложные случаи фонемной идентификации звуков в слабой позиции и многие другие. Особое внимание руководитель семинара уделяет проблеме использования понятия позиции, основного понятия московской фонологии, в других областях науки о языке. Его собственным вкладом в решение этой проблемы является книга "Позиционная морфология русского языка", с "окнами" в лексику и в синтаксис.

5. Наивность представлений о языке многих участников орфографической дискуссии еще раз обнаружила недостатки школьного преподавания русского языка и послужила для М.В. Панова новым толчком, чтобы вернуться к своему старому намерению создать силами лингвистов-русистов школьный **учебник нового типа.** Панов не мог мириться с глубоким разрывом между школьным курсом русского языка и современной научной теорией, с догматизмом преподавания, с засильем зубрежки.

Вместе с И.С. Ильинской они сформировали коллектив русистов, готовых продемонстрировать преимущества иного подхода к изучению русского языка в школе. Нужно дать школьникам научное представление об устройстве языка, научить их наблюдать языковые факты и делать выводы; рассуждать, доказывать, аргументировать свою точку зрения. Нужно воспитывать в детях любовь к русскому языку, показывая стройную согласованность его частей, богатство его выразительных воз-

можностей. А на этой основе полнее и прочнее будут усваиваться и практические навыки, в том числе и орфографические, но не только они – вообще навыки культурной речи, устной и письменной.

В 1979–1980 гг. под редакцией И.С. Ильинской и М.В. Панова вышел небольшим тиражом первый опыт учебника, основанного на таких принципах ("Русский язык. Экспериментальные учебные материалы для средней школы" в 4-х книгах). Дальнейшая разработка поставленной задачи осуществлена в серии учебников для средней школы под редакцией М.В. Панова. Недавно вышел 4-й учебник этой серии (для 8–9 классов).

Новое содержание школьного курса потребовало изменения и характера самого изложения (оно должно будить мысль ребенка) и характера заданий. В учебниках под редакцией М.В. Панова большое место отводится заданиям, рассчитанным на поиск истины, на сообразительность, а также разнообразным творческим заданиям. При этом не забываются и тренировочные упражнения.

Работа для школы не ограничивается у М.В. Панова учебной литературой. В 1984 г. вышел составленный им "Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание)", предисловие к которому написал академик Г.В. Степанов. Многие статьи в этом словаре написаны самим Михаилом Викторовичем. Словарь получил высокую оценку, в частности, в рецензии академика Д.С. Лихачева. В 1998 г. выходит языковедческий том "Энциклопедии для детей" изд-ва "Аванта+", для которого М.В. Панов написал основной теоретический раздел "Как устроен язык".

6. Нельзя не сказать о **научном языке** М.В. Панова. А.И. Солженицын пишет: "К языку таких наук, как языкознание, наиболее тесно примыкающих к повседневной жизни общества, ... я бы тоже применил не те требования, что к геологии и медицине: термины – терминами, а все ж где только можно сказать попроще, да поясней, да посочней, чтоб не только без словаря понять, а скромно-грамотному человеку даже можно б и насладиться – вот так и пишите" (см. [Капанадзе 1996: 311]).

Вот именно так и пишет М.В. Панов, именно таков его научный язык, облекающий глубину научной мысли в четкое, прозрачное, ясное, простое изложение, в котором свобода, раскованность сочетаются с мерой и вкусом. Этот ярко-индивидуальный стиль придает его работам неповторимый характер.

О научном языке М.В. Панова А.А. Реформатский писал, что ему свойственна "стилистическая афористичность изложения", "художественный прием детективного уклона".

7. Будучи известен прежде всего как выдающийся лингвист, М.В. Панов вместе с тем является крупным и оригинальным **литературоведом,** непосредственным продолжателем традиции ОПОЯЗа. Ориентация М.В. Панова на научный опыт Тынянова, Шкловского, Эйхенбаума и раннего Якобсона была осознанной, "формальный метод" для него – точка отсчета подлинной научности в исследовании литературы. Глубокие теоретические прозрения "формалистов" во многом опирались на творческую практику русского авангарда, и М.В. Панов при всей широте своего эстетически-вкусового диапазона именно в новаторской поэзии первой трети XX века находит наиболее благодатный материал для постижения общих законов литературы как таковой и логики ее историко-эволюционного развития.

С Тыняновым, Шкловским и Якобсоном М.В. Панова сближает страстный интерес к Хлебникову (см. давно написанную и только что опубликованную работу [Панов 2000]). Не меньшую эвристическую значимость для ученого имеет "экстремальная" художественная система Хармса, в работе о котором мы находим глубоко аналитичное и вместе с тем эмоциональное проникновение в мир поэта [Панов 1995]. Здесь же М.В. Панов обозначает собственные методологические принципы построения научной истории русской поэзии XVIII–XX веков – от Державина и Батюшкова до Бродского и Ивана Жданова. Мысли о "самодвижении" поэзии во многом перекликаются с тыняновским положением: "... литературная преемственность есть прежде всего борьба" [Тынянов 1977: 198], однако для М.В. Панова важна еще и самодостаточность

больших художественных явлений, не отменяемая эволюционным процессом: "Каждый мир – самоценное совершенство и вместе с тем – возможность продолжения в новом, ином поэтическом мире" [Панов 1995: 481]. М.В. Панов вводит чрезвычайно интересную и необходимую категорию эстетической предельности произведения: если возможности данного материала реализованы художником до предела, то его творение уже не может быть "превзойдено", оно не может быть "хуже" другого произведения, каким бы шедевром то ни являлось.

М.В. Панов как никто усвоил и творчески применил лежащую в основе опоязовской эстетики антитезу "материал – прием". Быть может, такой специфический подход к художественным явлениям в принципе доступен только людям творчески одаренным, какими были лидеры ОПОЯЗа – писатели-ученые, являвшиеся одновременно и "ихтиологами", и "рыбами". М.В. Панов в своем исследовании поэзии сочетает четкую научность с пониманием предмета "изнутри", обладая собственным оригинальным стихотворческим опытом [Панов 1998], ставшим совсем недавно читательским достоянием (см. [Новиков 1999]). В понятие "материала" для М.В. Панова безусловно входит вся идейно-тематическая сторона произведения, преобразуемая словом. Принципиальное положение "формалистов" о том, что "мысль" есть "материал" [Шкловский 1983: 62], абсолютно не понятое и не усвоенное структурно-семиотической школой, для М.В. Панова с самого начала было исходным постулатом. По этой причине он нередко отмечает недостаточную "специфичность" структурализма, подменившего эстетическую сущность искусства внеэстетической "знаковостью", которая для М.В. Панова является всего-навсего свойством материала, свойством, присущим и многим нехудожественным явлениям.

Литература для М.В. Панова – не пресловутое "отражение" жизни, а ее необходимая составная часть. Потому ее нельзя механически подверстывать к иным системам. Сначала следует выявить внутренние закономерности литературного "саморазвития", а потом уже их можно соотносить с закономерностями общественно-политической истории. Такой путь был намечен в статье Тынянова "О литературной эволюции" и в статье Эйхенбаума "Литературный быт" (обе – 1927 г.). В тезисах "Проблемы изучения литературы и языка" (1928 г.) Тынянов и Якобсон вновь ставили вопрос об изучении имманентных законов истории литературы в их соотнесении прежде всего с развитием языка. Этим путем и пошел М.В. Панов, наметив в начале 60-х годов плодотворную методику коллективной исследовательской работы [Панов 1962]. Однако волей обстоятельств эти перспективные начинания не получили дальнейшего развития, что, безусловно, обеднило и литературоведческую науку и русистику в целом.

Тем не менее М.В. Панов чрезвычайно много сделал и в одиночку, создав стройную модель исторического развития русской поэзии. Этот труд был осуществлен в виде спецкурса по истории языка русской поэзии, который долгие годы читался ученым на филологическом факультете МГУ, вызывая огромный интерес не только у студентов, но и у широкого круга научно-творческой интеллигенции. Печатно идеи этого спецкурса частично изложены в двух статьях [Панов 1989; 1991], однако они еще ждут обнародования в полном объеме, включая сюда и структуру "образного яруса", и емкие, афористичные характеристики конкретных поэтов. Надо сказать, что описание "образного яруса" у М.В. Панова осуществляется с тонким и точным использованием образно-эмоциональных элементов: лирический герой И. Анненского – "человек, напряженно переживающий мир", доминантная черта лирической героини Ахматовой – "человеческое достоинство, для многих непереносимое". Как письменно-научная, так и устно-лекторская речь М.В. Панова – это речь настоящего филолога, который не просто "любит слово", но и пользуется, так сказать, взаимностью: слово само идет навстречу поискам ученого, не устающего находить в родном языке новые краски и оттенки.

Особо следует сказать о новаторском вкладе М.В. Панова в теорию стиха. Стиховедческий аспект в трудах ученого всегда органично включен в общую систему

поэтики, отсюда – широкий взгляд на ритмику, охватывающий и ритм образа, и ритм композиционный. Для Панова не существует "по-школьному" резкой границы между силлабо-тоническим и тоническим стихосложением – он постоянно видит в стихе соотношение (а порой и столкновение) с т о п н о й и т а к т о в о й организации. С т а к т о в и к о м (в пановском понимании термина) по-своему граничит и верлибр. Такая типология стиха – это развитие идей тыняновской "Проблемы стихотворного языка". В ее свете явно устаревшим видится противопоставление "классических" и "неклассических" размеров, не очень нужной оказывается громоздкая статистика и процентные данные. В своих обобщениях М.В. Панов опирается не на "валовой продукт" поэзии, а на эстетически значимые стиховые закономерности. Думается, у этого подхода большое будущее.

Наступление нового века и нового тысячелетия совпало с непростой ситуацией в литературоведении – как в отечественном, так и мировом. Явно не выдержал испытания временем структурализм 60–70-х годов, его понятийный и терминологический аппарат безнадежно устарел и приобрел архаично-музейный характер. Не внушает оптимизма и "постструктуралистский" хаос – эссеистические игры с неощутимым познавательным результатом. Уход в эмпирическую фактографию и в бесконечное комментирование внехудожественных реалий литературы также не спасает положения. В нынешних условиях "экстенсивного" и потому замедленного развития литературоведения отчетливо ощутим дефицит мощных "интенсивных" идей и концепций. Неизбежно новое обращение к научному творчеству корифеев 20-х годов, непременно будет востребован и опыт построения подлинно научной исторической поэтики, предпринятый М.В. Пановым – истинным литературоведом не по должности, а по призванию.

В одной статье невозможно охватить все стороны многогранной научной деятельности М.В. Панова. Его научные труды, сама его личность и вся его деятельность оказали значительное влияние на развитие русистики второй половины XX века. Назрела необходимость издать собрание его трудов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бархударова Е.Л. 1999 – Русский консонантизм. Типологический и структурный анализ. М., 1999.

Белошапкова В.А. 1997 (отв. ред.) – Современный русский язык. 3-е изд. М., 1997.

Винокур Г.О. 1959 – Заметки по русскому словообразованию // Г.О. Винокур. Избранные работы по русскому языку. М., 1959.

Ермакова О.П. 1984 – Лексические значения производных слов в русском языке. М., 1984.

Земская Е.А. 1973 – Современный русский язык. Словообразование. М., 1973.

Земская Е.А., Крысин Л.П. 1998 – Московская школа функциональной социолингвистики. Итоги и перспективы исследований. М., 1998.

Ильина Н.Е. 1993 – Проблемы фонетики. I. М., 1993. – Рец.: М.В. Панов. История русского литературного произношения XVIII–XX вв. М., 1990.

Каленчук М.Л. (в печ.) – Об устойчивости орфоэпического навыка // Жизнь языка. Сборник статей, посвященный 80-летию Михаила Викторовича Панова (в печати).

Капанадзе Л.А. 1996 – Три письма А.И. Солженицына Татьяне Григорьевне Винокур // Поэтика. Стилистика. Язык и культура. Памяти Т.Г. Винокур. М., 1996.

Клобуков Е.В. 2000 – ИАН СЛЯ. 2000. № 4 – Рец.: М.В. Панов. Позиционная морфология русского языка. М., 1999.

Кронгауз М.А. 2000 – RLing. 2000. V. 24. – Рец.: М.В. Панов. Позиционная морфология русского языка. М., 1999.

Крысин Л.П. 1990 – М.В. Панов – социолингвист // Язык: система и подсистемы. К 70-летию М.В. Панова. М., 1990.

Новиков В.И. 1999 – Стих первой свежести // Знамя. 1999. № 3.

Панов М.В. 1956 – О слове как единице языка // Уч. зап. МГПИ им. Потемкина. Т. 1, 1956.

Панов М.В. 1960 – О частях речи в русском языке // ФН. 1960. № 4.
Панов М.В. 1962 – Грамматические разделы. Фонетика. Письмо. Стилистика // Русский язык и советское общество: Проспект. Алма-Ата, 1962.
Панов М.В. 1967 – Русская фонетика. М., 1967.
Панов М.В. 1968 (отв. ред.) – Русский язык и советское общество. Социолого-лингвистическое исследование. Т. 1–4. М., 1968.
Панов М.В. 1974 – О культурно-историческом подходе к орфографии // Исследование по славянской филологии. М., 1974.
Панов М.В. 1975а – О степенях членимости слова // Развитие современного русского языка. 1972. Словообразование. Членимость слова. М., 1975.
Панов М.В. 1975б – О переводах на русский язык баллады "Джаббервокки" Л. Кэрролла // Развитие современного русского языка. 1972. Словообразование. Членимость слова. М., 1975.
Панов М.В. 1977 – О двух типах фонетических систем // Проблемы лингвистической типологии и структуры языка. Л., 1977.
Панов М.В. 1989 – Ритм и метр в русской поэзии: Статья первая. Звуковой ярус // Проблемы структурной лингвистики 1985–1987. М., 1989.
Панов М.В. 1991 – Ритм и метр в русской поэзии: Статья вторая. Словесный ярус // Поэтика и стилистика 1988–1990. М., 1991.
Панов М.В. 1995 – Даниил Хармс // Очерки истории языка русской поэзии XX века. Опыты описания идиостилей. М., 1995.
Панов М.В. 1997 – Фонетика // Современный русский язык / Под ред. В.А. Белошапковой. 3-е изд. М., 1997.
Панов М.В. 1998 – Тишина. Снег: Стихи разных лет. М., 1998.
Панов М.В. 1999 – Позиционная морфология русского языка. М., 1999.
Панов М.В. 2000 – Сочетание несочетаемого // Мир Велимира Хлебникова: Статьи. Исследования. 1991 – 1998. М., 2000.
Пешковский А.М. 1959 – В чем же, наконец, сущность формальной грамматики? // А.М. Пешковский. Избранные труды. М., 1959.
Развитие фонетики 1966 – Развитие фонетики современного русского языка. М., 1966.
Смирницкий А.И. 1952 – К вопросу о слове // Вопросы теории и истории языка в свете трудов И.В. Сталина по языкознанию. М., 1952.
Смирницкий А.И. 1956 – Лексикология английского языка. М., 1956.
Тынянов Ю.Н. 1977 – Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
Фортунатовский сборник 2000 – Фортунатовский сборник. Материалы научной конференции, посвященной 100-летию Московской лингвистической школы. М., 2000.
Шкловский В.Б. 1983 – О теории прозы. М., 1983.
Энциклопедия для детей 1998 – Энциклопедия для детей. Русский язык. Языкознание. М., 1998.

№ 1 2001

© 2001 г. Е.А. ЗЕМСКАЯ

Посвящается 80-летию М.В. Панова

УМИРАЕТ ЛИ ЯЗЫК РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ?

1. Вопрос, вынесенный в название статьи, очень сложен. Эта сложность объясняется резкой неоднородностью состава русской диаспоры, резкой разницей между эмигрантами разных волн в отношении к русскому языку, во владении им и в стремлении сохранить его.

2. Материалом для статьи послужили данные языка русских эмигрантов, собранные мной в 90-е годы XX в. Это – магнитофонные и ручные записи, проводившиеся в пяти странах: Италии, Германии, США, Франции, Финляндии, а также отчасти письменные материалы: частные письма, записки, объявления в магазинах, эмигрантские газеты и данные семейных архивов. Изучался язык разных поколений всех четырех волн эмиграции.

Статья базируется на подготовленной к печати книге "Язык русского зарубежья" (отв. ред. Е.А. Земская)[1]. Изучение языка русского зарубежья осуществляется в рамках Московской школы функциональной социолингвистики (см. [Земская, Крысин 1998]), т.е. авторы продолжают традиции изучения русского языка, заложенные в Отделе современного русского языка Института русского языка РАН в 60-е годы при М.В. Панове, позднее – при Д.Н. Шмелеве, и продолжающиеся в настоящее время. Иными словами: изучается русский литературный язык в его живом, естественном функционировании.

Мой подход к отбору информантов и способу собирания материала отличается от того, который распространен при изучении языка диаспоры. Обычно материал собирают способом анкетирования или прямого задавания вопросов об употребительности или значении тех или иных элементов языка, а в качестве информантов используют различных лиц, независимо от того, где они жили до отъезда и каков был их язык. Вследствие этого в число информантов попадают жители не только России, но и Казахстана, Украины, Белоруссии, Узбекистана и других республик бывшего СССР и СНГ, а объектом наблюдения являются – без необходимого разграничения – носители и литературного языка, и просторечия, и диалектов. Желая установить, как живет русский литературный язык вне России, я строго подходила к отбору информантов – изучала речь носителей литературного языка, выходцев из России или российской части СССР. Основной способ собирания материала – метод включенного наблюдателя, т.е. непринужденные разговоры на разные темы, проводившиеся в естественной обстановке – дома, на улице, в машине, в церковном дворике, на прогулке.

3. Волны эмиграции. Принято различать четыре волны эмиграции: 1-я – после революции 1917 г.[2], 2-я – связанная со второй мировой войной, 3-я – в 70-е годы, когда был разрешен выезд из СССР евреям, а также происходила высылка диссидентов,

---

[1] Книга состоит из двух частей: I. "Общие процессы и индивидуальные речевые портреты" (автор: Е.А. Земская); II. "Общие и специфические процессы в языке метрополии и эмиграции" (автор: М. Гловинская). В настоящей статье я использую материалы своей части монографии.

[2] Старой эмиграцией в США принят иной счет. Первой волной называют людей, покинувших Россию до революции 1917 г., а эмиграцию послереволюционную считают второй волной.

4-я – с конца 80-х годов, т.е. в период перестройки и постперестройки. О волнах эмиграции см., например: [Эндрюс 1997; Andrews 1998].

Кратко охарактеризую волны эмиграции, обращая особое внимание на первую и четвертую, так как они различаются наиболее существенно. Подчеркну, что я стремилась выявить наиболее типические, частотные особенности этих волн. Очевидно, что среди представителей одной и той же волны имеются лица, резко различающиеся по одному или даже многим признакам.

Характеристика своеобразия разных волн эмиграции основывается на моих материалах и наблюдениях, а также на сведениях, почерпнутых из литературы. Мною не проводились специальные подсчеты и статистические исследования. Тому есть веская причина. Русская диаспора обширна и многообразна, рассеяна по разным странам и континентам. Подсчеты (для того чтобы их можно было считать показательными) должны были бы основываться на таком колоссальном материале, собрать и обработать который под силу лишь большому коллективу за длительный срок. Статистическая же обработка не столь значительного массива данных, по моему глубокому убеждению, не дает достоверных результатов. Вместе с тем, обследованный материал достаточно представителен. Проведено наблюдение над речью пятидесяти восьми эмигрантов первой волны и более ста тридцати эмигрантов прочих волн[3].

3.1. К первой волне эмиграции относят лиц, бежавших из России после революции 1917 г. В конце 90-х годов не осталось в живых почти никого из лиц, уехавших в начале 20-х годов. Живут в эмиграции их потомки – дети, внуки и правнуки. Иными словами: первая волна эмиграции может быть представлена людьми четырех поколений. В моих материалах имеются данные обо всех четырех поколениях первой волны.

Значительная часть эмигрантов первой волны и их потомков – люди высокообразованные, которых объединяет целый ряд особенностей речи, психологии и отношения к России. Их родители – русские аристократы (родовитые дворяне, князья) или высокообразованные люди других сословий, преданные России, стремящиеся сохранить свою "русскость". Им свойственно **многоязычие,** которое, с одной стороны, способствует их умению легко переключаться с одного языка на другой, а не строить макаронический дискурс, с другой стороны, обусловливает определенные особенности их русской речи в области лексики, грамматики и фонетики.

Потомки эмигрантов первой волны, как правило, в детстве дома говорили по-русски со всеми членами семьи (или, во всяком случае, с матерью и бабушкой). Этим людям свойственно достаточно хорошее владение русским языком. Они могут подолгу, свободно, на разные темы говорить по-русски, не воспроизводя выученные тексты, но порождая их. Русский язык у них не выученный, а естественный, приобретенный дома. Его отличает богатство лексики, а также наличие некоторых особенностей, присущих литературному разговорному языку. Они посещают православную церковь, в которой богослужение ведется на церковнославянском языке. Обычно они читают по-русски, но пишут далеко не все (см. [Земская 1999а]).

Некоторые лица допускают отклонения от законов русского языка в области лексики, грамматики или фонетики. У большинства этих людей русский – один из языков двуязычия или многоязычия, причем у разных лиц русский язык занимает разное место.

Знание нескольких языков – характернейшая черта эмигрантов первой волны. Она объясняется происхождением и воспитанием (их с детства учили нескольким языкам – няни, гувернантки и гувернеры), а также особенностями их жизни. Многим из них пришлось жить после бегства из России в разных странах.

Старую эмиграцию объединяет одна общая черта – эти люди бежали из России (спасая свою жизнь и жизнь своих детей) на время, на короткий срок. Долго жили на чемоданах. Они свято верили, что вернутся в Россию. Недаром они называли себя бе-

---

[3] Для сравнения приведу такие цифры. В работе [Polinsky 1998] обследовано 18 человек, отобранных примерно из сотни лиц.

женцами, а не эмигрантами. Они хранили свою "русскость". Русский язык был важнейшим элементом этой "русскости". Независимо от того, сколько языков они знают, в каких ситуациях их используют, насколько хорошо они владеют русским, в их жизни русский язык занимает особое место. Это – родной язык. Это – семейные корни. Это – связь с родиной, ее культурой и историей.

Бóльшая часть лиц старшего возраста никогда не бывала в России, но мечта о ней живет в них. Так, одна эмигрантка второго поколения первой волны, родившаяся в Хельсинки в 1920 г., живущая в США уже полвека, пишет в письме: "... мы жили в отрочестве – мечтой, что когда-нибудь в е р н е м с я в Р о с с и ю. Именно думали: вернемся, хотя никогда в ней не были" (М.Р. Гизетти – Е.А. Земской. Письмо. 17.12.1999).

У эмигрантов первой волны обнаруживается редкая стойкость в сохранении русского языка. Русский язык сохраняется вплоть до четвертого поколения, т.е. у правнуков лиц, бежавших из России. Конечно, это наблюдается не во всех семьях, но во многих семьях, живущих в разных странах. В таких странах, как, например, Италия, Германия, США, Финляндия, Франция, я это наблюдала нередко. Есть данные и из других стран – например, в Бельгии русский язык сохраняется и в пятом поколении [Stangé-Zhirovova 1998].

Мои наблюдения позволяют предположить, что имеется несколько специфических полей сохранения и стойкого функционирования русского языка: православная церковь, общение с маленькими детьми и разговоры с домашними животными.

3.2. Вторая волна наименее однородна. Причины, по которым эти люди оказались вне России, весьма различны – находились на оккупированной территории, попали в плен или окружение, были ранены, угнаны на работу в Германию. Многие из них, начав жизнь вне родины в Германии, переместились позднее в США, Австралию, Австрию или другие страны. Среди эмигрантов второй волны много людей, получивших образование в СССР. Лица, получившие высшее образование в СССР, в большинстве своем сохраняют хороший русский язык, дорожат им.

3.3. Третья волна в значительной степени состоит из диссидентов, лиц еврейской национальности и представителей разнообразных творческих, интеллектуальных профессий, вынужденных уехать или высланных из СССР. Многие из них сохраняют хороший русский язык. Такие лица и семьи мне известны в разных странах. Их отличает высокая образованность и культура. Бóльшая часть этих людей, покидая Россию, знала английский язык или язык той страны, в которую они намеревались уехать. Они, как правило, оберегают свой русский язык и язык членов своей семьи, особенно в тех случаях, когда их профессия связана с русским языком.

3.4. Четвертую волну эмиграции нередко называют экономической. В подавляющем большинстве ее составляют люди, уехавшие из России навсегда, не имеющие желания возвращаться. Их цель – как можно скорее добиться в стране-приюте успеха, иметь работу, дом, семью. Они не хотят быть чужаками, хотят стать своими. Важнейший элемент достижения этой цели – чужой язык. Многие из них стремятся всеми силами говорить на новом языке и перестают говорить по-русски. Такие люди составляют значительную часть эмигрантов четвертой волны. Они есть во многих странах (США, Франция, Италия, Финляндия), но особенно много их в Германии среди той части эмиграции, которую составляют так называемые "русские немцы", т.е. немцы, возвращающиеся на свою историческую родину в Германию из Поволжья, Казахстана, Сибири, и члены их семей. Среди последних могут быть и русские по происхождению – русские жены и русские мужья. Эмигранты четвертой волны часто не имеют высшего образования, нередко занимаются малоквалифицированным трудом и обычно, приезжая, не знают немецкого языка[4]. Им приходится начинать с нуля. Именно поэтому их русский наиболее легко и быстро подвергается влиянию чужого

---

[4] Сошлюсь на данные, приведенные в работе Н.Л. Пушкаревой: среди эмигрантов 90-х годов зафиксировано 99,3% граждан, заявивших при выезде, что они никаких языков, кроме русского, не знают [Пушкарева 1997: 156].

языка, в нем ярче всего видны процессы интеграции. Речь одного такого лица рассмотрена в [Земская 1999б].

Язык эмигрантов четвертой волны обычно изображают самыми мрачными красками, см. например: [Гусейнов 1997; Боде 1999: 72–75]. Речь такого рода мне не встречалась, но анекдоты, изображающие подобную речь, от лиц, прилично говорящих по-русски, слышала неоднократно: *Отрежь мужчине* ***два слайсика хэма*** (в США: *два ломтика ветчины*); *Я купила* ***два траншика жамбона*** (во Франции: *два ломтика ветчины*).

Отмечу, что я не жила на Брайтон-Бич, а лишь бывала там. В газетах встречала рекламы типа: *Чистка* ***карпета*** (англ. *carpet* – ковер). В литовском магазине в Бруклине видела объявления русскими буквами: **турка вареная** (англ. *turkey* – индюшка), ***верджиния*** (sic!) ***хэм*** (англ. *ham* – ветчина). А вот строчки из песни-рекламы ресторана "Сильвер дрим" на Брайтон-Бич, сообщенные мне жителем Нью-Йорка: "Зачем мне Пикадилли? / Чего мне делать с ним, / Когда мне адрес Цыли / Порождает *сильвер дрим*" (серебряные сны, от англ. *silver dream*).

В этой связи будет уместно процитировать начало интересной статьи С.Е. Никитиной, приводящей один из образцов подобной речи: «"*Зашатай дору, а то чилдренята засикуют*" ("закрой дверь, а то дети заболеют") – эту фразу, подобную щербовской "глокой куздре", произносят калифорнийские молокане, посмеиваясь над своим русским языком» [Никитина 1998: 62].

3.5. Образно и кратко различие между старой и новой эмиграцией рисуют два высказывания, которые могут служить "эпиграфами"-характеристиками: "Я всю жизнь мечтала – Россия! Россия! Россия! Россия! Пушкин – такой родной!" (Елена Волконская; никогда не была в России, родилась в Риме; второе поколение первой волны); "Русский язык – куда он денется? А вот без английского…" (Жительница Лос-Анджелеса, покинула СССР в 45 лет; в США живет 20 лет; первое поколение третьей волны).

Между эмигрантами первой и четвертой волн обнаруживаются резкие контрасты не только в степени устойчивости русского языка, в том, какое место он занимает в их жизни, но и во многих других отношениях, в частности, в том, в каких функциях они используют язык страны обитания (см. [Земская, в печати]).

С.Е. Никитина пишет: «Загруженность… русской речи "американскими словами" (интерференция) характерна, главным образом, для пожилых людей, плохо знающих английский язык» [Никитина 1998: 62]. Материалы моего исследования подтверждают мнение С.Е. Никитиной. Такая интерференция ("речевая чересполосица") присуща людям, плохо знающим язык страны обитания.

4. После данной выше эскизной характеристики волн эмиграции, рассмотрю их подробнее, обращая особое внимание на первую.

4.1. Первая волна эмиграции представляет особый интерес и в историко-культурном, и в лингвистическом отношении: она позволяет судить о том, как русский язык функционирует вне России на протяжении почти века, и, следовательно, дает материал о выживаемости русского языка, о разной степени стойкости разных участков системы языка в чужеязычном окружении.

Для наглядности приведена таблица, в которой даются сведения о 53 эмигрантах, представителях четырех поколений эмиграции первой волны. Многие из них свободно говорят на трех-четырех, а некоторые на пяти-шести языках.

Пояснения к таблице:

Знаком = обозначается равноправное владение языками, например: Р = Ф (полное владение русским и французским). Знак / используется в тех случаях, когда языки не вполне равноправны. В таких случаях первое место занимает основной язык, далее языки располагаются по степени убывания их значимости.

В графе "Владение языками" указываются лишь те языки, на которых человек может говорить. В графе "Возраст" цифра в скобках указывает поколение: 1, 2, 3 или 4.

В таблице приняты следующие сокращения:

Названия **языков:** А – английский, Ар – арабский, Б – болгарский, И – итальянский, Н – немецкий, П – польский, Р – русский, С – сербский, Фн – финский, Ф – французский, Х – хорватский, Ш – шведский, Э – эстонский, Я – японский.

Названия **стран:** А. – Англия, Ав. – Австрия. Б. – Болгария, Г. – Германия, И. – Италия, К. – Китай, М. – Марокко, Р. – Россия, Ф. – Франция, Фн. – Финляндия, Ш. – Швеция, Шв. – Швейцария, Э. – Эстония, Ю. – Югославия, Я. – Япония.

Прочее: Ж. – женщина, М. – мужчина.

Таблица

Данные об информантах – эмигрантах первой волны

№	Владение языками	Пол	Возраст: годы рождения – смерти	Страны обитания
1	Р = Ф/И	М.	1924 (1)	Р. – И. – Ф.
2	Р/Ф	Ж.	1924 (2)	Б. – Ф.
3	Р/А/И/Ф	Ж.	1934 (3)	К. – И.
4	Р/А/Ф	Ж.	1909–1997 (1)	Р. – К. – США
5	Р = Фн = Ш/А/Ф	Ж.	1908–1997 (1)	Фн.
6	Р/А/И	М.	1931 (?) (2)	Ю. – США – И.
7	Р/А/Я/К	Ж.	1948 (3)	К. – Я. – США
8	Р = Фн/Ш/Ф/А/П	Ж.	1942 (3)	Фн. – Ф.
9	Р/Н/И/Ф/А	Ж.	1934 (2)	И.
10	А/Ф/И/Р	Ж.	1924 (2)	И.
11	Ф/Р	М.	1924 (2)	Ф. – И.
12	Ф/Р	Ж.	1924 (2)	Ф.
13	И/Р	Ж.	1924 (2)	И.
14	Н/Р	Ж.	1924 (2)	Г.
15	Н/Р/Х/С/П	М.	1948 (3)	Г.
16	И/Ф/Р	Ж.	1957 (3)	И.
17	Ш/Н/Р	Ж.	1942 (3)	Г. – Ш. – Г.
18	А/Р	Ж.	1909 (1)	Р. – США
19	А/Р	Ж.	1941 (3)	США
20	Ф/А/Р/Ар	Ж.	1930 (2)	М. – Ф. – А. – США
21	Р = А	Ж.	1907 (1)	Р. – США
22	Р/А/Ф (?)	Ж.	1907 (1)	Р. – Ю. – Ф. – М. – Ав. – США
23	Р/Ф/А	Ж.	1934 (?) (2)	Ю. – Ф. – США
24	Р = А/Ф (?)	Ж.	1918 (?) (1)	Р. – США
25	Р/А	Ж.	1929 (?) (2)	США
26	А/Ф (?)/Р	Ж.	1961 (4)	А. – США
27	Р = Фн = Ш	Ж.	1903 (1)	Фн.
28	Фн/Р/Ш	Ж.	1939 (2)	Фн.
29	Р = Н	М.	1917 (1)	Р. – Г.
30	Р/Н/С	Ж.	1922 (2)	Ю. – Г.
31	Н/Р	М.	1949 (3)	Г.
32	Н/Р	Ж.	1994 (?) (4)	Г.
33	А/Р	Ж.	1983 (4)	США
34	Ф/Фн/А/Р/Н/Ш	М.	1976 (4)	Фн.–Ф.
35	Ф/Фн/Р/А	Ж.	1981 (4)	Фн. – Ф. – Бельгия
36	А/Я/Р	М.	1971 (?) (4)	Я. – США
37	А/Я/Н/Р	М.	1967 (4)	Я. – США – Р. – Шв.
38	А/Ф/Р	Ж.	1930 (3)	Ф. – США
39	Р	М.	1899–1991 (1)	Р. – Б.
40	Р/Б/Ф	Ж.	1950 (?) (2)	Б.

№	Владение языками	Пол	Возраст: годы рождения – смерти	Страны обитания
41	Ф/Р	Ж.	1952 (?) (3)	Ф.
42	Ф/Р	М.	1942 (3)	Ф.
43	А/Р	М.	1922 (2)	К. – США
44	А/Р	Ж.	1930 (?) (2)	К – США
45	Р/Фн/Ш/Н/А	М.	1927 (3)	Р. – Фн.
46	Фн/Р/Ш	Ж.	1958 (3)	Фн.
47	Р/Фн	М.	1903–1979 (1)	Р. – Фн.
48	Р = Н	Ж.	1931 (2)	Г.
49	Р = Н/Ф	Ж.	1883–1983 (1)	Р. – Г.
50	Р	Ж.	1887 (?) – 1955 (1)	Р.–Г.
51	Р = Н/Ф/А	М.	1909–1997 (1)	Р.–Г.
52	Р/А/Н/Э	Ж.	1920 (2)	Фн. – Э. – Г. – США
53	Фн/Р/Ш/Н/А	Ж.	1953 – (?) (3)	Фн.

Примечание. Речь информантов 49, 50 изучалась только по письменным источникам – частная переписка, воспоминания.

Обобщу сведения об информантах, помещенные в таблице. Русский язык является основным у 26 человек из 53 эмигрантов первой волны. Распределение по поколениям (указаны римскими цифрами) дает такие сведения:

I – 14 чел., у всех основной язык русский.

II – 18 чел.; у 9 чел. русский основной, у 9 – не основной.

III – 14 чел.; у 4 чел. русский основной, у 10 – не основной;

IV – 7 чел., у всех русский не основной язык.

Сразу видно, что во втором поколении русский язык является основным у половины лиц, в третьем поколении он является основным нередко, и лишь в четвертом поколении русский язык утрачивает роль основного. Обычно он сохраняется как язык домашнего общения. Однако неграмотных среди моих информантов нет. Все умеют читать и писать по-русски, некоторые пишут письма на русском языке и читают серьезные русские книги, например, романы Достоевского.

Таким образом, во втором и даже в третьем поколении у значительной части эмигрантов первой волны именно русский язык, а не язык страны обитания, сохраняет позицию основного. При этом данные люди владеют многими языками, некоторые являются билингвами.

Несомненно, что в сохранении русского языка в качестве основного или достаточно сильного огромную роль играют семейные традиции (стремление сохранить русский язык, постоянное использование его при общении в семье, отношение к нему как к святыне), личные качества говорящего, его образованность, профессия (связана ли она с русским языком), интерес к России и всему русскому, интерес к своим семейным корням, возможность иметь собеседников, говорящих по-русски.

Языковая компетенция[5] информантов свидетельствует о распространенности знания многих языков: 6 языков знают 2 чел.; 5 языков знают 4 чел.; 4 языка знают 9 чел.; 3 языка знают 17 чел.; 2 языка знают 19 чел.; 1 язык (русский) знают 2 чел.

Характеристика поколений по знанию языков дает такую картину:

[5] Принимаются во внимание лишь языки, на которых человек умеет свободно, без подготовки говорить.

I поколение – 14 чел., из них: 5 языков знает 1 чел., 4 языка знает 1 чел., 3 языка знают 6 чел., 2 языка знают 4 чел. Только русский знает 2 чел.[6];

II поколение – 18 чел., из них: 5 языков знает 1 чел.; 4 языка знают 3 чел., 3 языка знают 5 чел., 2 языка знают 9 чел.;

III поколение – 14 чел., из них: 6 языков знает 1 чел., 5 языков знают 2 чел., 4 языка знают 3 чел., 3 языка знают 4 чел., 2 языка знают 4 чел.;

IV поколение – 7 чел., из них: 6 языков знает 1 чел., 4 языка знают 2 чел., 3 языка знают 2 чел., 2 языка знают 2 чел.

Материалы показывают, что эмигрантам всех поколений присуще знание многих языков, т.е. жизнь в эмиграции способствует многоязычию. Эмигрантов первой волны и их потомков отличает от поздней эмиграции умение переключаться с одного языка на другой, а не смешивать языки. В их русский могут попадать отдельные заимствования в виде инкрустаций. Как пишет Л.В. Щерба, "оба языка [или: три и более языков. – *Е.З.*] образуют две отдельные системы ассоциаций, не имеющие между собой контакта. Это очень частый случай у людей, выучивших иностранные языки от иностранных гувернанток, с которыми они могли говорить только на изучаемом языке с исключением всякого другого" [Щерба 1976: 61]. Похожая ситуация возникает и при жизни в эмиграции, когда жители страны обитания не знают русского языка и при общении с ними эмигрантам нельзя переходить на родной язык.

В таблице представлены жители шести стран: США – 17, Германия – 11, Финляндия – 9, Италия – 8, Франция – 6, Болгария – 2.

Таблица содержит сведения о членах одной семьи: муж (47) – жена (5) – дочь (8) – ее дети (34, 35); мать (50) – сын (51) – внук (8); мать (7) – дети (33, 36, 37); мать (20) – дочь (21); мать (18) – дочь (19); мать (10) – дочь (16); мать (22) – дочь (23); муж (43) – жена (44); муж (29) – жена (30) – их сын (31) – его дочь (32); отец (39) – дочь (40).

4.2. Что отличает ярче всего эмигрантов первой волны? А такие отличия несомненно есть. Их ощущаешь четко, когда впервые знакомишься со старой русской аристократией, как мне довелось в 1997 г. в Риме. Назову основные компоненты, которые составляют это отличие: естественность поведения, вежливость при полном отсутствии высокомерия, безукоризненная осанка (всякое отсутствие сутулости до старости), хорошо поставленный громкий голос, четкая дикция. Названные отличительные черты присущи не только старой аристократии, но и представителям других сословий – духовенство, врачи, инженеры и др.

Речь эмигрантов первой волны может быть охарактеризована как **литературная разговорная** речь, во многом близкая русскому литературному разговорному языку (РЯ) современных жителей России среднего и пожилого возраста. От речи современной молодежи ее отличает прежде всего **темп**, – эмигранты, как правило, не говорят так быстро, как это свойственно молодежи в конце XX века. В речи многих эмигрантов (но отнюдь не всех!) заметно влияние интонации языка той страны, в которой они живут: английского, итальянского, французского, немецкого и др. Общая отличительная черта речи эмигрантов – некоторая архаичность, ощущаемая, прежде всего, в лексике, фонетике и речевом поведении.

Существует мнение, что эмигранты второго поколения, т.е. лица, родившиеся вне России, не владеют русским разговорным языком [Голубева-Монаткина 1993: 101], что им его заменяет французский язык (это мнение основано на изучении речи лиц, живущих во Франции). Мои материалы не подтверждают этого мнения. Выскажу такое предположение: у эмигрантов-билингвов, русско-французское двуязычие которых имело корни еще при жизни в России, до революции, это двуязычие изменяло свой характер – пребывание во Франции могло ослаблять русский язык и усиливать

---

[6] Эти люди приехали в эмиграцию, не зная других языков. Оба они умерли. Один (39) жил в Болгарии и не считал нужным учить болгарский язык. Другая (50) жила в Германии, обходилась минимальным знанием немецкого языка (он ей не нравился), дома говорила по-русски, любила читать русскую художественную литературу.

французский. Мои наблюдения за многими эмигрантами, живущими в Германии, Италии, Финляндии, США, Китае, Болгарии свидетельствуют о том, что эмигранты второго, а в ряде семей и последующих, поколения владеют русским разговорным языком (см. также: [Толстой 1998]). И это вполне естественно. У эмигрантов не первого поколения может ослабевать книжный кодифицированный литературный язык (КЛЯ), если они получили образование не на русском языке (см. об этом: [Земская 1999а]), но сохраняется именно разговорный язык как язык семейного общения, бытовой, домашний.

Приведу высказывания метаязыкового характера двух эмигрантов первой волны не первого поколения, живущих в Германии.

Эмигрант третьего поколения (15), у которого была русская бабушка (50), отец – полурусский (51; увезен из России в 1920 г. трехлетним мальчиком, не знающим немецкого), а мать – немка, пишет мне: "Я хорошо помню, что мой папа с бабушкой разговаривали на неплохой РР [разговорной речи], и в общем с нами, детьми, папа пользовался не так уж редко даже просторечными элементами. (Помню, когда мы хотели куда-нибудь сходить или поехать, а он этого не хотел, он в шутку мог сказать: *Жопой по простыне поедешь!* – это звучит для меня не слишком литературно.) О себе. До бабушкиной смерти [она умерла, когда мальчику было 18 лет] мы с ней говорили исключительно по-русски, но – по мере ее прогрессирующего склероза – все меньше и меньше".

Эмигрантка второго поколения, родившаяся в Берлине в 1931 г., великолепно владеет русским и немецким (48). С мужем и сыном разговаривает обычно по-русски, но оба языка воспринимает как основные. Шутливо сообщает мне: "С сыном иногда по-немецки приятно *жарим*". Обращает на себя внимание экспрессивный глагол широкой семантики *жарим*, ср. типично разговорные конструкции: *Он так и жарит по-английски, Она на трех языках жарит.*

Повторю, что разговорный русский язык сохраняется во многих семьях эмигрантов и не первой волны. В таких случаях язык страны обитания обычно выполняет именно функцию книжного официального средства общения.

4.3. Представители эмиграции первой волны не однородны в социальном отношении, что, естественно, находит отражение в языке. Наряду с лицами дворянского происхождения среди них имеются и разночинцы, и купцы, и промышленники. Не ставя перед собой цель рассмотреть язык разных слоев эмиграции, укажу лишь на существование некоторых типических различий, так сказать, "лакмусовых бумажек" – показателей социальной дифференциации говорящих. Примером таких социальных лексических маркеров может быть употребление глаголов *есть* / *кушать*. Закрепленное современной нормой неупотребление *кушать* по отношению к себе, сохранение его лишь в формулах угощения, иногда по отношению к маленьким детям, свойственно речи старой русской аристократии и образованных слоев эмиграции, тогда как представители других слоев – выходцы из купцов, крестьян, городского мещанства – обычно рассматривают *кушать* как вежливую форму, противостоящую грубому *есть* (см. об этом подробнее: [Земская 2000: 68–70]).

4.4. Среди старой русской эмиграции двуязычие и даже многоязычие – не редкость. Как именно функционирует двуязычие у лиц, долгое время живущих за границей или родившихся вне России?

Неверно было бы думать, что двуязычные люди всегда свободно обо всем говорят на двух языках. Нередко двуязычие распределено ситуационно и тематически. Мои наблюдения и опросы информантов свидетельствуют о том, что употребление русского языка и языка той страны, в которой живет человек, нередко находятся в дополнительном распределении. Так, например, молодая женщина, русская по происхождению, но родившаяся в Германии, сообщила, что дома с родителями она говорит только по-русски, а когда, например, ведет автомобиль, заправляет его и т.п. – только по-немецки, что она даже не знает, как называются по-русски те или иные предметы и

действия, связанные с автомашиной. Это относится и к работе на компьютере. Сохранение за русским функций домашнего, семейного языка распространено в среде эмигрантов.

Среди эмигрантов действуют два основных вида двуязычия: полное (более редкое, но реально существующее и наблюдаемое у некоторых моих информантов) и находящееся в дополнительном распределении (по ситуациям, темам, адресатам и т.д.).

5. Что можно сказать о степени сохранности русского языка, о его стойкости у эмигрантов других волн? Эмиграция не первой волны не обнаруживает такого единства в отношении к русскому языку, в стремлении его сохранить, как эмиграция первой волны. В ней больше контрастов; индивидуального, пожалуй, больше, чем типического. Как пишет один проницательный славист (15), "нет поколений, есть только индивидуальности" (Из письма к Е.А. Земской, 14 апреля 2000 г.). Именно поэтому я хочу привести конкретные примеры того, как живет русский язык у эмигрантов разных волн в разных странах (США, Германия, Голландия).

5.1. Вторая волна. Вот краткая история одной семьи, живущей в Лос-Анджелесе. Муж (СН) – сын священника. В СССР получил высшее образование, инженер. Во время войны оказался в Германии. В Гейдельберге получил второе образование. В 1949 г. переехал в США, поступил в Калифорнии учиться в университет UCLA. Получил третье образование.

Путь жены (ЕН) в США иной: Югославия – Германия – Венгрия – США. Тоже училась в UCLA. Там они и познакомились, а позднее – поженились. Оба православные, в церкви посещают богослужение на церковнославянском языке, хотя служба бывает и на английском. Оба сохранили превосходный русский язык (живут в США – 50 лет!). В их речи я не отметила черт разрушения языка. Английские слова употребляют очень редко – например, в названиях болезней. Сетуют на порчу русского языка. СН ругал калифорнийскую газету "Факт": "Портят русский язык // Зачем употреблять *дайджест?*". Очень следят за своим русским языком. ЕН заметила: "Мы вставляем английские слова // – В каких же случаях? – Да вот я сказала / *Darling*!". В речи СН встретилось одно неузуальное русское слово, которое он произвел по продуктивной модели: *Это* ***обдувательство*** *людей* // (вм. *надувательство*). Меня ЕН называла уменьшительным именем *Леночка*. Говоря друг о друге с чужими, именуют друг друга по имени и отчеству.

Ярко показывает отношение супругов к русскому языку то, как они воспитали своего сына. Они усыновили трехнедельного мальчика-американца. Я познакомилась с ним в 1999 г., когда ему было 33 года. Наше знакомство началось так. Он позвонил по телефону и спросил: – *Мне нужно профессора / Елену // Я не знаю как дальше* // – Это я // – *Это Ник* //. Замечу, что в разговорах со мной родители называли сына *Николай*. Ник по моей просьбе пришел ко мне. Он очень общителен и доброжелателен, охотно рассказывал о себе. Первый язык у него – русский. Ходил в русскую школу. Дома (с родителями, с бабушками и дедушками) говорил по-русски. Кончил тот же университет UCLA (по истории), что и родители. Три года работал в России. По внешнему виду, манере вести себя, поведению, Ник – американец. Сам Ник говорит: *Никто никада* (никогда) *не верит што я русский*. Однако русский язык у него очень хороший, лучше, чем у многих русских, живущих в США 20–30 лет.

Основное, что отличает речь Ника от речи русских в фонетике – тип аканья. В первом предударном слоге – редуцированный *ъ: пътом* (потом), *Къфкас* (Кавказ), *тък што* (так что), т.е. строение слога *тъта́*. В произношении согласных можно отметить мягкость звука ***ш*** (*наш'и*). В некоторых случаях заметно влияние английской интонации. Произносит, как и полагается в русском разговорном языке: *што, никада* (никогда), *суда* с твердым начальным звуком. Сочетание *зж* произносит по "молодой норме" как твердое: *переезжает*. Один раз он неверно образовал словоформу род. падежа множ. числа (*фермов* – вм. *ферм*). Один раз произвел неузуальную глагольную

форму по продуктивной модели: *Можете меня* ***проэкзаминировать***, вместо: *проэкзаменовать*.

У Ника богатый запас слов. В тех редких случаях, когда Ник затрудняется в поисках русского слова, он не вставляет сразу английское, а спрашивает или сам подыскивает слово: *У меня* ***fiancée*** *русская* / (поправляясь, с сомнением) ***невеста***?; (рассказывает о своей фирме) *Там больше половины / как сказать?* ***Работников***? – Сотрудников //. В речи встречаются элементы книжной лексики, типа выражения *в том плане, что …*: *Она не ограничена* ***в том плане*** (***што…***); *Я ее выбрал* ***по таким факторам…*** Скорее всего, наличие подобных выражений объясняется работой Ника в фирме в России. В речи эмигрантов первой волны книжно-канцелярские элементы мне не встречались. Несомненно, что русский язык Ника укрепила работа в России и общение с русской невестой. Он говорит: *Она очень много мне дала // Она Герцена закончила / языковой институт // Она переезжает суда летом //*. Обращает на себя внимание чисто разговорная номинация – ***Герцена*** *закончила* (ср. полное название: *Пединститут имени Герцена*).

На мой вопрос, на каком языке он говорит с родителями, отвечает: "С родителями в основном по-русски". И добавляет, что язык зависит от темы. По-английски: "Наши дела совместные, банковские счета финансовые. Нет аналога в России".

Насколько типична эта семья для эмиграции второй волны? Я думаю, что она представляет собой лучший образец сохранения русского яыка. Иными словами: эта семья типична для определенного слоя эмигрантов, сохранивших любовь и интерес к России и всему русскому. Сохранению русского языка в этой семье благоприятствуют многие факторы. СН и ЕН покинули СССР взрослыми, получив хорошее образование на русском языке. Старшее поколение жило вместе с детьми. Отец СН – священник. Русская церковь дает семье обширный круг знакомых, регулярное общение на русском языке. Любовь к России, интерес к ее жизни во всех аспектах (политика, экономика, культура) поддерживается чтением русских книг и газет.

Несомненно, однако, что огромную роль в сохранении русского языка играет семейный уклад и сила характеров этих людей. В доме хранятся альбомы, книги на русском языке. Любовь к России родители передали и приемному сыну, который выбрал себе русскую невесту и работал в России.

Семьи такого склада и одиноких людей такого типа я встречала не раз среди прихожан православного Собора Пресвятой Богородицы "Взыскание погибших" г. Лос-Анджелес. Другую часть (и немалую) эмиграции второй волны составляют люди, которые теряют русский язык.

5.2. Третья волна. Среди эмигрантов третьей волны много высокообразованных евреев, хранящих русский язык, заботящихся о том, чтобы его сохранить и передать детям. Ими движет любовь к русской культуре, хорошее знание русской литературы, интерес к русской истории, а иногда и профессиональные занятия, связанные с русским языком. Как правило, эти люди не являются православными, поэтому такой сильный фактор сохранения русского языка, как влияние русской православной церкви, в жизни основной части эмигрантов третьей волны не действует.

Расскажу об одной семье, живущей в Голландии. ИГ покинула СССР в 40 лет (около 15 лет назад) вместе с мужем и дочерью и нашла (как диссидент) приют в Голландии. Я несколько раз встречалась с ней в Москве, мы много разговаривали, я записывала ее речь на магнитофон: у нее отличный русский.

Как складывалась "языковая жизнь" этой семьи? Оказавшись в Голландии, старшие члены семьи первоначально использовали, как временный мостик, английский язык – для общения с голландцами на работе и в других ситуациях, так как английский они знали в какой-то мере до отъезда (жена – лучше, муж – хуже), а голландского не знали совсем.

ИГ по образованию – математик, специалист по компьютерам. Покинув СССР, изменила род своих занятий, стала литератором. Она пишет, переводит, преподает

русский язык. Отличается высокой языковой рефлексией, склонностью к самонаблюдению. Ловит себя на кальках, особенно при письме на русском, но также и в устной речи. При разговоре со мной сказала: "Вы заметили мою кальку: ***Я имела*** *всего несколько часов*" (о преподавании). Говорит о родных: «Я из них все время выколачиваю "***Я взял*** *трамвай*"».

Приведу наш диалог, который показывает соотношение русского, английского и голландского в ее языковой компетенции. На мой вопрос: "На каком языке думают ваши родные?" – отвечает: – Даже я думаю часто по-английски // Мне нравится английский // – Вы двуязычны? – По-английски я пишу хуже // Не так свободно [как по-русски] // Боюсь сделать ошибки // Даю переводить или проверять // – А голландский? Говорите? – Конечно // Сейчас я могу говорить практически на любую тему / но хуже //.

Муж ИГ, видимо, менее способен к языкам. К тому же его специальность (программист) не требует особого знания и применения языков. Он обходится своим знанием английского и не тратит много времени и сил на голландский, предпочитая этим языкам русский.

Подобная ситуация может считаться характерной для стран, язык которых не принадлежит к числу наиболее распространенных в мире, и, следовательно, социально высоко значимых. Русские эмигранты в таких странах нередко выбирают в качестве основного языка какой-либо из наиболее распространенных европейских языков, в наше время – чаще всего английский. Не столь редки и случаи, когда младшее поколение семьи покидает первоначальную страну-приют, едет учиться в другую страну, в впоследствии и переезжает туда. Это явление существует в Голландии, я наблюдала его и в Финляндии.

Старшая дочь ИГ была увезена из Москвы ребенком трех лет. В настоящее время она восемнадцатилетняя студентка, учится в США. Хорошо знает английский и, по-видимому, дорожит своим русским, понимая, что он ей может быть полезен. Тем не менее ИГ с горечью констатирует: "Моя старшенькая плывет в сторону английского". Что касается десятилетней младшей дочери, которая родилась уже в Амстердаме, то, по словам ИГ, она отказывается говорить по-русски, но делает это вынужденно, по требованию матери. Я прослушивала сделанные ИГ по моей просьбе записи речи обеих ее дочерей. Иноязычное влияние наиболее ярко обнаруживается в интонации. С грамматикой и лексикой они справляются неплохо.

Пример этой семьи характерен для значительного слоя эмиграции третьей волны. Однако немалая часть эмигрантов третьей волны забывает русский язык, так как профессионально его не использует и вынуждена все силы тратить на освоение языка страны-приюта. В первую очередь это относится к людям, которые, уезжая из СССР, не знали ни языка той страны, в которую ехали, ни какого-либо другого широко распространенного языка. Внутреннюю установку этих людей на отношение к русскому языку можно выразить приведенными выше словами одной эмигрантки (М.), живущей в США двадцать лет: "Русский язык! Куда он денется? А вот без английского…". Примеры из ее речи см. [Земская, в печати]; см. также [Olmsted 1986].

5.3. Четвертая волна. Значительную часть эмигрантов четвертой волны составляют люди, не имеющие высшего образования и не знающие языка той страны, в которую они приехали. Вот примеры из речи одного из таких лиц. Это жена русского немца, уехавшая с семьей из России в возрасте 39 лет. Я записывала разговор с ней в 1996 г., когда она прожила в Германии всего шесть лет. В каждой фразе были немецкие слова, связанные с работой (санитарка в доме для престарелых) и другими важными сторонами ее жизни. Вот несколько примеров: *Я взяла* ***Rollstuhle*** *и повезла в гору* (инвалидное кресло на колесиках); *Мне сказали на работе / не надо делать* ***Überstunde*** (сверхурочную работу); (о старушке из инвалидного дома) *У нее такой почему-то* ***Hass*** *к немцам* (ненависть). (Сама объясняет): *Ее в детстве изнасиловали*; *Такой* ***Gefühl*** *интересный* (чувство); *Он был на войне* ***Gefängniss*** (тюрьма). Рас-

сказывая о своей работе, употребляет слово *Hauptkontrakt*. Передает речь своей пациентки: *Она говорит* / ***Singerin*** (певица) *пришла* // *Я ей пою* // *Она не знает* / *как меня зовут* //. Жалуется, что ее русский знакомый не передал посланные ею в Россию вещи: *Он все новое вынул* // *Нельзя новое посылать* // *Надо* ***Zoll*** (таможенный сбор) *платить* //. См. подробнее: [Земская 1999б].

Однако, как и в других волнах эмиграции, в четвертой есть немало людей, стремящихся сохранить русский язык. Расскажу о том, что видела в Лос-Анджелесе зимой–весной 1998/1999 гг. Среди эмигрантов четвертой волны города Лос-Анджелес много пожилых лиц (часто – уже пенсионеров) интеллигентных профессий – учителя, врачи, инженеры, профессора. Они объединяются в группы, общества разного рода, часто называют их "Русский клуб" (Russian club). Устраивают лекции, доклады, обсуждения. Мне приходилось бывать в таких местах, выступать там с докладами на русском языке.

Эти люди сами говорят на хорошем русском языке и стремятся сохранить его у внуков: нанимают им учителей русского языка, православные отдают детей в воскресную церковную школу (естественно, что в будние дни дети ходят в американские школы), приучают их читать русские книги, смотреть русские фильмы по телевизору. Конечно, далеко не всегда их старания имеют успех. Но тот факт, что бабушки и дедушки живут в одном городе с детьми и внуками, способствует сохранению русского языка. Дома в таких семьях, как правило, говорят по-русски, так как и родители, и тем более бабушки и дедушки английский знают плохо или совсем не знают. Необходимо признать, что дети нередко отказываются говорить по-русски, а еще чаще ленятся читать русские книги. Скорее всего их могут увлечь русские фильмы. Дети обычно в семье со старшими говорят по-русски, а в школе и при общении с другими детьми (даже из России!) – по-английски, объясняя это тем, что у них есть свои школьные и детские темы. Им легче говорить на эти темы по-английски, так как соответствующих русских слов они не знают.

Мне довелось разговаривать с мальчиком 10 лет, приемным внуком эмигрантки первой волны. По воскресеньям она его отвозит в церковную школу, где учат русскому языку. В будние дни он ходит в американскую школу. Он очень стеснялся говорить со мной по-русски, но все-таки кое-что рассказал мне о школе. Однако на мой вопрос: "Какой предмет тебе больше нравится?" – ответил по-английски: *History*, а не: *История*.

Среди известных мне в Лос-Анджелесе эмигрантов четвертой волны выделяется Майя Бранд (Maya Brand). Это – псевдоним, под которым она пишет стихи. Судьба свела меня с Майей в самом конце 1998 г. в Лос-Анджелесе, куда я была приглашена читать лекции аспирантам. Оказалось, что мы близки по возрасту (она родилась в 1930 г.) и у нас масса общих знакомых (мы из одного московского "круга"). Мы быстро подружились.

Майя (с мужем, профессором геологии) живет в США с 1988 г. По образованию она радиоинженер, математик, кандидат наук. Она человек редкой одаренности: пишет стихи, рисует, быстро научилась (уже в США) водить машину, умеет все. Оказавшись в Америке, Майя не стала ныть и хулить, или, наоборот, безмерно восхвалять новую жизнь. Начала жить в этой новой для нее стране и новой ситуации та́к, как мечтала ранее, но не могла: из-за необходимости зарабатывать на жизнь, растить детей и главное – из-за советской цензуры. Теперь же все изменилось: дети стали взрослыми, социальное пособие дает возможность жить (хоть и скромно) и нет никакой цензуры. У Майи появилась возможность реализовать свои творческие способности. Она много рисует, собирается устроить свою персональную выставку, но самое интересное для нашей проблематики то, что она пишет стихи на двух языках – русском и английском. Причем некоторые русские стихи она переводит, но многое сразу пишет по-английски. В 1994 г. вышла ее книга: Майя Бранд. Отклик / Maya Brand. Response. Los Angeles; М., 1995. Как говорит сама Майя, писать она начала в 14 лет, а первая ее книга вышла через полвека, на чужбине.

Но вернусь к материи этой статьи. Каков язык Майи? Ее русский безупречен, стилистически богат. Майя учила английский еще в Москве. Сейчас много и целеустремленно занимается английским. Старается, где это возможно, говорить по-английски и слушать английскую речь. Но вместе с тем она не отказывается от знакомств с людьми, говорящими по-русски. Она легко и свободно переходит с одного языка на другой. Американизмы обычно использует в экспрессивно-стилистической функции, как инкрустации (см. [Земская, в печати]). В языковой компетенции Майи есть одна интересная особенность: она лучше знает английский в письменной форме. Ей легче писать, чем говорить, легче понимать написанное, чем услышанное. Последнее – не редкость. Американское произношение затрудняет многих иностранцев. Но овладеть и письмом на английском нелегко: затрудняют и грамматика, и правила орфографии.

5.4. Итак, между разными волнами эмиграции в целом есть несомненные (и очень существенные) различия, влияющие на сохранение русского языка, его стойкость. Вместе с тем, в каждой волне имеется и огромное число отклонений от того, что можно было бы назвать "типичным явлением". Отклонения имеют и знак "плюс" (прекрасное сохранение русского языка), и знак "минус" (разрушение русского языка). Эти отклонения почти всегда объяснимы. Они определяются комплексом факторов, способствующих сохранению/утрате русского языка (некоторые из них были охарактеризованы выше).

Укажу еще и другие факторы, касающиеся в первую очередь тех, кто оказался в эмиграции в детском возрасте, не получив образования на русском языке. Неумение писать, а иногда и читать, по-русски, незнание правил русской грамматики способствует нестойкости русского языка у этих лиц, которая обычно бывает подкреплена еще и такими обстоятельствами, как отъезд семьи из России навсегда (а не на время), низкая образованность, незнание других языков, кроме русского, в том числе языка страны обитания.

Все сказанное заставляет сделать такой вывод: изучение языка и жизни русского зарубежья требует от исследователя **дифференцированного** социолингвистического и культурологического анализа.

6. Некоторые ученые, изучая речь русских эмигрантов, высказывают мнение об ослаблении русского языка, о его пиджинизации и даже о смерти. Термины используют разные. Американские лингвисты применяют термин "**аттриция**" (attrition). Материалом для их исследований чаще всего служит речь эмигрантов четвертой волны, лиц, увезенных в эмиграцию детьми, не получивших образования на русском языке. При этом, однако, имеется еще один существенный фактор, которому исследователи не придают должного значения – фактор социокультурный, а именно: степень владения русским языком в семье до эмиграции и отношение в ней к русскому языку. Лица, легко и быстро теряющие, забывающие, портящие русский язык в эмиграции, как правило, не владели им в должной мере и при жизни в России (или: СНГ, СССР). Для многих из них русский язык не был родным. Ученые и журналисты, пишущие о разрушении русского языка в эмиграции и даже о его гибели, часто изучают не речь приехавших из России носителей русского литературного языка и их детей, а речь "контингента", "русаков" и "русачек", как их именует Г. Гусейнов [Гусейнов 1997]. Среди этих людей есть и "российские немцы", и украинцы, и армяне, и жители азиатских республик бывшего СССР. Объединяет всех этих людей невладение русским литературным языком до отъезда в эмиграцию, а также – и это очень важно – отсутствие отношения к русскому языку как к культурной, исторической, духовной, человеческой ценности. Для них это "прежний язык", "старый язык", как справедливо замечает Г. Гусейнов, а не **русский** язык.

Для того, чтобы констатировать факт разрушения русского языка у таких лиц, необходимо ответить на вопрос: на каком русском языке эти люди говорили до эмиграции? Исследователи этот социокультурный аспект не рассматривают и даже не упоминают о нем [Гусейнов 1997; Polinsky 1998]. Сравнивать "эмигрантский язык"

таких информантов с кодифицированным литературным языком неправомерно, так как нет оснований полагать, что речь этих лиц до отъезда из метрополии соответствовала нормам русского литературного языка. Также нет оснований полагать, что многие факты, наблюдаемые в речи лиц, живущих в США, Германии или другой стране, можно характеризовать как влияние эмиграции.

Остановлюсь более подробно на статье M. Polinsky "Американский русский: новый пиджин" [Polinsky 1998]. На каких материалах основаны выводы? Какие методы исследования использует автор?

В основу статьи положены данные, полученные при рассмотрении речи 18 молодых людей, увезенных в США детьми (6–14 лет) и проживших в эмиграции от 3–14 лет. Часть этих детей до эмиграции жила не в русских городах, а в Ташкенте, Киеве, Минске, Харькове и Одессе. Многие из них не умеют писать по-русски, а некоторые не умеют даже читать. Автор устанавливает индекс обеднения, забывания (attrition) русского языка, используя для этого список английских слов, которые информанты должны перевести на русский. Совершенно очевидно, что полученные ответы [Polinsky 1998: 88–91] не могли дать носители литературного языка или дети, живущие в семьях родителей, говорящих на русском литературном языке. Например: *breast – сися*, *woman – тетя*, *man – дядя*, *eat – есть / кушать*, *louse – вша* (в женск. роде). Ясно, что слова *сися*, *тетя* и *дядя* (как названия женщины и мужчины), *вша* (вм. *вошь*), незнание условий употребления глаголов *есть* и *кушать* возникли не в эмиграции. Это не результат обеднения русского языка, а хорошо сохранившиеся особенности нелитературной речи, вывезенные из метрополии. Подобные ответы можно было бы легко получить на улице любого российского и тем более нероссийского города (Ташкента, Минска, Киева, Одессы – ведь выходцев и из этих городов интервьюировала M. Polinsky).

Вызывает возражение также оценка автором переводов английских глаголов. Как American Russian оцениваются ответы такого рода: *swim – плыть*, *walk – идти*, *bite – укусить*, *say – сказать* [Polinsky 1998: 90], т.е. когда информант дает в качестве ответа глагол в форме одного из видов. Так как в английском языке нет категории вида, английские глаголы при переводе на русский передаются формами глаголов совершенного или несовершенного вида в зависимости от контекста, так что ответы информантов вполне можно считать правильными. В словарях же английские глаголы обычно получают переводы в форме обоих видов: *say – говорить*, *сказать*; *swim – плыть*, *плавать*.

Добавлю, что сам список слов, вошедших в анкету, на мой взгляд, не является удачным. Исхожу не из английских, а из тех русских слов, которые считались бы правильным ответом. В анкете много довольно редких слов. Так, всякий ли рядовой носитель русского языка знает слово *плоть* и может точно объяснить его значение?

Текст интервью, который использует M. Polinsky в этой же статье [Polinsky 1998: 82–83], пригоден для проверки того, знает ли отвечающий **нормы** литературного языка, но не может быть показателем обеднения или забывания русского языка в эмиграции. Многие русские, живущие всю жизнь в России, считают, что *кушать* – вежливая форма, и употребляют этот глагол по отношению к себе и другим. Слово *кофе* значительная часть русских употребляет в среднем роде. Объяснить разницу (или выявить преимущество) между выражениями *ехать в автобусе*, *ехать на автобусе*, *ехать автобусом* вряд ли сможет любой житель России, не связанный профессионально с использованием русского языка.

7. Какой же вывод? Умирает ли язык русской диаспоры? Подчеркну, что я рассматриваю этот вопрос по отношению к речи лиц, говоривших до отъезда из России на литературном русском языке, и их потомков. Собранные мной обширные материалы, содержащие записи речи эмигрантов, живущих в разных странах, принадлежащих к разным поколениям разных волн эмиграции, не дают оснований говорить ни об умирании русского языка за рубежом, ни о его пиджинизации. Более того, можно кон-

статировать поразительную стойкость русского языка. Во многих семьях (и не только у тех лиц, которые связаны с русским языком профессионально) русский язык живет в третьем поколении эмиграции, есть и такие семьи, в которых русский язык сохраняется в четвертом поколении жизни вне России[7].

Сравнение стойкости русского языка со стойкостью других языков показывает, что, например, в немецких семьях, приехавших в Россию в XIX в., немецкий язык мог забываться уже во втором поколении и основным языком становился русский.

8. Как было показано выше, степень сохранности языка любой диаспоры зависит от многих факторов. Назову еще один из важнейших – наличие у языка диаспоры поддержки в метрополии, иными словами: существование у языка данной диаспоры "тыла" (Hinterland). Русский язык имеет мощный тыл, укрепляющий позиции языка русской диаспоры, способствующий его выживанию.

Приведу в качестве конкретного свидетельства о связях между эмигрантами и метрополией отрывок из письма эмигранта первой волны третьего поколения, живущего в Германии: "Эмигранты, конечно, никогда не жили в полной оторванности [от метрополии]. Продолжали существовать связи. Эмигранты читали (эмигрантскую и советскую печать), смотрели фильмы (я помню, как я смотрел фильм "Летят журавли" на русском языке в начале 60-х гг., будучи мальчиком – стеснялся, что ревел; папа устраивал вечера русских фильмов, и помню, что приходили и посторонние русские, не только студенты; я сам в Бонне брал фильмы для студентов в советском посольстве). И, конечно, приезжали люди из СССР. Я как раз прочитал (довольно скучную) биографию Шаляпина – он во время эмиграции постоянно вращался среди русских, и к нему приезжали посланцы из СССР, чтобы его уговорить вернуться. А в 70-е гг., помню, довольно редко приезжали из Союза; мы кидались на них, чтобы с ними поговорить, приглашали домой (были смешные сцены)" (M. Rammelmeyer – Е.А. Земской. Письмо. 28.04.2000 г.).

Языки малых народностей, например, индейцев Северной Америки, занимают иное положение. Отсутствие языка метрополии ослабляет их способность к выживанию, делает ее меньшей, чем у таких языков, как русский или польский.

9. Современный период истории (время перестройки и постперестройки) не только способствовал возрождению интереса к русскому языку, но и дал реальные возможности для его укрепления и расширенного применения (встречи с людьми, приезжающими из России, возобновление насильственно прерванных связей с родственниками, друзьями, коллегами по работе, поездки в Россию – служебного характера, в гости, в туристические путешествия, на паломничество и др.). Этот этап истории сами эмигранты называют возвращением к России и русскому языку. Важно подчеркнуть, что происходит не только укрепление русского языка эмигрантов разных волн и поколений, но и некоторое обновление, "осовременивание" речи эмигрантов первой волны. Старые эмигранты принимают новое в свой русский очень осторожно и вдумчиво, но все же делают это[8] (см. [Земская 2000]).

Интерес к русскому языку живет и среди молодых эмигрантов четвертой волны, попавших в эмиграцию детьми и находящихся вне России немало лет. В некоторых странах, например, в США, считают важным помогать эмигрантам сохранить их родной язык. Организуются специальные занятия для молодежи – практические уроки русского языка, курсы лекций по русской литературе. Так, занятия "Russian for Russian" проводятся в г. Лос-Анджелесе, в университете UCLA. И что знаменательно: их посещают студенты разных специальностей, не только филологи!

---

[7] На подобные факты по отношению к польскому языку в США указывает [Осипова 1996: 161].

[8] Приведу для примера реакцию двух эмигранток первой волны (второе поколение) на новые для них формулы речевого этикета. Прихожанка русской церкви в Риме (9) замечает: *Мы говорим:* ***Здравствуйте! До свидания.*** *Мы не говорили* ***Добрый день!*** *или* ***Добрый вечер!*** *Но это хорошо. Это мне нравится.* М.Р. Гизетти (52), матушка собора в Лос-Анджелесе, пишет: "Всего Вам доброго и хорошего. Я не знаю, почему, но мы всегда желали друзьям всего самого хорошего или наилучшего, а *доброго* – пришло недавно из России, и я думаю – так лучше" (М.Р. Гизетти – Е.А. Земская. Письмо. 7.12.1999).

Что касается новейшей эмиграции, то во многих странах – прежде всего в Германии и США – так много лиц, приехавших из России в последние годы, что они образуют целые колонии, многие члены которых довольствуются общением на русском языке и не стремятся овладеть языком страны проживания. Вот еще один отрывок из письма М. Раммельмейера, рисующий ситуацию в Германии: "Современная эмиграция сохраняет свою русскую речь легко, так как часто нет необходимости хорошо научиться немецкому языку, знают только самое необходимое (пример, мой Саша, который по-немецки, по собственному признанию, "говорит как свинья"), а так – вращаются среди своих. И ездят в Россию" (M. Rammelmeyer – Е.А. Земской. Письмо. 28.04.2000 г.).

10. Выводы. В языковой компетенции многих лиц, живущих вне России в течение всей жизни, эмигрантов третьего и даже четвертого поколений, независимо от того, сколько языков они знают и какое место в этой иерархии занимает русский язык, ему принадлежит особое, важное положение. Русский язык – предмет частой и глубокой языковой рефлексии. Он воплощает связь с Родиной, с семейными корнями. Это святыня, которую берегут.

Между эмигрантами одной волны, живущими в разных странах, нет резкого различия в степени сохранности русского языка, напротив, наблюдается значительное сходство. Наибольший контраст наблюдается между эмигрантами первой и четвертой волн. У эмигрантов первой волны русский язык сохраняется до 3-го, в некоторых семьях до 4-го и даже 5-го поколений, тогда как у эмигрантов четвертой волны русский язык может ослабевать в первом поколении.

Закончу статью словами Вайнрайха: "Язык может внушать носителям чувство патриотизма, подобное национально-патриотическому чувству, связанному с идеей нации. Язык, будучи неприкосновенной сущностью, противопоставляемой другим языкам, занимает высокое положение на шкале ценностей, положение, которое нуждается в "отстаивании". В ответ на угрожающий языку сдвиг это чувство верности языку приводит в действие силы, направленные на сохранение языка, оказавшегося под угрозой, оно превращает язык в символ веры и святыню" [Вайнрайх 1962: 57].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бодэ В. 1999 – Новое в лингвистике // Неприкосновенный запас.1999. № 2–4.

Вайнрайх У. 1962 – Одноязычие и многоязычие // В.Ю. Розенцвейг (ред.). Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 6. М., 1962.

Голубева-Монаткина Н.И. 1993 – Об особенностях русской речи потомков первой русской эмиграции во Франции // Русский язык за рубежом. 1993. № 2.

Гусейнов Г. 1997 – Наблюдения над особенностями речевого поведения в новых русских анклавах Германии // 11. Fortbildungstagung für Russischlehrer an bayerischen Gymnasien. Regensburg. 1997.

Земская Е.А. 1999а – Об угасании письменной формы русского языка в среде эмиграции // Роман Якобсон. Тексты, документы, исследования. М. РГГУ, 1999.

Земская Е.А. 1999б – Язык русского зарубежья: два полюса // С.И. Гиндин, Н.Н. Розанова (ред.). Язык. Культура. Гуманитарное знание. К столетию Г.О. Винокура. М., 1999.

Земская Е.А. 2000 – Язык русского зарубежья: проблемы нормы и речевого поведения // Культурно-речевая ситуация в современной России // Отв. ред. Н.А. Купина. Екатеринбург, 2000.

Земская Е.А. (в печати) – Функции американизмов в речи эмигрантов // Слово в тексте и словаре / Отв. ред. Л.П. Крысин. М., (в печати).

Земская Е.А., Крысин Л.П. 1998 – Московская школа функциональной социолингвистики. Итоги и перспективы исследований. М., 1998.

Никитина С.Е. 1998 – Языковое самосознание молокан и старообрядцев США: судьбы русского языка // Русистика сегодня. 1998. № 1/2.

Осипова М.А. 1996 – ВЯ. 1996. № 1 – Rec.: The Slavonic languages.

Пушкарева Н.Л. 1997 – Русские за рубежом // Русские / Отв. ред. В.А. Александров, И.В. Власова, Н.С. Полищук. Серия "Народы и культуры". М., 1997.

Толстой Н.И. 1998 – Воспоминания о русском языке // Лики языка / Отв. ред. М.Я. Гловинская. М., 1998.
Щерба Л.В. 1974 – О понятии смешения языков // Л.В. Щерба. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.
Эндрюс Д.Р. 1997 – Пять подходов к лингвистическому анализу языка русских эмигрантов в США // Славяноведение. 1997. № 2.
Andrews D.R. 1998 – Socio-cultural perspectives of language change in diaspora. Soviet immigrant in the United States // Studies in language and society. Vol. 5. Amsterdam; Philadelphia, 1998.
Olmsted H.M. 1986 – American interference in the Russian language of the third-wave emigration: Preliminary notes // Folia Slavica. 1986, 8, № 1.
Polinsky M.S. 1998 – American Russian: A new Pidgin // Московский лингвистический журнал. 1998. Т. 4.
Stangé-Zhirovova N. 1998 – Особенности устной речи русскоязычных эмигрантов во французской части Бельгии // Belgian contributions to the 12-th congress of Slavist, Cracow, 26 Aug. – 3 Sept. 1998. Slavia Candensia. 25/1, 1998.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2001

© 2001 г. М.Л. ГРИНБЕРГ

РАСЦВЕТ И ПАДЕНИЕ ЛЕНИЦИИ ВЗРЫВНЫХ В СЛОВЕНСКОМ ЯЗЫКЕ

В некоторых регионах распространение корошского диалекта словенского языка (слов. koroško narečje) обнаруживается необычная система оппозиций согласных, характерная для говора села Кнежа (Графенбах в современной Австрии[1]). Фонемный инвентарь этого говора составляют три глухие смычные /p, t, q[2]/, семь щелевых /β, ð, f, s, z, š, ž/, две аффрикаты /c, č/ и глухой фарингальный аппроксимант /h/. Эти согласные соответствуют праславянским фонемам *p, *t, *k; *b, *d, (*f); *s, *z, *ž/z'; *c, č/t', *g [Logar 1981b: 202, 210]. Две черты в этой системе аномальны и требуют пояснений. Во-первых, хотя изменение взрывных согласных в щелевые засвидетельствовано во многих языках (например, в романских, германских и тюркских), оно мало распространено или вовсе отсутствует в славянских[3]. Во-вторых, отсутствие фонемы /k/ – явление, чрезвычайно редкое в языках мира. Из 918 фонологических систем, собранных в книге [Maddieson 1984], ее лишены только четыре языка. При этом наличие фонемы /q/ обычно предполагает и присутствие /k/[4]. Эти отклонения от общеславянской модели тем интереснее, если учесть, что они встречаются в периферийном диалекте, известном своими фонологическими архаизмами (сохранение праславянских носовых гласных, музыкального ударения, восходящий характер дифтонга, отражающего праславянские *ě*) [Logar 1973]. Хотя эти черты известны давно, существуют лишь приблизительные предположения о вызвавших их причинах и времени их возникновения[5]. Мы предлагаем новое решение этой проблемы и новую хронологию связанных с ней процессов. Причиной недостатка внимания к этим процессам в послевоенное время является, очевидно, повышенный интерес исследователей прежде всего к просодической и вокалической системам словенской фонологии. Мы же стараемся подчеркнуть значимость рассматриваемых явлений в словенском для реконструкции праславянского консонантизма.

---

[1] Необычность корошского консонантизма была отмечена уже в 1842 г., как отметил Пристли, ссылаясь на исследования Урбана Ярника [Priestly 1997: 126]. Первым исследователем, изучившим систему корошских отклонений от литературного языка, был Исаченко, рассматривавший его фонетику в диахронии [Isačenko 1963a: 55]. Историческая проблема затрагивалась также в работах Пристли [Priestly 1976] и отчасти Ленчека [Lenček 1989].

[2] Знак *q* обозначает гортанный смычный.

[3] *ð* и *θ* встречаются в македонском говоре с. Бобощица (Албания), но только в заимствованных из греческого и албанского словах. С другой стороны, фонемы /b, d, g/ соответствуют праславянским [Ivić et al. 1981: 759]. Поэтому фрикативные согласные появились здесь вовсе не в результате ленции.

[4] Фонему /k/ мы определяем как велярный глухой смычный, отрешаясь от его дополнительных дифференциальных признаков, таких, как глоттальность, ларингальность или придыхательность. Языки с отсутствием /k/ суть следующие: киргизский (062), тагальский (414), кева (610) и хупа (705). Номера приводятся по [Maddieson 1984].

[5] Р. Ленчек [Lenček 1989] был, очевидно, первым исследователем, обратившим внимание на связь между праславянскими изменениями *g > γ и *b, *d > словенские диалектные *β*, *ð*.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Мы опираемся на модель фонологического изменения, включающую в себя два этапа – дедуктивный (обусловленное системой фонетическое изменение влечет за собой двусмысленность) и абдуктивный (преодоление двусмысленности говорящим, выбирающим из нескольких альтернатив одну, основную). В результате этого процесса перестраивается исходная система фонологических оппозиций [Andersen 1973]. В результате этой перестройки появляются морфонологические и лексические инновации. Фонологическая вариативность может приобретать и социолингвистическую значимость, заключающуюся в том, что один вариант становится положительно окрашенным, а другой – отрицательно, вследствие чего употребление отрицательного варианта обычно сужается [Журавлев 1986: 199–200; Greenberg 1999].

Наша интерпретация основана на исследовании системы напряженных и ненапряженных смычных. Существенными являются четыре базовых импликативных суждения. (1) Различие между напряженными и ненапряженными согласными является градуальным и зависит от усилия ротовых мускулов при произнесении (проявляемого либо в виде большего или меньшего времени смычки, либо в степени придыхания, либо в градуальной оппозиции "смычный – придыхательный – аппроксимант"). (2) Сила оппозиции напряженного и ненапряженного зависит от их позиции. Например, в испанском смычные между гласными произносятся с меньшим усилием, чем в начале слова: лат. *pacāre* > испан. *pagar* "платить" (в отличие от лат. *regāle* > *real* "королевский"), но лат. *quando* > испан. *cuando* "сколько", лат. *guardāre* > испан. *guardar* "сторожить". (3) Относительная иерархия согласных по степени напряженности выглядит так (в сторону ослабления): напряженные [p, t, k] > [p̥, d̥, g̊] > ненапряженные [b, d, g] > > [β, ð, γ] > ∅ [Kohler 1984: 156]. Изменения могут происходить в синхронии, т.е. в зависимости от позиции, или же в диахронии, т.е. обусловливают перестройку фонологической системы [Kohler 1984: 157–158]. (4) Согласные подвергаются лениции неравномерно: в порядке убывания – g > d > b. В таком различии может играть роль характер гортанных и собственно ротовых согласных [Kohler 1984: 157].

TENUES-MEDIAE: НАПРЯЖЕННЫЕ–НЕНАПРЯЖЕННЫЕ ИЛИ ГЛУХИЕ–ЗВОНКИЕ?

Обычно полагают, что различие между праславянскими tenues-mediae[6] основано на признаке /±звонкость/, исходя из того, что этот признак имеется в большинстве (если не всех без исключения) фонологических систем славянских языков. Возможна также система, в которой признаки /±напряженный/ и /±звонкий/ встречаются в одном звуке. Относительный ранг признака может быть установлен либо в анализе распределения аллофонов, либо с помощью экспериментально-фонетических данных. Исследование фактов прошедших эпох, разумеется, исключает возможность фонетического эксперимента, поэтому ученому остается только типологическое сравнение с живыми языками.

Можно показать, что в корошском диалекте после падения редуцированных tenues-mediae различались напряженностью, что видно из данных, полученных в с. Кнежа (Графенбах): *strâwa* "здоровая", с. Селе (Sele/Zell) *strawi* "здоровье", *stẹ̑t se* "казаться"[7], с. Рож (Rož/Rosental) *stí se mə* "мне кажется" [Ramovš 1924: 223]; *iəšpəc* "Rauchküche" [Isačenko 1939] < прасл. **sъdořvaja*, **sъdořvьje* и *sъděti sę*, *jьstъbьcь* соответственно. Эти же явления наблюдаются и в др.-русск. *сторовъ* "здоров", др.-польск. *strowy* "то же", н.-луж. *strowy* "то же"; в.-луж. *jstwa*, н.-луж. *špa* "изба, комната". Эти примеры противоречат обычной регрессивной ассимиляции по звонкости/глухости,

---

[6] Термины tenues и mediae здесь употребляются условно, чтобы указать на оппозицию *p*, *t*, *k*, *s* (tenues) vs. *b*, *d*, *k*, *z*… (mediae) без детализации (+звонкий), (+напряженный).

[7] Материал по Селе из своих полевых записей любезно предоставил Т. Пристли (Университет Альберта, Канада). Пользуюсь случаем выразить ему за это, а также за ценные советы и замечания свою глубокую благодарность.

наблюдаемой в славянских языках: словен. *zdrâva*, *zdrâvje*, *zdẹ́ti se*, чеш. *zdravá*, *zdraví*, *zdát se*; русск. *здоро́вая*, *здоро́вье* ([Фасмер II: 120; III: 768; Bezlaj 1995: 324]; см. еще [Shevelov 1965: 364–369] для других аномальных явлений в славянских в ассимиляции по звонкости/глухости в других славянских языках)[8]. Такое отступление от общих правил можно объяснить, если допустить, что в праславенском диалекте (по крайней мере в той его части, которая затем развилась в корошский), как и в других праславянских диалектах, где наблюдаются подобные явления, оппозиция tenues-mediae после падения редуцированных реализовалась именно как напряженность–ненапряженность. Физиологическая причина этого заключается в том, что при произнесении согласных первого типа напряжение гортанной щели вызывает замедление действия голосовых связок. Это и отражено в вышеприведенных корошских и других славянских примерах, где группы согласных оглушились. Усилие голосовых связок связано с распространением признака звонкости назад, т.е. регрессивной ассимиляции (см. [Kohler 1984: 159–166]). Что же касается самой ассимиляции, то это явление было чисто комбинаторным, затем фонологизировалось различными путями. Так, группа *st*, которая возникла из **sъd-* в результате прогрессивной ассимиляции, сохранила устойчивость только там, где не было чередования с сильной позицией, в которой был бы ясен характер смычного. В чередованиях беглого гласного (возникшего как результат падения редуцированных), наблюдается либо отсутствие ассимиляции (в с. Селе [Sele/Zell] – *swə̀dqa* "сладкий" < **soldъkâ*), либо типичная для славянского регрессивная ассимиляция, например, *swȁtqa* в с. Кнежа. Интересное исключение, подтверждающее правило, можно найти в с. Селе *dəqȁt* (<**tъkâti*) "ткать", где после вокализации редуцированного аллофон /t/ внесистемно присоединился к фонеме /d/.

Оппозиция напряженности–ненапряженности могла возникнуть в результате контактов с южнонемецкими диалектами, где имеется нечто подобное (хотя в самих немецких языках это явление и считается инновацией [Жирмунский 1964: 204–205]). Однако в современных реконструкциях индоевропейского консонантизма имеется возможность того, что славянская оппозиция напряженных–ненапряженных происходит непосредственно из такой системы, в которой звонкость была лишь дополнительным признаком [Гамкрелидзе, Иванов 1980][9]. Индоевропейский глухой (tenuis) можно интерпретировать как напряженный, звонкий (media) непридыхательный – как глоттализованный ненапряженный, а звонкий придыхательный – как ненапряженный неглоттализованный [Kortlandt 1985: 186–188, 197–198]. Как известно, в балто-славянском глоттализованные и неглоттализованный слились, и это произошло после действия закона Винтера.

Независимо от того, отражает ли славянская оппозиция напряженности-ненапряженности балто-славянское наследие, или же является инновацией, она имеет следствием диалектное изменение праславянского **g* > γ в центральных славянских диалектах, что показал Андерсен [Andersen 1969: 567–568], ненапряженные смычные характеризовались краткостью затвора и отступа [Andersen 1969; Kohler 1984]. В корошском диалекте лениция происходила в два этапа: 1) потеря затвора (*g* > γ); 2) потеря фрикативности (γ > *h*), причем последний звук выпадал в определенных позициях. Дальнейшим этапом развития фонологической системы могла быть потеря звонкости, но для нас сейчас это не так важно: звонкость как различительный признак могла появиться чисто комбинаторно, и лишь затем приобрести фонологическое значение. Например, в говоре с. Кнежа /h/ функционирует как глухой смычный (противопоставленный глухому щелевому, возникшему из праслав. **x*), так как он вызывает

---

[8] Приведем еще один случай возможной прогрессивной ассимиляции в словенском и кайкавском диалекте сербско-хорватского языка: *nihče* < **ni-kъto-že*. Но первоначальная структура этого lectio difficilior остается неясной, поэтому его нельзя считать безупречным примером прогрессивной ассимиляции [Snoj 1997: 382].

[9] Некоторые инновации, объединяющие южнонемецкие диалекты со словенскими, возникли, по-видимому, именно в словенском [Neweklowsky 1989 : 209].

регрессивную ассимиляцию по звонкости: *shuβíwa* "потеряла" (<*(*i*)*zqubĩla*). Звук подвержен позиционному выпадению: *putą̑n*(*ə*) "тянет" (<**potę̑gne-*(*tъ*)), *ûx* "глух" (<**glûxъ*), ср. также ситуацию в говоре с. Обир (Obir/Ebriach), где звук выпадает между гласными: *čáwe* "чьи" (<**čigav-*, в конечном итоге из **čъjego* + **-ovь* [10]), и в говоре с. Костанье (Kostanje/Köstenburg) *u̯ȁsočā* "высокого" (<**vysokěgà*).

Процесс лениции наблюдается в различных территориях славянского языкового ареала. Наглядные примеры его развития можно видеть в Зильской и Резьянской долинах на Северо-Западе Словении. Хорошо известно, что оба района исторически связаны между собой и эта связь была прервана немецкой оккупацией в XIV в. [Ramovš 1935: 30–31; подробнее см. Vermeer 1993: 120–123]. В обоих диалектах наблюдается последовательное ослабление лениции с востока на запад (где лениция уже не наблюдается). В Канальской долине (зильский диалект) в говоре с. Уквэ (Ukve/Ugovizza) **g* произносится как щелевой (*γóra* "гора", *noγa* "нога") [Logar 1971: 116]; в говоре крайне западного села Брдо (Brdo/Egg) Зильской долины сохранился смычный (*góᵃra*, *nóga*). В крайне восточном говоре с. Солбица (Solbica/Stolvizza) Резьянской долины **g* > ∅ (*láwa* "голова", *nǫ̑a* "нога"), на западе, в с. Ньива (Nijva/Gniva) наблюдается *h* (*hláva*, *nǫ̑ha*), а на крайнем западе в с. В Били (V Bili/San Giorgio) смычный также сохранился (*gláwa' nǫ̀ga*; примеры из [Steenwijk 1993b: 110]). Лениция стала развиваться в обоих ареалах до того, как связь между ними оказалась прервана, но ни в одном из них не охватила всю территорию до западных границ (см. карту, изоглосса III).

ЛЕНИЦИЯ ПРАСЛАВЯНСКОГО *g И РАЗВИТИЕ КОРОШСКОГО *q*

Лениция наблюдается на северо-западе словенской языковой территории – в большей части корошского, приморского ареалов, а также части северо-восточного гореньского диалекта. В прошлом лениция, очевидно, была распространена на более значительной территории, на что указывают тексты, записанные, начиная с XII в. и засвидетельствовавшие леницию на довольно значительной территории. Например, название городка Rogatec (<прасл. * *rǫ̀gъ*) к востоку от г. Целье (Celje) недалеко от словенско-хорватской границы записано как *Roas* (1130), *Rohats* (1192), *de Rohatsch* (1234), *de Rohathes* (1254), *Rohats* (1363); название с. Прелоге (Preloge – из *lǫ̑gъ* "луг") вблизи г. Коньицк (Konjice) на севере от Целья – *am Prelog* (1369), *Prelagkh* (1387), *Prelagk* (1480) и в соседстве с с. Мокроног в Доленьской (Dolenjsko) – *Priegloch*; ср. также письменное обозначение с. Залог (Zalog) около Любляны: *Zalog* (1336), *Zaloch* (1339), и около г. Ново Место (Novo Mesto) в Доленьской – *Saloch* (прибл. 1180 г.). В северо-западной Гореньской около г. Тржич, название с. Голник (*Gòlnik* < **gòlъ*) записано как *Wollenick*, *Wallenigk* (1436), позднее – *Gallenberg* (1483)[11]. Каждый из этих топонимов находится за пределами современной территории распространения лениции (см. карту, изоглосса I)[12].

Хотя лингвогеографические сведения наводят на мысль о том, что переход **g* > *γ*–

---

[10] Ср. пример из с. Тацен (Tacen) *žγáve*, указывающее на время новой редукции гласных (падение безударных *i*, *u* > *ə* > ∅, развившееся в западных и центральных диалектах словенского в XVI в.). В корошском диалекте этот процесс начался позже, после перехода **g* > *h* > ∅.

[11] Все топономастические записи любезно предоставлены из собственных записей д-ром филологических наук Марко Сноем (Словенская академия наук и искусств в г. Любляне). Он также ознакомился с первым настоящим вариантом статьи и сделал ряд ценных замечаний, за что я ему чревычайно признателен.

[12] Марко Сной сообщил мне также, что в местности Тацен (северо-западный пригород Любляны) γ был обиходным еще в его детстве (он родился в 1959 г.), а сегодня почти все его ровесники из с. Тацен, включая и земледельцев, т.е. не работающих в городе людей, произносят взрывное *g*.

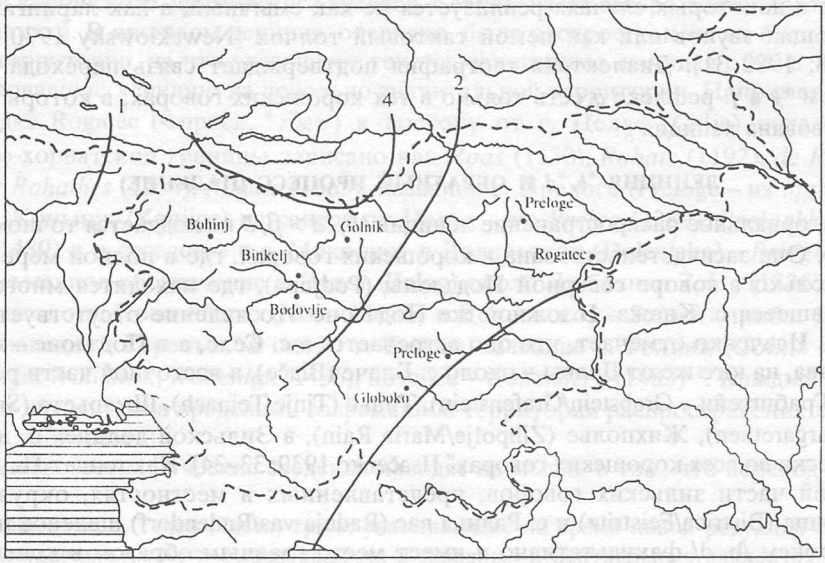
это позднепраславянский диалектный процесс, охвативший также чешский, верхнелужицкий и восточнославянские языки, вопрос об этом до сих пор остается предметом дискуссий [Trubetzkoy 1933; Isačenko 1939b; Lenček 1989]. Существует ряд словенских говоров, прежде всего корошский, где лениции подвергаются также праслав. *b, *d. В гореньском диалекте это явление наблюдается только в конце слова. Бóльшее распространение *g* > γ в словенских диалектах означает, что этот процесс начался раньше.

Когда в звуке *g* была утрачена смычность, возникла двусмысленность: неясно, является ли фонема *γ парной к **k* или к **x* [Trubetzkoy 1933: 273]. В говоре с. Кнежа в конце слова фонема /h/ слилась с рефлексом праслав. **x*: *jùx* "южный ветер" < *jùgъ*; *nûəx* "ног" (р.п. мн.ч.) < **nogъ*, *ǫ̀rax* "грецкий орех" < **orěxъ*. Это свидетельствует о том, что γ стало парным к *x*, тогда как рефлекс праславянского взрывного **k* остался без пары. Разделение же праслав. **k* и **g*, в свою очередь, вызвало новое противоречие в системе. Как всякий напряженный смычный, **k* произносился благодаря резкому сужению гортани с последующим подъемом задней части языка к мягкому небу и затем – его опусканием [Kohler 1984: 160]. Поскольку же смычный напряженный не находился в оппозиции с ненапряженным (в отличие от пар **p* – **b*, **t* – **d*), то было неясно, какое именно движение для него является основным: сужение голосовой щели или же подъем языка. Но любая реинтерпретация системы, связанная с этой двусмысленностью, не отражается на признаке /–компактность/, свойственном фонемам *k* и *q* и /+компактность/, характеризующем *p* и *t*. Это объясняет причины перехода **k* > *q* в корошском диалекте: сужение голосовой щели воспринималось как основной способ, и подъем языка мог вследствие этого утратиться. Утверждение, что глоттальный звук мог образоваться путем сужения гортани, а не собственно глоттальной смычки, помогает объяснить, то обстоятельство, что глоттальный в корошском диалекте в некоторых случаях реализуется не как смычный, а как ларингализация окружающих звуков или как немой тактовый толчок [Neweklowsky 1970; Priestly 1976: 268; 1982: 31]. Диалектная география подтверждает связь перехода **k* > *q* с развитием **g* в γ: рефлекс *q* есть только в тех корошских говорах, в которых засвидетельствована лениция *g*.

ЛЕНИЦИЯ *b, *d И ОБРАТНЫЙ ПРОЦЕСС (ПАДЕНИЕ)

Территориальное распространение лениции **b*, **d* > *β*, *ð* не поддается точному определению. Она засвидетельствована в корошских говорах, где в полной мере наблюдается только в говоре северной Подъюны (Podjuna), где находится многократно упоминавшееся с. Кнежа. В южной же Подъюне это явление отсутствует [Zdovc 1972: 42]. Исаченко отмечает, что оно встречается в с. Селе, а в Подъюне – на север от р. Драва, на юге же от Дравы – около с. Блаче (Blače), в восточной части рожского говора (Грабштейн – Grabstein/Grafenstein), Тинье (Tinje/Teinach), Шмарьета (Šmarjeta – Sankt Margarethen), Жихполье (Žihpolje/Maria Rain), в Зильской долине "и, наконец, практически во всех корошских говорах" [Isačenko 1939: 33–34]. Как пишет Паульсен, в восточной части зильских говоров, представленных в местностях, окружающих с. Быстрица (Bistrica/Feistritz) и с. Раднья вас (Radnja vas/Radendorf) щелевое произношение фонем /b, d/ факультативно и имеет место главным образом в конце слова, между гласными, а также в начале слова перед согласным [Paulsen 1935: 48, 151–153]. По данным Логаря, фрикативная артикуляция *β*, *ð* засвидетельствована и в современном западном рожском говоре, в с. Костанье (Kostanje nad Vrbskim jezerom/Köstenberg), в Зильской и Верхне-Сочской долине [Logar 1967; 1973]. Лаусеггер утверждает, что в с. Мария на Зилье (Marija na Zilji/Maria Gail), южнее г. Бельяк (Beljak/Villach) фонемы /b, d/ факультативно фрикативны. К тому же /w/ (<**v*) перед гласными переднего ряда факультативно, но часто реализуется как /b/ (*bîdəm*/*vîdəm*) "я вижу" [Lausegger 1989: 140]. В северной Гореньской фрикативность ограничена позицией в конце слова.

Все это можно объяснить, если предположить ослабление лениции прасл. *b, *d; иными словами, щелевые звуки заменились смычными там, где еще не произошла фонологизация фрикативности. Данные о лениции в тех говорах, где она сейчас не засвидетельствована, известны для гораздо более широкого ареала, чем сегодняшний. Они встречаются, например, в записях XV века. Идея о падении лениции подтверждается спорадическим слиянием *v и *b в b, т.е. бетацизмом в топонимах на территории вне нынешнего ареала лениции. Например, в ловенском литературном языке *Benętke* "Венеция" (в говоре с. В Били – *Banítke* (<*venetъ < роман. *venetia* [Bezlaj 1977: 17]); *Bodovlje* (топоним к югу от г. Шкофья Лока в Гореньской), происходящее из *ǫ-dolъ "долина" (с протезой *v*), записано как *Vondeul* (1291, 1318), *Vodobli* (1500); *Bohinji* (озеро в Гореньской) записано как *in Vochina* (приблизительно 1250), *in Fochin* (прибл. 1253), *in Vochino* (прибл. 1287), *de Bochino* (1333), *Binkelj* записано как *in dem Winchel* (прибл. 1300), *ze Alten Lak zu Winkhel* (1392), *im Winkhl* (прибл. 1500 < нем. *Winkel* "угол") (см. карту, изоглосса II[13]). Бетацизм не ограничен одними топонимами, ср. еще словен. *bâjar* "пруд" (прост.) < нем. *Weiher*, *zβíəzda* (с. Селе) "звезда" (<*zvězd̂a), *zβirína* "зверь" сохраняется в речи и тех, кто в остальных случаях не использует β. В областях ослабления лениции *b* заменяет *β* и *v* в тех лексемах, где аллофоны *b(β) и *v перекрывают друг друга или достаточно близки, например, в начале слова, особенно если в соседнем диалекте не было конкурирующей модели произношения. Параллели для такой гиперкоррекции находим в чешских диалектах (например, северно- и восточночеш. *pabouk* "паук", *břesk* "вереск", но чешское литературное *pavouk* "паук", *vřes* "вереск" [Bělič 1972: 25], в переходе *g* > *γ* в севернорусских диалектах [Andersen 1969 : 142]). Эти примеры доказывают, что ареал лениции в славянских языках раньше был значительно шире.



Карта словенской языковой территории с изоглоссами разновидностей лениции

Зап. от изоглоссы 1: сохранение *g как взрывной смычной

Зап. от изоглоссы 2: предполагаемый исторический ареал изменения *b, *d > β, ð

Зап. от изоглоссы 3: предполагаемый исторический ареал изменения *g > γ

Зап. от изоглоссы 4: *k > q

[13] Бетацизм (переход *v* > *b*) традиционно приписывается тирольскому влиянию, хотя Рамовш указывает на возможность чисто комбинаторного объяснения (см. [Ramovš 1924: 158–159] и цитируемую там литературу).

Такое же объяснение приложимо и к тем диалектам, где лениция сохраняется только в конце слова, например, в гореньских. Здесь конечный *-b реализуется как *f*, а *-*d* – как θ или -*s*. Именно такие рефлексы выпадают. Например, по данным Логара, в говоре с. Репнье (Repnje), 14 км на север от Любляны, произносится *zôf* (<*zębъ) "зуб", *golôf* (<* *gȍlabь*) "голубь". Однако преобладает смычное оглушение: *poγrèp* (<**pogrèbъ*) "похороны", *jâstrep* (<**jăstrębъ*) "ястреб" [Loger 1981a]. Вероятно, здесь имела место такая же лениция, как в корошском диалекте, но затем щелевые согласные по стилистическим причинам заменились на смычные. Но почему же фрикативные звуки сохранились в конце слова? Видимо, потому, что здесь согласный звонкий оглушался. Фрикативные варианты стали ассоциироваться с соответствующими фонемами: -*f* – с /f/, -*q* и -*θ* – с /s/. С этим связано то, что аллофон *θ* не образовал новой фонемы, а присоединился к /s/. Это объяснение подкрепляется и лингвогеографическими данными: там, где лениция отсутствует, нет и оглушения согласных в конце слога (Чрни врх [Črni vrh], Польянска долина [Poljanska dolina], Логатец [Logatec], Селца [Selca], Шкофья лока [Škofja loka] и Хорьюл [Horjul] (см. карту) [Lenček 1989: 223].

ХРОНОЛОГИЯ

Как показывают примеры типа *stŕâwa*, оппозиция напряженных–ненапряженных в корошском диалекте имела место во время падения редуцированных, когда появились новые группы согласных, а в некоторых словенских диалектах существовала и некоторое время после падения редуцированных. Абсолютную хронологию ее переинтерпретации в звонкость–глухость трудно установить как из-за скудости рукописных данных, так и из-за несовершенства немецкой и латинской графических систем, не приспособленных для передачи интересующих нас особенностей. Тем не менее имеющиеся источники позволяют сделать некоторые выводы. Так, во Фрейзингенских листках (ФЛ), написанных между 972 и 1039 г., вероятно, под диктовку говорящего пословенски и адресованных, скорее всего, немецкому духовному лицу [Bernik et al. 1993 : 65], написание глухих и звонких свидетельствуют, скорее всего, об оппозиции напряженности–ненапряженности. Одно из таких свидетельств, ранее не отмечавшееся или приписывавшееся особенностям каролингского письма, – отсутствие ассимиляции по звонкости–глухости в группах согласных: *redka* мн.ч. ср.р. (<*rědъk-*) "редкие", *tatbe* мест. п. ед.ч. (<**tátьb-*) "кража", *tatbinah* мест. п. мн.ч. "то же". Аналогично оппозиция звонкости–глухости не нейтрализуется в конце слова: *Eccę bi detd nas* "если бы дед наш" (*dědъ*), *edin Bog* "един Бог" (<* *bȍgъ*); *Gozpod zuueti* "Господь святой", *pongeze bih na zi zuet vuuraken* "когда я был на этот свет возвращен" (<**světъ*), *iz uuevka v uuek* "во веки веков" (<**věkъ*). Если не предполагать, что немецкий писарь хорошо знал славянскую морфонологию, то естествен вывод об отсутствии оглушения в языке ФЛ (вопреки утверждениям критических изданий). Далее, после щелевого и в начале слова перед безударным гласным глухой смычный иногда передается графемой для звонкого: *Gozbod* (1x), *Gospod* (3x), *izbovedati ze* (<**izь-povědati sę*) "исповедаться", *izpovued*, *izpouued* "исповедь", *izbovediu* "то же", тв. пад. ед.ч.; *bozzledine* "последнее" вин.п. ср.р. ед.ч. (<**poslědn'*-); *botomu* (2x), *potomu* (2x) "потому" (<**potomu*), поскольку такие примеры встречаются в позициях, где напряженные обычно ослабляются (ср. англ. [p^h]in "булавка" vs. s[p]in "вертеть"), они подтверждают предположение о базовой оппозиции напряженности–ненапряженности.

Как показал Андерсен, относительная хронология изменения $^*g > \gamma$ связана с падением редуцированных [Andersen 1969 : 558–562; 1977]. До падения редуцированных не могло существовать других групп смычных, кроме щелевого и смычного. Это позволяет установить, что изменение $^*g > \gamma$ предшествовало падению еров в тех диалектах, где сохранялось смычное произношение этих групп (*g*, но *zγ*), но следовало за

падением там, где *g* стал фрикативным в любом окружении (*γ*, *zγ*) [Andersen 1969 : 558–562]. В резьянском диалекте (кроме крайне западного говора села В Били, где сохранился взрывной *g*) лениция происходила после гласного или в начале слова, например, *bohat* (<**bogatъ*) "богатый", *hlás* (<**glâsъ*) "голос", но после фрикативного смычный сохранялся: *drúzga* (<**drozdъ*/**drozgъ*) "дрозд", *zvýzgala* (<**zvizgala*) "свистела". Падение еров до лениции подтверждается тем, что в новых группах смычных лениция после щелевого возможна: *zhúda* (<*sъgoda*) "рано"[14]. Итак, резьянский диалект в этом отношении соответствует центральному ареалу с изоглоссой **g* > *γ*, который включает в себя белорусский, украинский, словацкий языки и восточноморавский диалект чешского. В словенских же диалектах южнее и восточнее резьянского это изменение произошло после падения еров, ср. с. Комен (Komen) *dûγo* "долго", *bẓγa* (<**bъzgъ*) "самбук", *žγâla* "она обожгла" (<**žъgala*); с. Чрни врх *bôγạt*, *γlâs*, *žwîžγạt* "свистеть", *mûəzγạ* (<**mòzga*) "мозг", род.п. ед.ч., *zγûədej* (< *sъ̀godajь*) "рано"; с. Уквэ (Ukve/Ugovizza) *mažγânę* "мозги". В нецельном гореньском диалекте севернее Любляны тоже есть такое изменение, а также лениция смычного после щелевого в сочетаниях, возникших после падения редуцированных (ср. в Ярше (Jarše) *zγurí* (<**sъgori-tъ*) "сгорает", словен. *zgori*, также *žvižγât* "свистеть"). Нет данных о том, чтобы в словенском (за исключением резьянских говоров) переход **g* > *γ* имел место (но такие данные могут появиться). Можно заключить, что лениция началась именно в резьянском диалекте и после падения редуцированных распространилась на восток и на юг. В отдаленных ареалах Верхней Короской лениция могла развиться и позднее.

В отличие от перехода *d* > *ð*, рукописные свидетельства β на месте *b* имеются, так как смягченный *b* мог передаваться графемой *w*, а специального знака для *ð* не существовало. Написание *w* вместо **b* засвидетельствовано в словенских рукописях, датируемых второй половиной XV в.: в Стишской рукописи (Stiški rok., 1246 и 1440 г., интересующие нас данные встречаются в тексте 1440 г.), в Краньской рукописи (Kranjski rok., 1440), в Старогорской рукописи (Starogorski rok., 1492–1498) [Mikhailov 1998: 155, 186, 218][15]. Примеры: **Стишская рукопись:** *swe∫eydo* (3 раза с несущественными вариациями) "со словом" (**sъ besěd(oj)ǫ*), *woga* (1 раз)/*boga* (1 раз) (<**boga*), *wogu* (2 раза)/*buga* (3 раза) "бога" (<**boga*), *wogu* (2 раза), дат.п. ед.ч., *wo∫ye* (1 раз)/*bo∫ye* (2 раза) "божьем", мест.п. ед.ч.; *wodem* (<**bǫd-*) "буду", *wÿ*/*voÿ* (<**by-*) "я был", аор. 1 л. ед.ч.; *will* (<**bylъ*) "был", *willu* "было"; **Краньская рукопись:** *wi(t)ti* "быть", *wodete* "будет", *Wog* "Бог", *wogat(h)imu* (2 раза) "богатому", *wo∫imu* (2 раза) "божьему", *wre∫ch* "без" (<**brez*); **Старогорская рукопись:** *wody* "пусть будет" (повелительное наклонение, 3 л. ед.ч.). Такой орфографии нет в древнейших памятниках, включая ФЛ и Целовецкую/Ратешскую (Celovški/Rateški rok., 1362–1390 гг.), как и более позднюю Чернейскую рукопись (Černjejski rok., после 1497 г.), хотя это различие можно связать не с хронологией, а с другими факторами, например, с особенностями орфографической традиции, отсутствием лениции в произношении у местного писаря. Итак, данные рукописей указывают на то, что лениция **b* (следовательно, и **d*) началась не позднее первой половины XV в. Топономастических данных мало, но можно привести следующие: *Globochdorf* (1117 г.), *zu payden Globokg* (1431 г.), *Klain Globokw* (1463 г.), *Klain Glowoku* (1481 г.), *Chlain Glowokw* (1485 г.), соответствующие

---

[14] Резьянские данные, записанные И.А. Бодуэном де Куртенэ, цитируются по [Groen 1989: 89–90].

[15] Сведения о словенских рукописях, более поздних, чем ФЛ, приводятся по книге [Mikhailov 1998]. Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить д-ра филол. наук Н. Михайлова, приславшего мне текст своей книги задолго до ее издания. Эта замечательная книга немало способствует пониманию развития словенского языка так называемого рукописного периода – от ФЛ до деятельности П. Трубара.

современному топониму *Globoko* (<**glǫbȍkъ*), на р. Крка (Krka) около с. Амбрус (Ambrus) в Доленьской. Эти топонимы могут свидетельствовать о том, что лениция звука **b* достигла южных словенских говоров до конца XV в.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе предшествующего изложения были обнаружены различные конкурирующие между собой фонетические процессы в словенской языковой общности. Некоторые из них могут быть датированы абсолютно, иные же – только относительно, в связи с другими. На основании как типологических соображений, так и рукописных данных (прежде всего – из ФЛ) можно предположить, что в праславенском диалекте существовала оппозиция напряженных и ненапряженных согласных. Со временем она была преобразована: ненапряженные согласные потеряли признак смычности, т.е. стали щелевыми. Этот процесс развивался последовательно. Первый его этап развивался до X в., когда в прасловенском выпали редуцированные. Лениция $^*g > \gamma$ началась на северо-западе (в той части, которая позднее стала резьянским диалектом), что доказывают различные рефлексы **g* и **zg* в тех областях, где лениция предшествовала падению еров. Вероятно, эта ранняя лениция началась еще в праславянском и характерна для славянских диалектов на севере, на территории нынешней Австрии. В результате всего этого развилась изоглосса, отображенная в табл. 1: ареал А – диалект, в котором лениция предшествовала падению редуцированных; в ареале Б последовательность изменений была обратной. В табл. 2 представлена территория за пределами ареала А, где $Б_1$ – это диалект, в котором лениция распространялась в северо-западной половине Словении, и этот процесс длился несколько столетий. Внутри этого ареала, на севере словенской территории, а именно в Короской, имеет место переход $^*k > q$. Это изменение не может быть датировано вне связи с $^*g > \gamma$, который стал парным к глухому *x*. Именно из-за этого велярный смычный напряженный превратился в гортанный смычный или аппроксимант.

Таблица 1

$^*g > \gamma$ до падения еров (А)

А	*bogatъ*	*mozg-*	*sъgoda*
Б	*boγatъ*	*mozg-*	*sъγoda*

Таблица 2

$^*g > \gamma$ после падения еров ($Б_1$)

Б	*boγatъ*	*mozg-*	*sъγoda*
$Б_1$	*boγatъ*	*mozγ-*	*sъγoda*

**bogatъ* "богатый", **mozgъ* "мозг", **sъgoda* "рано".

Ко второй половине XV в. лениция $^*b, d > \beta, \delta$ начала распространяться на север и юг, по-видимому, охватив бóльшую часть словенской территории, достигнув, возможно, и части доленьского ареала на юге. Этот процесс представлен в ареалах В, Г, Д в табл. 3. Очевидно, эти ареалы меньше по площади, чем $Б_1$ из табл. 2, так как нет диалектов, где бы наличествовала лениция *b*, *d* и отсутствовала *g*. Эти черты связаны с общей тенденцией заменять оппозицию напряженности–ненапряженности на глухость–звонкость в системе смычных согласных. Одна из таких черт – замена *γ* на *g*,

соответственно *β, ð* на *b, d* по социолингвистическим причинам, что и по сей день наблюдается в некоторых селах. Эти ареалы обозначены в табл. 3 как Г и Д. Другая черта – оглушение конечного звонкого смычного, которое предполагает наличие оппозиции / ± звонкость/. В ареале, обозначенном буквой Е (большинство юго-восточных диалектов) в результате этого смычные нейтрализовались по звонкости (*p–b, t–d, g–k > p, t, k*). В ареале Д (северная Гореньска) благодаря тому же глухие щелевые аллофоны отождествились с соответствующими щелевыми фонемами (*f, s, x*). Это подтверждается тем, что только конечные согласные типа mediae остаются щелевыми, а неконечные заменяются на звонкие. Ареал Г (Черни врх, Польянская долина, Логатец, Селца, Шкофья лока и Хорьюл) – это диалекты, в которых произошел процесс ленции, но еще не развилось оглушение на конце слога. Ареал В (консервативный корошский диалект и говоры верхней долины р. Соча) остается не охваченным процессом падения ленции и конечным оглушением согласных, т.е. сохраняет архаизмы в соответствии со своим периферийным положением. Заметим, что в этой схеме остается неотмеченным то, что в отдельных периферийных говорах конечные согласные начинают оглушаться, например, в говоре с. Кнежа звонкость перед паузой нейтрализуется [Logar 1981b: 203]. Однако в результате этого не произошло трансформации системы, и такие говоры могли превратиться в диалекты типа Д, что и случилось с говором с. Селе корошской диалектной группы.

Таблица 3

Ленция *b, *d: падение ленции, оглушение конечных звонких

Л	В	*zǫ̂β*	*xlâð*	*snę̂γ*	*čəβę̂la*	*vî̥ði*	*sneγâ*	
↓	Г	*zǫ̂b*	*xlâd*	*snę̂g*	*čəbę̂la*	*vî̥di*	*snegâ*	↑ ↓ П
↓	Д	*zǫ̂f*	*xlâθ/-s*	*snę̂x*	*čəbę̂la*	*vî̥di*	*snegâ* ↑	
	Е	*zǫ̂p*	*xlât*	*snę̂k*	*čəbę̂la*	*vî̥di*	*snegâ* О	

Л – ленция, П – падение ленции, О – оглушение.

Итак, аномалии, отмеченные в начале статьи, легко объясняются, если их считать не какими-то экзотическими инновациями, а продолжением общих праславянских тенденций, которые в словенских диалектах перестали действовать позже, чем в других славянских.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. 1980 – Реконструкция системы смычных общеиндоевропейского языка: Глоттализованные смычные в индоевропейском // ВЯ. 1980. 4.

Жирмунский В.М. 1964 – Введение в сравнительно-историческое изучение германских языков. М.; Л., 1964.

Журавлев В.К. 1986 – Диахроническая фонология. М., 1986.

Фасмер М. 1986–1987 – Этимологический словарь русского языка. 1–4 т. (перевод с немецкого языка О.Н. Трубачева). М., 1986–1987.

Andersen H. 1966 – Tenues and mediae in the Slavic languages: A historical investigation. Cambridge (Harvard University unpublished Ph.D. dissertation). Cambridge (Mass.). 1966.

Andersen H. 1969 – Lenition in Common Slavic // Language. 1969. 45.

Andersen H. 1973 – Abductive and deductive change // Language. 1973. 49.

Andersen H. 1977 – On some central innovations in the Common Slavic period // Slovansko jezikoslovje. Nahtigalov zbornik. Ljubljana, 1977.

Bělič J. 1972 – Nástin české dialektologie. Praha, 1972.

Bernik F. et al. 1993 – Brižinski spomeniki. Znanstvenokritična izdaja. Ljubljana, 1993.

Bezlaj F. 1977 – Etimološki slovar slovenskega jezika I: A–J. Ljubljana, 1977.
Bezlaj F. 1995 – Etimološki slovar slovenskega jezika III: P–S. Ljubljana, 1995.
Grafenauer I. 1905 – Zum Accente im Gailthalerdialekte // AfslPh. 1905. 27.
Greenberg M.L. 1999 – Multiple causation in the spread and reversal of a sound change: Rhotacism in South Slavic // Slovenski jezik. Slovene linguistic Studies. 1999. 2.
Groen B. 1980 – On the phonology of the Resian dialects. The consonant system // Studies in Slavic and general linguistics 1 / Ed. by A.A. Barentsen et al., Amsterdam, 1980.
Isačenko A. 1936a – Les parlers slavec du Podjunje en Carinthie: description phonologique // Revue des études slaves. 1936. 15.
Isačenko A. 1936б – Zur Frage der 'zentralslavischen' Lautveränderungen: der Wandel *g* > *γ* im Slovenischen // Sbornik Matice slovenskej 1936. 14/1.
Isačenko A. 1939 – Narečje vasi Sele na Rožu. Ljubljana, 1939.
Ivić P. et al. 1981 – Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih opšteslovenskim lingvističkim atlasom. Sarajevo, 1981.
Karničar L. 1990 – Der Obir–Dialekt in Kärnten. Die Mundart vom Ebriach/Obirsko im Vergleich mit den Nachbarmundarten von Zell/Sele und Trögern/Korte. Wien, 1990.
Kohler K.J. 1984 – Phonetic explanation in phonology: The feature fortis/lenis // Phonetica. 1984. 41.
Kortlandt F. 1985 – Proto–Indo–European glottalic stops: The comparative evidence // Folia linguistica historica. 1985. VI/2. 6.
Lausegger H. 1989 – Značilnosti slovenskega govora pri Mariji na Zilji // Zbornik razprav iz slovanskega jezikoslovja. Tinetu Logarju ob sedemdesetletnici. Ljubljana, 1989.
Lenček R.L. 1989 – Notes on the evolution patterns of the common Slavic **g* > *γ* and *–g* > *–x* in Slovene dialects // Slavistična revija. 1989. 37.
Logar T. 1967 – Dialektološke študije XII. Govor vasi Kostanje nad Vrbskim jezerom // Slavistična revija. 1967. 15.
Logar T. 1968 – Dialektološke študije XIV. Govor vasi Kneža pri Djekšah na Koroškem // Slavistična revija. 1968. 15.
Logar T. 1971 – Dialektološke študije XV. Govor slovencev Kanalske doline v Italiji // Slavistična revija. 1971. 19.
Logar T. 1973 – Slovensa koroška narečja v Avstriji // Seminar slovenskega jezika, literature in kulture IX. Ljubljana, 1973.
Logar T. 1981a – Govor Repenj – Kopitarjevega rojstnega kraja // Seminar slovenskega jezika, literature in kulture XVII. Ljubljana, 1981.
Logar T. 1981б – Kneža (Grafenbach; OLA 148) // Ivić P. et al. Fonološki opisi srpskonhrvatskih/hrvatskosrpskih i makedonskih govora obuhvaćenih opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Sarajevo, 1981.
Maddieson I. 1984 – Patterns of sounds. Cambrdige, 1984.
Mikhailov N. 1998 – Frühslowenische Sprachdenkmäler. Die handschriftliche Periode der slowenischen Sprache (XIV. Jh. bis 1550). Amsterdam, 1998.
Neweklowsky G. 1970 – Der laryngale Verschlußlaut im Slovenischen // Wiener slawistisches Jahrbuch. 1970. 16.
Neweklowsky G. 1989 – Slowenisch und Deutsch in Kärnten: Phonetische Gemeinsamkeiten // Zbornik razprav iz slovanskega jezikoslovja. Tinetu Logarju ob sedemdesetletnici. Ljubljana, 1989.
Paulsen V. 1935 – Lautlehre des slowenischen Gailtalerdialektes in Kärnten. Wien, 1935 (Ph D – Diss.).
Priestly T. 1976 – A note on the glottal stop // Phonetica. 1976. 33.
Priestly T. 1977 – Consonant alternations in the dialect of Sele Fara // Papers in Slovene Studies 1976 / Ed. by Rado L. Lenček. New York, 1977.
Priestly T. 1982 – **k* + dative in a Carinthian Slovene dialect // Folia Slavica. 1982. 4.
Ramovš F. 1924 – Historična gramatika slovenskega jezika, II: Konzonantizem. Ljubljana, 1924.
Ramovš F. 1935 – Historična gramatika slovenskega jezika VII. Dialekti. Ljubljana, 1935.
Shevelov G.Y. 1965 – A prehistory of Slavic. The historical phonology of Common Slavic. New York, 1965.
Snoj M. 1997 – Slovenski etimološki slovar. Ljubljana, 1997.
Slawski F. 1962 – Zarys dialektologii południowosłowiańskiej. Warszawa, 1962.
Steenwijk H. 1992 – The Slovene dialect of Resia. San Giorgio. Amsterdam, 1992.
Steenwijk H., Ed. 1993a – Fondamenti per una grammatica pratica resiana. Padova, 1993.

Steenwijk H. 1993б – Una base dialettale par il resiano scritto // Strenwijk H. Fondamenti per una grammatica pratica resiana. Padova, 1993.
Štrekelj K. 1887 – Morphologie der Görzer Mittelkarsdialekts mit besonderer Berücksichtigung der Betonungsverhältnisse. Wien, 1887.
Tominec I. 1964 – Crnovrški dialekt. Ljubljana, 1964.
Trubetzkoy N.S. 1933 – Zur Entwicklung der Gutturale in den slavischen Sprachen // Сборникъ в честъ на Л. Милетичъ. София, 1933.
Vermeer W. 1993 – L'origine delle differenze locali nei sistemi vocalici del resiano // Steenwijk H. Fondamenti per una grammatica pratica resiana. Padova, 1993.
Zdovc P. 1972 – Die Mundart des südöstlichen Jauntales in Kärnten. Lautlehre und Akzent der "Poljanci". Wien, 1972.

Перевел с английского *К.Г. Красухин*

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2001

© 2001 г. А.Л. ШИЛОВ

ТОПОНИМИЧЕСКИЕ КАЛЬКИ И ЭТИМОЛОГИЯ СУБСТРАТНЫХ ТОПОНИМОВ

Топонимические кальки представляют интерес для различного рода исследований: выяснения характера межэтнических отношений; определения типа субстратных языков; этноисторических проблем – хронология освоения (или даже временного присутствия) тех или иных территорий различными этносами (вспомним "славянские" и "росские" названия порогов Днепра у Константина Багрянородного и соответствующую дискуссию). Они дают ключ к решению и собственно топонимических, и лингвистических вопросов: наличие у данного этноса определенных топонимических моделей, этимология конкретных топонимов, семантика субстратных лексем и др. [Попов 1940; 1965; Матвеев 1986; Муллонен 1994б; 1995; Мамонтова 1994; Йоалайд 1990].

Уже русские летописи демонстрируют значительное число калек, о чем писал Я.К. Грот [Грот 1867]. В них представлены и прямые, синхронные кальки (приводятся оба варианта топонима), и кальки скрытые (иноязычный эквивалент известен по иным синхронным источникам), и кальки диахронные (время фиксации двух вариантов в одной и той же языковой традиции не совпадает). Мы видим в летописях кальки с самых разных языков: тюркских (*на месте нарицаемом Ерель его же Роусь зовуть Оуголъ* [ПСРЛ, Т. 2. 1908: 639; под 1183]), шведского (под 1188: *Новотържець*; как полагают, это *Нючепинг* в Швеции [НПЛ 2000: 39, 667, сноска 10]; под 1300: *Венець Земли*, швед. *Landskrona* на Неве), балтийских (под 1464: *заложи град нов деревян на Сини реки* [Карамзин, Т. VI] – нынешняя р. *Зилупе* – из латыш. *zils* 'синий', *upe* 'река').

Особо многочисленны финские кальки. Так мы видим в летописях под 862: *Белоозеро* – вепс. *Ваугедарь* (**Vaugedjärv*) [Попов 1981: 54]; под 1054: *Кедипив* (по разным спискам *Кепедивъ*, *Декипивъ*) – *Солнца Рука* (*Декыпивъ сиречь Солнца Роука* [ПСРЛ, Т. 39. 1994: 47][1]; под 1116: *Медвежья Голова* – *Оденпе* у Генриха Латвийского, ныне *Отепя* < **Ohdonpää;* под 1214: *под городомъ Воробшиномъ* – эст. *Varbola* [НПЛ 2000: 52] (ср. эст. *varb*(*lane*) < др.-русск. *воробии*); под 1311: в землях Еми реки *Купецкая* и *Черная*; под 1318: *Полная река* – *Aurajoki* (согласно Я.К. Гроту, настоящее ее финское имя – *Awarajoki* 'Обширная'); под 1323 – о. *Орехов* (его карельское название *Pähkinansaari* передано как *Pekkinsaar* шведской "Хроникой Эрика" 1320–1325 гг.); под 1344: *Островская земля* ~ *Saaremaa*; под 1496 названы реки Каяна-моря (Ботнического залива) *Сиговая* (*Siikajoki*) и *Снежная* (*Lumijoki*).

Летописная традиция продолжалась и в иных документах. В [КБЧ 1950] в Сибири названа *гора Улутова, по-нашему Великая гора* (тюрк. *улутау* 'великая гора'); на Северном Урале – городок *Войкар* (коми 'ночной (т.е. северный) город'), он же

[1] Этот пример привел еще Н.М. Карамзин [Карамзин 1991, Т. 2]. Русский перевод, впрочем, не точен: эстонское *Kädepäivä* значит 'Руки солнце' (или 'Руки небо'), а не 'Солнца рука'. Тем не менее, эта "калька" позволяет выбрать из летописных вариантов тот, что отвечает оригиналу.

Ноцкой, т.е. 'Ночной'; на Приполярном Урале – *гора Князькова*, т.е. *Пайер*, по-ненецки 'Князь (господин) Урала'. В грамоте 1474 г. [ГВНП 1949, № 78] река *Эмайыги* (эст. 'мать–река') названа *Матерая река*. В документе XVI в. *Балтийское море* (ср. с лит. *baltas* 'белый') названо как *море Белое* [Охотина 1993].

Большое число топонимических калек с территории севера России приведено М. Фасмером (его карельский материал будет указан ниже). Не раз к данной теме обращался А.И. Попов, указывая на ценность калек для топонимических исследований, особо – для определения характера мертвых языков. Из приведенных им примеров хотелось бы отметить следующие: название дер. *Кибол* на р. *Каменка* свидетельствует о мерянском **ки(в)* 'камень' (при **бол(а)* 'вид поселения') , родственном прибалт.-фин. *kivi*. Река *Керженец* (л. пр. Волги) в старых документах названа как *Лева Керженка*, что дает основание к сравнению ее названия с мордовск. *керже* 'левый'. Название погоста *Отла–Новинки* (яренские писцовые книги) говорит о том, что здесь проживал народ, родственный в языковом отношении прибалтийским финнам или саамам (фин. *uusiluude-*, саам. *одд, отт* при коми *выль* 'новый' [Попов 1965: 126–130]).

Идеи, высказанные Я.К. Гротом, М. Фасмером, А.И. Поповым, получили особо плодотворное развитие в работах А.К. Матвеева и его сотрудников применительно к территории Русского Севера. Отмечается, что фиксация дублетных форм, которые характеризуют один и тот же объект, происходит, как правило, при наличии двуязычия, которое на территории Севера представляет собой давно минувший этап взаимодействия языков [Матвеев 1986: 37]. Действительно, здесь пока отмечены лишь немногие кальки: г. *Акова ~ Старик* в Каргополье, ср. прибалт.-фин. *akka* 'старуха', р. *Питара ~ Змиевка*, ср. карел. *pitee* 'змея' [Гусельникова 1999; Кабинина 1997]. В этих условиях особое значение приобретают метонимические кальки: одинаковые в плане содержания, но различные в плане выражения (разноязычные) обозначения смежных объектов. А.К. Матвеев показывает два возможных пути возникновения метонимических калек. Первый состоит в том, что из двух субстратных (одинаковых смыслом) названий смежных, но разных (по типу) объектов одно сохраняется, а другое калькируется; второй – в том, что субстратное название или его калька переносится на часть объекта или смежный объект, то есть происходит своеобразное "расщепление" топонимического дублета, который в эпоху былого двуязычия прилагался к одному объекту [Матвеев 1986: 38][2].

Для территории Севера приведены такие яркие примеры: дер. *Нюхча* (саам. *n'uhč* 'лебедь') у бол. *Лебяжье*, покос *Хабано* (вепс. *hab* 'осина') против покоса *Осиново*, р. *Сейвас* (прибалт.-фин. *seibas, seivas* 'кол, жердь, столб') между реками *Жердь* и *Вица*, оз. *Холмозеро* (прибалт.-фин. *kalm-* 'смерть, могила') со стоком в р. *Смертья*[3]. В басс. р. Андома (приток Онежского оз.) найдены вепсско-русские кальки: *Айнозеро* (*ajada* 'ехать, плыть') рядом с оз. *Ездно*; р. *Кайдашка* (*kaidasti* 'узко'), вытекающая из болота *Узкий Мох*; *Каляручей* (*kala* 'рыба'), текущий из оз. *Рыбно*; *Кугозеро* (*kuk* 'петух') у дер. *Петухова Гора*; уроч. *Куйвач* (*kuivacin* 'сухой') у покоса *Сухоземля*;

---

[2] Метонимическое калькирование, как и прямое, распространено повсеместно. В качестве примера укажем метонимическую кальку на юго-востоке Латвии: р. *Дубна* (басс. Даугавы), вытекающая из оз. *Сивера*. По отдельности эти названия не могут быть интерпретированы со 100% надежностью, но их сочетание не оставляет сомнений, что мы имеем дело соответственно с лит. *dubus* 'глубокий' и прибалт.-фин. *süvä järvi* 'глубокое озеро'. При этом данный прибалтийско-финский язык не является водским (водь – ближайший территориально к этим названиям современный прибалтийско-финский этнос), ибо в водском 'глубокий' *tüvä* и под.

[3] Обратим внимание на то, что в отсутствие коррелирующего топонима (р. Смертья) название Холмозера могло быть воспринято как калька прибалт.-фин. **Mägi järvi* 'Озеро в холмах'.

уроч. *Курнаний* (*kurn* 'желоб, лоток') рядом с уроч. *Лоточное*; *Линдручей* (*lind* 'город') рядом с уроч. *Городок*; *Силдоручей* (*sild* 'мост') у покоса *Старомостки* [Гусельникова 1999]. В устье Двины у дер. *Птички* расположен мыс *Чирконос* (карел., вепс. *tširk* 'птичка') [Кабинина 1997]; часть Кенозера называется *Равдозеро*, а рядом – пролив *Железные Ворота*; с. *Керга* (фин. *kirkko*, саам. *кирко* 'церковь') рядом с с. *Церковное*; руч. *Грязный* впадает в *Рабручей* (вепс. *raba* 'гуща, грязь'); в оз. *Чачема* (саам. *čac* 'вода') впадает р. *Мокрая*; близ *Шидмозера* (саам. *sijt* 'зимняя деревня') находится оз. *Жилое*; рядом с дер. *Гора* и *Холм* находится дер. *Чуга* (саам. *чокк* 'гора') [Матвеев 1986: 38–39]. В последнем случае, впрочем, калька является скорее не саамско-русской, а вепсско-русской, ср. *Чуга* и вепс. **čuhak*, **čuhuk* 'холм, горка', восстанавливаемым из топонимии (*Чухук, Чухак, Чугаки, Чухакомяги, Чухусельг, Пен Чуху* и *Сурь Чуху*) с привлечением *čuhu* 'конек крыши, чердак' [Муллонен 1994а: 56–57].

Очень интересна ойконимная пара, зафиксированная на Пинеге в 1678 г.: соседние дер. *Чючюбала* и *Сетальская*: основы топонимов связываются соответственно с марийск. *чючю, чычы* (менее вероятным представляется саам. *čœcce*) и прибалт.-фин. *setä* 'дядя' [Матвеев 1995]. В форманте же *-бала* можно видеть как мерянский ойконимный термин **бол/бал*, так и саам. *bœlle* 'сторона, половина'. Это лишь один из примеров, позволивших А.К. Матвееву говорить о наличии субстрата "марийского типа" (позднее он все более уверенно говорит о мерянах) на Русском Севере. Еще примеры: дер. *Леждуга* рядом с населенным пунктом *Лиственничный* (при фин. *lehti*, но марийск. *leštaš, lištaš* 'лист'); руч. *Каменный*, впадающий в р. *Кубал* у дер. *Кубало* (см. выше пару *Кибол-Каменка* у Суздаля при переходе мерянск. **i* > **ü*); руч. *Кочкужмень*, впадающий в Устью против с. *Орлово* (марийск. *кучкыж* 'орел'); руч. *Собачий*, впадающий в р. *Пинежка* в Поважье (марийск. *пинеге* 'щенок'[4]). Матвеев также признает, вслед за А.В. Кузнецовым [Кузнецов 1995: 88–89], мерянско-вепсско-русской метонимической калькой комбинацию названий Вытегорского р-на: *Шимозеро – Черная Яма* ~ вепс. *Musthoud* (марийск. *šeme*, вепс. *must* 'черный') [5], сравнивая со смежными речками басс. Клязьмы *Шимахта* и *Черная* [Матвеев 1970; 1996; 1998].

Вепсско-русские кальки Вепсского Межозерья приведены в работах [Йоалайд 1990; Муллонен 1994а: 98–112; Кузнецов 1995]. Вепсско-русской метонимической калькой считается пара *Лидь* (вариант *Ледь*, ср. вепс. *led* 'песок') и *Песь* – соответственно левый и правый притоки Чагоды (их устья разделены 7 км) [Кузнецов 1999: 98–99]. В Вепсском Межозерье отмечены и саамско-вепсские метонимические кальки: руч. *Pitkoja* вытекает из оз. *Kukazjär'v* (вепс. *pitk*, саам. *kugkes* 'длинный'); в течении ручья *Viigoja* (**Vilgoja*) находится оз. *Vaagedjär'v* (саам. *vilgkad*, вепс. *vaaged* 'белый') [Муллонен 1994а: 132].

И.И. Муллонен полагает, что в условиях длительного двуязычия далеко не все семантические типы топонимов калькируются (хотя случайные переводы возможны всегда). Так, в составе гидронимов Присвирья достаточно активно переводятся лишь некоторые топоосновы с квалитативной семантикой: "черный", "белый", "глубокий", "кривой", "длинный", "открытый, безлесный" (в русских соответствиях "гладкий"). Среди основ, входящих в иные семантические разряды, тенденцию к переводу обнару-

---

[4] Но в 1482 г. речка названа *Пенежка* [АСЭИ 1964, № 290]. Посему не исключено и саам. *penne*, прибалт.-фин. *peni* 'собака' (и *jogk, jogi* 'река').

[5] Этот пример нам не кажется надежным. Шимозеро состоит из двух обособленных плесов – собственно *Шимозера* и *Святого озера* ~ вепс. *Пюхарь*. Из дальнего залива последнего вытекает ручей, который через 1 км вливается в собственно *Черную Яму* – карстовую воронку. К югу от нее расположена карстовая воронка *Белая Яма*, принадлежащая уже другому озеру. Неизвестно, какой из членов бинарной оппозиции первичен и имеет ли отношение название *Черная Яма* к названию самого Шимозера. Озеро это, кстати, чистое и глубокое, а такие обычно не назывались "черными".

живают *hein* “сено” и “*haug*” ‘щука’. На примере гидронимов со значением основ “святой” и “окунь” показана важность наличия в воспринимающем (русском) языке соответствующих топонимических моделей, активных, притом, в конкретный исторический период [Муллонен 1994б; 1995].

Широкий спектр семантики переводных топооснов и топоформантов (географических терминов) демонстрируют саамско-русские кальки Кольского п-ва (даются по [Itkonen 1958]):

Akjaur – Бабозеро (1608) близ Печенги; *Ahk'k'el* (1593), *Ackala* (1603), *Аккала ~ Бабинск, Бабинский погостъ* (1608), *Бабиничи* (саам. *ajk* ‘бабка; жена верховного божества’). Интересно, что русским *Бабозеро* (р. Варзина) калькируется и саам. *Nizanjarv* ‘Женское озеро’.

Haudaluht ~ Долгая Ямка (*havt* ‘яма, могила’, *luht* ‘залив’); *Haudentšvarr ~ Ямка-гора.*

Kaužluht ~ Сучья губа, ср. *kakša*, родит. пад. *kaVš* ‘сука, шлюха’.

K'ewnges ~ Падунъ на Туломе.

Koningas' luht ~ Княжья губа на Йокостровской Имандре. Это явно русско-саамская, а не саамско-русская калька.

Košk-mann ~ Сухоламбина на Монче-реке, ср. *košk'es* ‘сухой’ и *mana* ‘плес’.

Kurbišsuol ~ Паленый остров на Бабинской Имандре.

Kuevtsuol ~ Змеиный остров на Мончезере.

Kuvt-suol ~ Срединный остров на Умбозере (*kuuDa, guowdo* ‘место посередине’).

Laddsuol (дословно ‘Финский остров’) ~ *Немецкий остров* на Туломе .

Lann-lutintš ~ Мясная губка на Имандре (*lânn*[a] ‘подсоленное мясо, выдержанное в холодном источнике’, *lutintš* ‘маленький залив’).

Lann 'njark ~ Городской наволок на Йокостровской Имандре.

Leibjavr ~ Хлебное озеро на р. Печа.

Munemas (*Manemes, Monomas* в 1517 [Возгрин, Шаскольский, Шрадер 1988]) ~ *Почкоозеро*; *mạ̀n̥emẽš* ‘почка’. Этот пример дает ключ и к этимологии названия *Monmos*, отмеченного в Сев. Приладожье в 1618 г. [История 1987: 289].

Namdes-javr ~ Волчье озеро, Namdes-tunder ~ Волчьи тундры. Согласно Т. Итконену, **namdes* (при *пемта* ‘имя’) означало ‘прозвище’, иносказательно – ‘волк’.

Nurksuol ~ Крутой островъ на Имандре, ср. *nuṛ̀ k̥'k'*[E] ‘скальный угол, уступ, обрыв’.

Njangdoibnjark ~ Кожаный новолок на Бабинской Имандре (*njanng* ‘тюленья кожа’, *doib* ‘межозерный перешеек’, *njark* ‘мыс’).

Njuhtšjok ~ Лебяжья река.

Passe Njarg ~ Святой Нос.

Pel'l'avuonn ~ Korvavuono; *Pelja, Pelljaoaiv ~ Korfwa* (1740), *Korvatunturi*. Это саамско-финские кальки: саам. *pel'l'a*, фин. *korva* ‘ухо’, в топонимах ‘боковой залив реки, озера’ [Шилов 1999а: 71–72].

Piennevuoj ~ Собачий ручей.

Piess 'varentš ~ Березовая варака.

Pilsuol, Pilvsuolentš ~ Облачный остров.

Poaz-suel ~ Олений остров, Poadzvaiventš ~ Оленья тундра.

Ruevses-pautaž ~ Красная пахта (1608); Обратим внимание на достаточно раннее свидетельство заимствования русскими саамского термина *пахта* ‘скала’[6].

Puitsuol ~ Ножной остров.

Ruvdluht ~ Железная губа.

---

[6] Д.Н. Шмелев датой первой фиксации русского заимствования указывает 1675 г. [Шмелев 1961]. Заметим, что запись “повыше Новзеевой *пахты*” датируется 1581 г. [Акты 1990].

Savvan-tundar ~ Плесовая гора (между оз. Имандра и Кандалакшской губой).
Seajv-suol ~ Сеть-островъ.
Seidvuppiluht ~ Дьявольская губа (*seid* 'священный камень, олицетворяющий божество', *vuppi* 'узкий залив, фиорд', *luht* 'губа, залив'). Как *Дьявольский наволок* калькировано и *Tšokkapper-njark* при том, что *tšokk kaopper* дословно значит 'остроконечный колпак', а переносно 'черт'.
Sarvesjaur ~ Гирвасъ-озеро (1608). Рус. *гирвас* 'самец оленя' заимствовано из прибалт.-фин. Ср. и *Сэрвес сийт* (на русской карте) ~ фин. *Hirvaskylä* [Леннрот 1985] ~ *Гирвас село.*
Sevel'vuoi ~ Гарьюсный ручей (*suevvel* 'хариус').
Solderntš (**Suoll-dearmandtš* < *suolle* 'соль' + уменьш. от *tierme* 'круча') ~ *Соленые горушки.* Русская калька помогает раскрыть происхождение сильно искаженного саамского топонима.
Soptvun ~ Кислая губа.
Sudis tšualm ~ Сухая салма при *suṇDeṣ* 'талый', т.е. здесь калька не точна.
Sup'javr ~ Осиновое озеро, Suprend ~ Осиновый берег.
Šapšuaj ~ Сигов-ручей
Toht-jaurendš ~ Гагарьи озерки.
Turdes ~ Шумная река (*tur̄ᵈṭeD* 'шуметь').
Tsikkjokk ~ Туманная река.
Tšinnglas'nuettsaš ~ Глубокая тоня.
Tšivrjok ~ Каменка река. Ср. *Vilgis Giedgie ~ Белои Камень* (XVIII в.) при *tšiwre* 'булыжник, галька', *kied'k'e* 'камень'.
Tšokk-suol ~ Высокий остров при *tšok'k'e* 'вершина, пик горы'.
Tšuvdispautentš ~ Светлая пахта.
Uarre-paute-luht ~ Беличья губа (при калькировании не принято во внимание *paute* 'скала').
Vales'jok ~ р. *Китовка, Valesket'k ~ Кит-камень, Vales-sijt ~ погостъ Китовский.*
Vidzjaur ~ Снежное озеро.
Vunsuol (дословно 'Остров в заливе') ~ *Бережной остров*
Vuoddes'vahk ~ Песчаное, Vuoddzaž ~ Пески (это морская семужья тоня).
Vuretšuaiventš ~ Воронья тундра.

В [Риппас 1899] указаны названия *Кулйокъ ~ Рыбная река* и *Белая Тундра ~ Суингъ- Уайвъ* (саам. *sewngel* 'белый мох', *uaiv, oaive* 'голова, вершина горы').

Кроме калек, аналогичных вышеуказанным, Г.М. Керт приводит *Корабнярк ~ Корабельный наволок, Нуккешъявр ~ Щучье озеро, Пяжзенчсуоллэ ~ Сосновые острова* [Керт 1995].

Через п-ов Рыбачий шел волок из губы *Большая Мотка* или *Мотовка* (*moat'k* 'волок') в губы *Малая* либо *Большая Волоковая.* Здесь мы видим метонимическую кальку.

Для территории Карелии пионерской можно считать статью А. Глаголевой, которая привела несколько калек из писцовой книги Обонежской пятины [Глаголева 1929].

Массовые примеры калек в Карелии привел М. Фасмер в работе 1934 г. (цит. по [Попов 1940]; Фасмер использовал данные [Сп. 1873]): *Рандале ~ Берег, Кирвесярви ~ Топорно озеро, Ки-наволок ~ Каменный, Журавлева гора ~ Курень-сельга, Нисельга ~ Носовая гора, Туливара ~ Ветреная гора* и др. Из примеров Фасмера интерес для топонимического исследования представляют лишь два последних. В отсутствие русского варианта, карельские названия могли быть истолкованы ошибочно, а именно как "Лычная гора" (ср. *niin* 'липа, лыко', но *niemi* 'мыс, нос') и "Паленая гора" (ср. *tuli* 'огонь', но *tuuli* 'ветер') соответственно.

А.И. Попов, кроме различных "Списков населенных мест", привлек материалы писцовых книг Водской (1500 г.) и Обонежской (1496 и 1563 гг.) пятин. Большая часть этого материала, как и примеров Фасмера, представляет интерес лишь для характеристики русско-карельского (русско-вепсского) контактирования и процесса адаптации русскими иноязычных топонимов, ибо приведенные кальки обычно равно прозрачны как с русской, так и с прибалтийско-финской сторон (примеров саамско-русских калек ни Фасмер, ни Попов не дают).

Намного более важны приведенные А.И. Поповым кальки названий, производные от личных имен. Здесь, действительно, зачастую истолкование названий без второй пары кальки невозможно или, по крайней мере, затруднительно: *Топой ниеми – Степанов наволок, Пиридой ниеми – Спиридон наволок*. Не меньшее значение имеет указание Попова на необходимость обращения к собственно тексту писцовых книг, а не только к указателю географических названий. Иначе этимологию отыменных ойконимов во многих случаях установить непросто. Ср.: *на низу Олонца Антуева… Федотко Онтонов*, дер. *Алкоевская… Захарко Александров* (но в другом случае имя *Александр* дало название дер. *Анкоевская*!), дер. *Ивкуева… Иванко Сухарь* (а в дер. *Ившуевской на Пелге Аристко Иванов*!), на *Терини горе Офоносков след Терехина внука* (но: *Теркова гора… Иванко Павло да сусед его Терешка*) и т.д. Русско-вепсской отантропонимической калькой возможно является название *Пиркиничи* на Свири, ранее *Пиркинский погост* (с 1496 г. [ПКНЗ 1999, Т. 1: 291–300]) ~ вепс. *Pirkl'a*, что представляется калькой *Спирков* (*погост*) в Уставе Святослава 1137 г. [Шилов 1999а: 23].

Справедливо и такое замечание Попова: "в меньших размерах, происходило и обратное явление: благодаря малой заселенности края далеко не все места ранее получили карельские названия – их называли уже русские; кроме того, новые русские селения естественно получали часто также не карельские имена. Карелы частично переводили эти имена на свой язык" (примеры этому мы увидим в писцовой книге Водской пятины).

В [Мамонтова, Муллонен 1992] охарактеризована ситуация с былым и нынешним двуязычием в Карелии; отмечено, что в северо-западном Приладожье в основном сохранились первоначальные дорусские топонимы. Заонежье, Пудожье и Беломорье, где русское население считает себя коренным, мало отличаются от других регионов Русского Севера с его субстратной топонимией прибалтийско-финского и более древнего происхождения. На остальной территории Карелии распространено двуязычие с многочисленными кальками: *Заостровье ~ Suarentagavoine, Щукнаволок ~ Hauginiemi, Пески ~ Liete, Никольская губа ~ Микон-лахти* и др. Поучителен пример названия о. *Peuransuari* на Олонке, происходящего не от слова "олень" (карел. *peura*, родит. пад. *peuran*), а от фамилии владельцев острова *Оленевы* [Мамонтова 1994: 120].

В приведенных ниже примерах синхронные и диахронные кальки особо не разделяются; об их характере позволяет судить документация топонимов. Подчас выявление диахронных калек является непростой задачей, если соответствующие документы не дают четкой привязки топонима к конкретному географическому объекту.

I. КАРЕЛЬСКО(ВЕПСССКО)-РУССКИЕ КАЛЬКИ

Обонежская пятина (цитаты без указания источника даны по [ПКОП 1930]):

Рамполе на п-ве Заонежье: *Бережное словет в Ранполе* (1563) – *в Ранбереги* (1582) [Неволин 1853] – позднее *Бережное Ранберег, Рамберег, Ронберег* (1788) [Витов, Власова 1974] – *Рамполь* [Сп. 1905]: карел. *randu* 'берег', *puoli* 'сторона'. Любопытно сочетание карельской и русской основ со значением "берег" в вариантах *Ранберег, Бережное Ранберег*.

дер. на Воронье поле словет в Вариш-палды: карел. *variš* 'ворона', *peldo* 'поле'[7].

деревня на Долгом ручью а ныне словет на Туксе на Питкое: карел. *pitkä oja* 'длинный ручей'.

Ки-наволок ~ Каменный наволок [Сп. 1873] на Важине (прибалт.-фин. *kivi* 'камень'). Интересна запись: *на Вагжене речке словет в Кивине наволоке* [ПКОП 1930: 93][8].

дер. на Поге ***конец*** *Гулк-озера* [ПКОП 1930: 88], позднее *Яхново ~ Agveh*; ср. людик., вепс. *agj* 'конец' (*-veh* – древний коллективный суффикс) и карел. *pohja* 'конец, дальний угол залива'. Здесь, возможно, и не было калькирования, а русские, карелы и вепсы независимо друг от друга называли деревню по ее характерному местоположению (ср. ниже *Сухое – Сугея*).

Лычный остров (*дер. на Сандал-озери в Лычном острове* [ПКОП 1930: 127–128]) ~ *Niisuar*: карел. *niin* 'лыко, липа'. Ср. с указанным выше *Нисельга ~ Носовая гора.*

дер. на Медвежье наволоке словет на Конде наволоке: карел. *kondii,* вепс. *kondi* 'медведь'. Ср. *Медвежье* – оз. на р. Воньга, оно же *Кондо* [Стрельбицкий 1890].

оз. *Бол. Коньшупа* (карел. *kondii piä* 'медвежья голова') меж губой Кефтеньга и Ледмозером на п-ве Заонежье: *дер. на Кевтене губе... во дворе Васка* ***Медвежья Голова*** (1496 [ПКОП 1930]); ср. с о. *Концепа* в Унойских островах Онежского оз., в 1540: *в Уноских островех... Медвежий остров* [Мат. 1941]. К типологии названия: *Медвежья голова ~ Отепя* (см. выше), оз. *Кархупяярви* на западе Карелии (фин. *karhu* 'медведь', *pää* 'голова'), горы *Медвежьи Головы* на Белом море у дер. Юково, руч. *Медвежья Голова* басс. Вишеры [ГВНП 1949 № 91][9].

дер. на Мошнинском наволоке [ПКОП 1930: 93] у Лояницкого оз., *Мошничье ~ Metšuonieti* в [Сп. 1928]: кар. *metšuo* 'глухарь', диал. *мошник*. Ср. *Мошинская* в саамско-русских примерах.

Немецкий остров на Сямозере (1563), позднее *Руочинсари* 'Шведский остров' [Смирнов 1876].

починок в Ушгумегже (*Ушгумжи*) у Ведлозера [ПКОП 1930: 94] < **Uuši haumež* 'новая пожога, подсека', в 1926 *Новая Заживка* [Сп. 1928]. Ср. *Новинка* на Чирка-Кеми, у Клешнина *Усикюля*. Как *Усикюля* в [Клешнин 1728] обозначена и дер. *Новая* (*Новая Деревня* [Сп. 1908]) на оз. *Новое* басс. р. Кереть. Ср. ниже в Водской пятине *Новая Весь*.

деревня на Осинове в Хаб-наволоке (*Габнаволок* на Выгозере [Сп. 1905]): карел. *huabu* 'осина'.

Остречина – пр. Свири (*деревни на Остречине* известны с 1563 г. [ПКОП 1930]), *Остречины* – пос. в ее устье (с 1543 г. [Мат. 1941: 148]). Прионежским вепсам и людикам известны как *Ahnuzd'ogi, Ahnuz* (вепс. *ahn*, русск. *острец* 'окунь') [Nissilä 1967: 13; Муллонен 1994а: 130]. Также: оз. *Остречье ~ Ahvend'ärvi* басс. Кумсы (в [Клешнин 1728]: *Остераярви*, дер. *Остречья*); *Ахвенярви* – оз. близ Сортавала, в 1590–1631 гг. там названы *Ahvenjärvi* и *Ahvensaari* [История 1987: 278, 323, 561] (карел. *ahven* 'окунь', *järvi* 'озеро', *saari* 'остров'), но в 1564–1568 *волость Вострeча* [Самоквасов 1909], а в 1500 – *деревня Островъ на Остречине* [ПКВП 1852]. Ср. более позднее *Окуневоозеро ~ Ахвен-ярви* – дер. близ Костомукши [Сп. 1928].

---

[7] Кстати, этот пример А.И. Попов приводил как одно из доказательств существования в Водлозерье особого "чудского" (отличного от карельских и вепсских) диалекта (*а* вместо *е* в первом слоге). Позднее эта идея нашла подтверждение в исследованиях топонимии Русского Севера [Матвеев 1986; Кабинина 1997].

[8] А.И. Попов указывал этот пример для иллюстрации массовых переходов *kivi* > *kii* при русском освоении карельских и вепсских топонимов.

[9] Возможно устойчивое сочетание *Медвежья голова* когда-то было столь же терминологично, как и хорошо известные *Бараньи лбы, Железные ворота, Собачьи пролазы.*

Еконда – дер. на р. Важинка [Сп. 1905], люд. *D'eukond* [Nissilä 1967: 14]; в 1563: *дер. на Речном селе словет Егоконда* [ПКОП 1930: 101], карел. *jogi kondu* 'речной хутор'. Ср. иного происхождения *Екондярви* басс. Воломы (карел. *eukko* родит. пад. *eukon* 'старуха', *d'arvi* 'озеро').

Яичь-губа на Выгозере, современное *Мунагуба*: карел. *muna* 'яйцо'.

Чрезвычайно интересна совокупность однородных формулировок и записи: *деревня на Ивене в* ***лагте*** *словет на* ***каре****... деревня в* ***лахте ж*** *словет в Черной* ***каре****... деревня в* ***Губе ж*** *словет в* ***Каре*** [ПКОП 1930: 104, 108]. Видно, что в одних случаях узколокальный (из вепс. *kar* или людик. *kuar*) термин *кара* 'залив в реке или в озере'[10] калькируется исконно русским *губа*, в других – заимствованием *лахта*.

Водская пятина (примеры без указания источника даны по [ПКВП 1852]):

Коневы Воды (конец XIV в.) [Зализняк 1995, № 249], ныне оз. *Оривеси* в Финляндии.

в Баранове Вары (дер. Сошковской перевары Кирьяжского пог.) в 1571 [Самоквасов 1909], *Oinaan vaara* в 1590 [История 1987: 275]: *oinas*, род. пад. *oina(h)an* 'баран'. Интересно, что здесь не переведен, а воспроизведен детерминант *vaara* 'гора'. Ср. с более поздним *Баранова Гора ~ Bokon voara* (карел. *bokka* 'баран') на Елгомозере (р. Волома) [Сп. 1928].

Воронова лахта у Ладожского озера Кирьяжского погоста, ныне *Корпилахти: korppi* 'ворон'.

деревня Долгой берег у Ладожского озера (1500 г.), с 1590 – *Pitkäranta* [История 1987: 279].

дер. Вагвиярва на Крепком озере... Вагвоярва на Вагве озере, ныне *Вахваярви* басс. Янисйоки: *vahva* 'крепкий, прочный, надежный'. Семантика необычна для гидронима, поэтому можно подозревать переосмысление дофинского названия.

деревня в Глини Кирьяжской перевары (1571) [Самоквасов 1909] ~ *Saviinkylä* (1618) [История 1987: 303]: *savi* 'глина', *kylä* 'деревня'.

Заечье озеро (1500 г.), ныне *Янисъярви: jänis* 'заяц'.

Заозерный – пос. к западу от Сортавала на р. Варанйоки, в 1500 г. – р., дер. *Арендега, Арендяга* < **Järventaga* 'Заозерье'. Только наличие позднего русского варианта помогло расшифровать сильно искаженное исходное название.

Залесье: Такуи в Залесье (1500 г.), *в Такой в деревне в Залесье, Такуи Залесье* (1571) [Самоквасов 1909] – ныне *Залесье* Ленинградской обл.: *taga-* 'задний; сзади'. Вряд ли в "финской" части сложного русского именования деревни было потеряно *metsä* 'лес' или *salo* 'бор'. Скорее мы имеем дело с редким вариантом топонима **Taguine* 'объект, находящийся сзади ч.-л.'.

Купетцкий берег (1500), *Купецкий берег* (1571) [Самоквасов 1909] ~ *Kaupianranta* (*kauppa* 'торговля', *ranta* 'берег') близ Хиитола (1618, 1631) [История 1987: 289, 408]. Ср. *Купецкое* в саамско-русских примерах.

Новая Весь на реце Улеляги (1500) ~ *Uusikylä* 'Новая деревня' (1618) [История 1987] близ Вяртсиля Сердовольского погоста. *Новая Весь на Лахте Святьского озера* (1500), ныне *Уусикюля* к ЮЗ от *Лахденпохья*. *Новая Весь на Ладожском озере* (в заливе Уксунлахти) в 1568 ~ *Uusi kylä*, *Nowaia wes derefna* в 1590 [История 1987: 174, 282], в 1792 *Узсикиле* [Атлас 1792], в атласе 1954 г. *Усикюля*.

Поля (дер. *на Полях на Манецком острову* в 1500) – волость *Пелдоши* (1568) – *Mantsinpelto, Peltoinen* (1590–1631) [История 1987: 173, 282, 381, 542] – *Пелдожи* [Озерецк. 1812] – ныне *Пелтойнен* (фин. *pelto*, карел. *peldo* 'поле').

Попов берег (1500 г.) ~ *Pappilan ranta* на Риекколансари (1618) [История 1987].

---

[10] Русское *кара*, как древнее заимствование, не отмечено ни в [Kalima 1919], ни в [Шмелев 1961].

Пригорье (*Prigorie*) ~ *Mäkipää* Соломенского погоста (1590) [История 1987: 282], ср. в 1568: *волость в Тамчиле на* ***пригоре****... Керетайбола на* ***пригоре*** [История 1987: 172] (*mäki* 'гора, холм', *pää* 'голова, конец').

Равдолакша на Железной лахте (*rauda* 'железо'); *Сиголакша на Свиной лахте* (*siga* 'свинья'). Эти примеры А.И. Попов сопроводил важным наблюдением: "здесь *лакша* есть русская передача карельского *lakši* 'залив', а *лахта* – слово, заимствованное из иного прибалт.-фин. языка (фин. *lahti*, эст. *laht* и др. [Kalima 1919: 151]), т.е. на иных территориях[11].

Пуярва (pühä järvi 'святое озеро') *над Святым озером* (1569) [Самоквасов 1909] Кирьяжского погоста. Ср. в Олонецкой пятине *деревня на Святе озере* [ПКОП 1930: 58] (*Святозеро* ~ *Pühärvi* [Сп. 1928]).

Хейнясенма – о. на западе Ладожского оз. (фин. *heinänen*, родит. пад. *heinäsen* 'сенной', *maa* 'земля'). Здесь находился Троицкий *Сенной* монастырь, известный с 1488 г., в XVI в. называвшийся *монастырь на Сенном... на Синное* [Охотина 1993]; в 1590 – *Heinsimä, Heinsimänsaari* [История 1987: 276].

на Язовом ручью (1564–68), *в Сявне ручьи* (1571) [Самоквасов 1909]: *säünä* 'язь".

Лопские погосты:

Летнее озеро басс. Выга названо так уже в 1597 г. [История 1987], но у Клешнина: *Кежаярви (kežä* 'лето').

Лосось озеро в 1591 г. [Мат. 1941], позднее *Логиозеро* басс. Софъянги [Сп. 1908]: *lohi* 'лосось'. Не исключено, что русское название являлось калькой не карельского, а исходного саамского (документ описывает межу Шуеречан и Керетчан с *лешими лопарями*).

Плотичье озеро в 1597 г. [История 1987], ныне – *Сяргозеро* басс. р. Гумарина (*särgi* 'плотва').

Машозерские волости (р. Тунгуда) *на мху* ***против*** *уской ламбицы от* ***Вашта*** [*вш*]*-мху* (1685) [Кар. XVII 1948: 294–295]; ср. карел. *vašta* 'против'.

Из примеров более поздней фиксации любопытны следующие:

Койкары [Сп. 1905; 1928], *Березовый Порог* ~ *Койвукары* [Сп. 1873]: *koivu kari* 'березовый порог'.

Верховье (пос.), р. *Верховска Алонец* в XVII в. [Кусов 1993, № 784] ~ *Üllöine* (р. Верхняя Олонка и пос. на ней): *üllöine* 'верховье'. Ср. *Низова* ~ *Alazagd'* "'нижний конец' на р. Шелтозерка [Сп. 1928].

Перевозная Варака ~ *Ehätüz voara* – дер. на Шуезере [Сп. 1928] (*ehätüz* 'перевозка, переправа').

---

[11] Действительно, и в писцовых книгах Водской (*деревня Новая Весь на* ***лахте*** *Святьского озера; деревня Рекала ж на другой стороне* ***лахты***) и Обонежской пятин (*у Ондрусова монастыря в* ***лахте****; ловят в* ***лахте*** *сетми и керегоды*), и в Двинских грамотах XV в. мы видим исключительно *лахта*, но не *лакша* (ср. современное *лакша* у русских в Карелии). Более того, похоже, что составители писцовых книг на карельские земли (или их местные русские информанты) не воспринимали – *лакши* 'залив' в составе топонимов, в качестве синонима хорошо им известного *лахта* (или *губа*). См.: *Кюлолакша над лахтой Кюлолашской... Гемелакша же в лахте* [ПКВП 1852]; *в Юголакши губе* [ПКОП 1930]. И это при том, что топонимы и производные от них, содержащие элемент *лакша*, присутствуют в русских документах уже в XIV в.: *Севилакшю... оттоле Сергилакши* (Ореховецкий договор 1323 г.), *у Валита в Кюлолакши* (берестяная грамота конца XIV – начала XV в.) [Зализняк 1995, № 130], *Кюлолашского и Кюрьеского погостов... севилакшане* (берестяная грамота конца XIV в.) [Зализняк 1995, № 248]. Следовательно, к моменту прихода на земли исторической Корелы (который датируется минимум XI веком) новгородцы уже твердо усвоили (вероятно от Поволховской Чуди) термин *лахта*.

Прохаженкова ~ Kulkimus – дер. на оз. *Прохоженское* на р. Топозерка басс. Олонки [Сп. 1928]: *kulkija* 'ходок, прохожий".

Ряпусозеро ~ Муехярви [Сп. 1928] – дер. на оз. *Ряпукс* к востоку от Тикшезера. Интересно, что карел. *mujeh* здесь калькировано русским *ряпуса*, *ряпукса* 'ряпушка'[12], которое само заимствовано из карельских диалектов (ср. карел. *rääpüs* родит. пад. *rääpüksen*).

Судак – р. басс. Сямозера, карел. *Kugha d'ogi*. Редкий случай номинатива в русском гидрониме.

II. КАРЕЛЬСКО (ВЕПССКО)-РУССКИЕ МЕТОНИМИЧЕСКИЕ КАЛЬКИ

Байнина – г. у Лексозера и дер. *Баенная Гора* [Сп. 1928]; рядом оз. *Кюлюн-Перталамни: külü* 'баня'.

Белая – р., в истоке которой находится бол. *Валкишуо* 'Белое болото'.

Долгое – оз. басс. Шуи, из которого течет руч. *Питкоя*; на р. *Долгая* басс. Лексозера есть оз. *Питька* (*pitkä* 'длинный').

Женское – оз. по соседству с *Найстенярви (naisten* 'женский') на Тарасйоки.

Заячья губа – зал. в устье р. *Яни* (*Яней ручей* [Озерецк. 1812]) на западе Онежского оз.: людик. *jänüöj*, вепс. *jäno* 'заяц'.

Ледяной – пор. на р. Суна близ впадения р. *Деяоя* (ливвик. *d'iä* 'лед').

Соколья гора у Ладожского озера Сердовольского погоста [ПКВП 1852] – рядом о. *Хауккасари (haukka* 'сокол').

Травяная река впадает в оз. Кереть у мыса *Рухнаволок (ruoho* 'трава, тростник').

III. КАРЕЛЬСКО-ВЕПССКИЕ МЕТОНИМИЧЕСКИЕ КАЛЬКИ

Салма – протока Свири, отсекающая от коренного берега остров; здесь же в Свирь впадает протока *Сума* из оз. Монастырского [Озерецк. 1812]: карел. *salmi*, вепс. *saum* 'пролив, проток'.

IV. СААМСКО-РУССКИЕ КАЛЬКИ

Большое Северное оз., в 1591 г. – *Верхнее Овриево* [Мат. 1941]: *ajawwer* 'обширное'.

Верховское – оз. в низовье р. Ковда, в 1658: *на Орлове на Верховском озере* [Мат. Кольск. 1930: 92–100]. Ср. *верховский* 'юго-западный' [Меркурьев 1979] и саам. *orjal* 'запад, северо-запад'. Этот пример, впрочем, нельзя считать надежным.

дер. в Медвежье наволоке (1571 [Самоквасов 1909]) ~ *Kopsala* (1590 [История 1987: 265]) в Кирьяжском погосте: *kŭöBD̄D̄ź^A* 'медведь'. Ср.: оз. *Купецкое* басс. Андомы, в [Сп. 1873] *Медведево* (здесь уживается калька **kŭöBD̄D̄ź^A* – ~ *Медведь* с позднейшим переосмыслением нерусского варианта названия через *купец*). Ср. *Купецкий берег* в карельско-русских примерах.

Орлов – м. на Белом море, в 1591 г. – *Кочкам наволок* [Мат. 1941: 319–327]: *kue^t'ʒ̄ ǯkem* 'орел'.

в Щучье озери словет в Човас-озери [ПКОП 1930] (басс. Лексы, пр. Выга); русский вариант подсказывает, что озеро исходно называлось **Чорвас-*, ср. саам. терск. *tšarva* 'щука'.

---

[12] Д.Н. Шмелев указывает формы *ряпукса* (впервые зафиксирована в 1563 г.), *ряпус* (1609), *ряпуга* (1637), *ряпушка* (1648) [Шмелев 1961]. В документе 1524 г. засвидетельствована форма *ряпуска* [ПКНЗ 1999, Т. 2: 3–7].

V. СААМСКО-РУССКИЕ МЕТОНИМИЧЕСКИЕ КАЛЬКИ

Бабье море (до 1571 г. [Акты 1988: 199]) – обособленная часть Белого моря. Часть прилегающего побережья называется *Акатьевская тундра (ak'k'^{E}* 'баба').

Воронье – оз. на р. Охта; в 500 м ниже расположено *Карнизозеро (karnes* 'ворон'). Интересно, что в 1591 г. оз. Воронье названо как *Корбалое* [Мат. 1941] (ср. карел. *korppi* 'ворон').

Большой Кукас – оз. на р. *Кукас* (пр. Инемы, пр. Олонки), близ оз. *Долгое (kugkes'* 'длинный').

Змеиные болота у р. *Михин* (пр. Заячки, пр. Нюхчи), ср. саам. (Аккала) *miehhe* 'змея'.

Золотец – пос. на р. Выг у бывш. пор. Золотец: *дер. у Золотча на* ***острову*** (1459–69 гг. [ГВНП 1949: 298]; *дер.* ***Остров*** *у Золотца у моря на реки на Выгу* (1582 г. [Неволин 1853]), ср. *suol* 'остров', *suoladz* 'объект у острова'.

Мошниковская [Сп. 1905; 1928] (*Мошнинска* [Клешнин 1728]) – дер. близ *Копполозера* на р. Шалица; ср. *мошник* 'глухарь' и саам. *kǒǫ̆ǎp̄peḷ* 'глухарка' (ср. с *Мошничье* в карельско-русских примерах).

Нерпозеро – залив Нотозера (1658 г. [Мат. Кольск. 1930: 92–100]) рядом с протокой *Тюлле: нерпа* 'тюлень Phoca barbata', *tul'l'a* 'гренландский тюлень'.

Росомаха – р. басс. Ковды, на которой расположено *Кешкозеро: kieϑke* (θ = англ. *th*) 'росомаха'. Более типичны для Карелии саамские "росомашьи" топонимы на *Кятк-* (из *keätka*).

Рысь – приток Койдодеги басс. Чирка–Кеми, на котором находится оз. *Арно*; ср. *arn'* 'дурной, злой (о собаке)' – иносказательное обозначение рыси.

Черные – о-ва у м. *Чапин (tšappes'* 'черный') на Белом море.

VI. СААМСКО-КАРЕЛЬСКИЕ КАЛЬКИ

Повесь, Повяшь ~ Анга – р., впадающая в Кондопожскую губу Онежского оз. [Суйсарь 1997] (оз. Нижнее на ней в 1563 г. названо как *Ангозеро* [ПКОП 1930]). В устье река имеет бифуркацию, ср. карел. *puvaš* 'меньший рукав реки' и саам. *aŋŋa* 'развилка (дерева, реки, дороги)'.

Боярское ~ Кандозеро [Каталог 1959] – верхнее оз. в системе р. Пулома басс. Энгозера. На нем дер. *Боярская*, фин. *Pajari* [Леннрот 1985]. Положение озера в речной системе позволяет думать об исходном саам. **Paij-jawre* 'Верхнее озеро' (подробнее о таких случаях: [Шилов 1993: 18]), калькированным карел. *kanda* 'оконечность, голова'.

Вуотсенъёки ~ Рамаёки [Каталог 1959] – р. басс. Янисйоки. Ср. саам. *vuätš* (> фин. *vuotso*) 'узкая болотная полоса' и карел. *räme* 'болото с низкорослым сосняком'.

Саам. **Vuolendz* (> *Олонец*) ~ карел. *Alavoine* 'Низовье' (подробно: [Шилов 1999а: 55–57]), см. и след.

Воленварака ~ Алавуара на р. Шомба [Сп. 1908]: карел. *ala-*, саам. *vuolle-* 'нижний'.

Елмоне (Юлма [Стрельбицкий 1890]) – протока между оз. Верх. Куйто и Алозеро ~ *река Ена* в 1591 г. [Мат. 1941] (в ее устье пос. *Энонсуу* 'Устье Ены'), ср. саам. *jeann* 'река, протока' и фин. *jolma*, карел. **jelma* 'протока, пролив'.

Гавдозеро ~ Шуриламби – оз. на р. Ремака басс. Лужмы. Карел. *šuuri* 'большой' позволяет видеть в варианте названия не карельское же *hauda* 'могила, яма', а саам. *guowde* 'широкий'.

В Чобалакше словет в Кечей губе [ПКОП 1930: 130] (северо-запад Онего): саам. *kieDt'še* 'оконечность', карел. *šoppi, tšuppu* 'угол'.

Логоварака – дер. и р. – верхнее течение *Волазреки*, впадающей в Топозеро. Ср. фин., карел. *lohi* 'лосось' и саам. *volas* родит пад. *vollaz* 'самец озерного лосося'. р. *Нела* – пр. Сумы, а на ней *Коросозеро* (1563 г. *Корос* [ПКОП 1930], 1601–09 г. *Карос* [Голубцов 1950], 1728 г. *Карас* [Клешнин 1728]); ср. карел. *nielu* и саам. *kars* родит. пад. *karrazi* 'горло, глотка'.

*

Приведенные свидетельства широкого распространения калек (в том числе метонимических) как на Русском Севере, так и в Карелии и на Кольском п-ве дают основание надеяться на возможность выявления калек с участием мертвых языков: не просто мертвых на данной территории (как саамские диалекты Заволочья [Матвеев 1986] или Вепсского Межозерья [Муллонен 1994а]), но языков, вовсе не сохранившихся, как, скажем, мерянский (см. примеры в начале статьи). Для Карелии и сопредельных территорий актуален поиск следов языка древней финской чуди. Так, автор видит саамско-карельско-чудскую[13] кальку в названии озера *Лубоярви ~ Вонгозеро ~ Салма* на р. Чеба басс. Суны (ср. чудск. **enga* 'речка, протока, пролив', саам. *luobbal* 'узкое озеро; озерное расширение реки' и карел. *salmi* 'пролив' [Шилов 1998б; 1999в]). Можно предположить, что саамско-чудской калькой является название озера *Аутьявр ~ Андомозеро* в басс. Поноя (в этом случае появляется надежда на расшифровку ряда "темных" названий Русского Севера с основой *Анд-*).

В подобном поиске не следует пренебрегать и выявлением потенциальных разноязычных антонимных и дополняющих друг друга пар типа "сухой-мокрый" (или "мелкий-глубокий"), "белый-черный", "песчаный-каменный", и т.п.[14]

Конечно же, исследователь не застрахован от ошибок (ложных интерпретаций). О том, что и среди приведенных нами примеров могут быть ошибочные, свидетельствует нижеследующее.

VIII. ЛОЖНЫЕ КАЛЬКИ, ОШИБКИ ИНТЕРПРЕТАТОРОВ И СПОРНЫЕ СЛУЧАИ

Метонимическую кальку А.И. Попов видел в записи *на Милой губе Лембитов остров* [ПКОП 1930], указывая имя *Лембит* ⟨карел. *лемби* 'милый', т.е. полагая связь имен личного и местного [Попов 1940]. Но в таком случае русское название огромного залива (ныне – *Уницкая губа*) оказывается производным от названия одного (не самого крупного, притом) из многочисленных островов *Мелой губы* (именно так она чаще, нежели *Милая*, именуется в документах). Думается, все же, что названия этих объектов независимы (см. и [Шилов 1999б]).

Э. Леннрот полагал, что *Княжая губа* есть перевод фин. *Ruhtinan lahti* [Леннрот 1985]. Но это, судя по всему, исконно русское название, о чем свидетельствуют летописи (под 1496 г.) и записи Симона Ван-Салингена (1568 г.), составленные на основе расспросов местных жителей "норвежцы и шведы… дали большое сражение при Княжей губе… где были жестоко разбиты русскими **князьями**, отчего эта губа и получила название *Княжей губы*" [Филиппов 1901].

И.И. Муллонен считает переводом с вепсского названия реки *Ивина*, восходящим к лексеме *ива*, оформленной гидроформантом *-ин* (ср. в Присвирье реки *Марина*, *Остре-*

---

[13] О чуди (говорившей на архаичном языке прибалтийско-финского типа) и ее языковых следах на Русском Севере см. [Шилов 1999а: 33–38; Шилов 1999в], где приведена и литература вопроса.

[14] Как пример результатов подобного поиска приведем пару названий соседних мысов Топозера: *Онши* (<чудск. **ontsa* 'лоб') и *Нячякка* (<саам. *n'uat'ske* 'затылок') [Шилов 1999а: 70].

чина, Важина). В пользу этого, по ее мнению, говорит то обстоятельство, что один из крупных притоков Ивины носит название *Пай* (вепс. *paju* 'ива') [Муллонен 1994а]. Но у людиков река называется *d'üven* [Nissilä 1967: 13] (а в старых документах чаще не *Ивина*, но *Ивена*, ср. и *Ивенское плесо* на р. Немина басс. Онего), что указывает на возможную исходную форму гидронима **Jüv-* (ср. *Ювалакша* на оз. Верх. Куйто, *Ювийоки* – пр. Суны, *Ювень* – о. на Ладожском оз., *Юванйоки* – пр. Янисйоки и прибалт.-фин. *jüvä* 'зерно', *hüvä* 'хороший'). *Пай* же может происходить из саам. *pajj-* 'верхний' (активно в топонимии). Река Пай впадает в Ивину в **верхнем** течении, причем – у с. *Ладва* (ср. с вепс. *ladv* 'вершина'), т.е. здесь мы можем видеть не вепсско-русскую (*Пай-Ивина*), а саамско-вепсскую (*Пай-Ладва*) кальку.

Метонимической калькой полагаются названия р. *Куржекса (Коржакса, Куржакса* [ПКОП 1930: 190]) и ее притока *Снежница* в басс. Самины (ср. вепс. *kur(o)* 'снеговая туча, снегопад') [Гусельникова 1999]. Но из *kuro* образование *Куржекса* (основа **kuržes-*) на прибалтийско-финской почве вряд ли возможно (*Снежницами* же обычно называют реки, имеющие постоянный водосток лишь в половодье). Скорее название происходит из саам. *kuorč, kurčA* 'овраг, ущелье', *kurtšes* 'овражистый', что отвечает характеру этой реки, большей частью текущей в теснинах.

В Карелии и прилегающих к ней с юга и юго-востока территориях встречаются названия с основой *Масл-* (чаще всего *Маслозеро*). Подчас они дублируются как *Войярви, Войярь* [ПФГЛ 1991: 68; Шилов 1993а: 16; Муллонен 1994а: 112; Кузнецов 1995: 47–48]. Обычно их считают русскими кальками карельских или вепсских названий (прибалт.-фин. *voi* 'масло') [Попов 1940]. Правда, в [ПФГЛ 1991] указывается, что топооснова *Вой-* (встречающаяся и вне связи с *Масл*-топонимами) может восходить к саам. *vuaije, vueije, (v)uoi* (прибалт.-фин. *oja*) 'ручей'. В результате народно-этимологической интерпретации могло произойти сближение этого топонимического элемента с *voi* 'масло' (с последующим переводом переосмысленного названия на русский). Мы тоже полагаем, что указанные пары возникли после переосмысления исходно иных топонимов, но считаем противоположной направленность калькирования. Во-первых, во всех примерах, имеющих раннюю фиксацию, вариант *Масл-* оказывается первичен по отношению к варианту *Вой-*. Так, волостка *Маслозеро* (басс. Охты) названа уже в 1553 г. [Акты 1988: 114], а вариант *Войярви* впервые зафиксирован на карте 1728 г. [Клешнин 1728]. Во-вторых, в ряде случаев мы имеем прямое указание на форму названия, что дала затем русское *Масл-*. Так, дер. *Масельская* в ЮВ от Сегозера в 1587 г. названа как *Маселга погост* [История 1987]; *Масельская Гора* на п-ве Заонежье: в 1563 г. *на Толвуе в наволоке словет Маселская* [ПКОП 1930], позднее *Масленска, Маслеска* [Витов, Власова 1974]. Наиболее нагляден пример пос. *Маслозеро* на одноименном озере (*Воиярви* [Клешнин 1728], *Voijärvi* [Kartta 1918]) в басс. Воломы: *волостка Маселга* (1597) [История 1987], *Маселская выставка* (1687) [Кар. XVII 1948: 308], затем *Маселозеро*, оз. *Масляное* [Каталог 1959]. Ясно теперь, что изначально наши названия (и "непеределанные", как оз. *Масельга* басс. Гридины, дер. *Масельга* к 3 от Сямозера, *Морская Масельга* у Выгозера (*Маселга* в 1553 г. [Мат. 1941: 189]), рр. *Машельга* и *Мошилгаоя* басс. Чирка-Кеми) происходили из карел. *moašelkä, moaselgä* родит. пад. *muasellän*, ливвик. *muaselgü*, вепс. **maselg* 'водораздел', дословно 'хребет земли'. Действительно, известные нам Маслозера находятся на крупных или локальных водоразделах, причем зачастую достоверно известно, что через эти озера проходили постоянные торговые или промысловые пути (ср. *Масленский путь* с Шексны в басс. Сухоны, известный с XV в.). Конечно, переход *Масельга-, Маселян-* в *Масл-* осуществлялся далеко не всегда (заметим, что в Обонежье в XIV–XVI вв. у русских существовало заимствование *масельга* 'хребет, водораздел', впоследствии утраченное [Шилов 1998а]). Отметим редкий случай "дословной" кальки: *Muašelg ~ Земляные Горы* (Тивдия) [ПФГЛ 1991: 60].

Сказанное позволяет полагать, что в подавляющем большинстве случаев в паре *Масл-/Voi-* более поздним является второй вариант. Впрочем, в отдельно взятых случаях нельзя исключить обратное, причем, опять-таки, мы в этих случаях сталкиваемся с топоосновами, маркирующими объекты на древних водно-волоковых путях. На сей раз изначальной (позднее переосмысленной через прибалт.-фин. *voi*) могла быть основа, производная от саам. *vuoijeD* 'ехать, путешествовать', *vuaijem* 'езда, путь' (а не *vuoi* 'ручей'). Подтверждение реальности такого рода названий мы видим в приведенном выше примере *Айнозеро* – оз. *Ездно*. Ср. и некалькированное название *Воезерка* близ Мошинского волока рядом с топонимами *Охтома* (древнефинский "путевой" термин [Шилов 1999в]) и *Лодейное болото*.

А.И. Попов полагал карельско-русской калькой название оз. *Косое* басс. Охты, в [Сп. 1873, 1908, 1928]: *Коссо-озеро, Коссозеро ~ Viikateh järvi, Викатэ-дярви* (карел. *viikateh* 'коса, инструмент для косьбы'). Но откуда взялось второе *с* в русском варианте? Русское *коса* (исходно или путем перевода присутствующее в топониме) вряд ли дало бы русское же название *Коссо-*. Скорее как раз карелы в русском названии усмотрели *коса* 'viikateh'. Исходным же могло быть саамское *Kuossa-jawr* 'Еловое озеро' или *Koss-jawr* 'Толстое озеро'[15], заимствованное русскими (и лишь в относительно недавнее время подвергшееся переосмыслению через *косой*).

Безглазая (с 1597 г. [История 1987]) – часть течения системы р. Гумарина. Такая семантика потамонима представляется абсолютно бессмысленной. Мы полагаем, что имело место следующее. Исходное саам. **Šillem-aidt-(jogk)* 'Река оленьих ловчих загонов' (ср. с пор. *Шильмяйто-коски* на р. Суна) было переосмыслено через карел. *šilmätöi* 'безглазый, одноглазый' с последующим "переводом" на русский.

См. также о сомнительных скандинавско-русских и скандинавско-карельских кальках на п-ве Заонежье [Шилов 1999б].

IX. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ

Сухое ~ Сугея (Сугие, Сугово, Сегуя). Эти названия относятся к одному и тому же поселению на Белом море в устье Кузреки (к востоку от р. Выг). По первому впечатлению они представляются саамско-русской калькой (саам. *tsueges'* 'мелкий', что в русской топонимии соответствует лексеме *сухой*) или переосмыслением по созвучию. Но дело в том, что история этого селения включает долгий (около двухсот лет) период запустения, что подразумевает нарушение преемственности в его именовании. Если в 1539 г. указано: *у моря Шижня река да Сухой Наволок да острова да* ***Сугея*** *да Рохново по обе стороны Выга реке… да* ***Сугеею*** *да Рохновым пожаловал* [Мат. 1941: 140], то в 1548 г. перечень деревень этого района содержит: *Шижня, Вирма, Сухой Наволок, Слободка* [Мат. 1941: 159], а *Сугея* уже не отмечена. В писцовой же книге 1563 г. прямо сказано: *да что было по Юрьеву письму Константиновича* (1496 г. – *А.Ш.*) *деревня на усть Выга в* ***Сегуе*** *пуста* [ПКОП 1930]. Нет этого селения и в писцовой книге 1582 г. [Неволин 1853]. Возрождается оно, видимо, не ранее конца XVIII в., уже под названием *Сухое*, что мотивируется осыханием прибрежной полосы в отлив, из-за чего лодки к деревне не могут подходить ближе чем на 2–3 версты [Максимов 1859]. Полагаем, что эта особенность местности вызвала к жизни и первоначальное саамское название, т.е. мы имеем дело не с калькой или переосмыслением, а с независимыми разновременными и разноязычными (но, при этом, семантически и фонетически близкими) названиями, обусловленными одним и тем же природным фактором.

---

[15] Ср. на Кольском п-ве ложную кальку *Kosso ~ Косая губа* [Керт 1995].

*

В заключение выскажем некоторые соображения, основанные на наблюдениях над северной топонимией. Логично искать метонимические кальки среди названий смежных объектов, различающихся своей географической сутью: река – озеро, болото – ручей, гора – озеро, населенный пункт – географический объект, мыс – остров, залив – река (впадающая в него), приток реки – порог на этой реке и т.п.

Гораздо более "опасными" (требующими предельной осторожности из-за большой вероятности ложной интерпретации) являются комбинации названий, принадлежащих смежным однотипным объектам: два (и более) озера, две реки, река и ее приток[16] и т.д. Достаточно оправданно искать метонимические кальки здесь в том случае, когда названия таких объектов содержат дополнительные уточняющие (точнее различающие, но, вместе с тем, связывающие их в одну систему) компоненты со значениями типа "верхний-средний-нижний", "большой-малый", "южный-северный" ("зимний-летний"). Немногочисленные имеющиеся надежные примеры показывают, что в подобных случаях мы чаще имеем дело не с истинными (точными) кальками, а с парами (или даже тройками) близких, но не идентичных по семантике названий, образующих своеобразную микросистему: см. выше: *Жердь-Вица-Сейбас* (основное значение прибалт.-фин. *seibas, seibaz* 'кол').

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Акты 1988 – Акты Соловецкого монастыря 1479–1571 гг. Л., 1988.

Акты 1990 – Акты Соловецкого монастыря 1472–1584 гг. Л., 1990.

АСЭИ 1964 – Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI в. Т. 3. М., 1964.

Атлас 1792 – Атласъ Россiиской Имперiи, состоящiй изъ 45 картъ, изданный в граде Святаго Петра 1792 года.

Витов М.В., Власова И.В. 1974 – География сельского расселения Западного Поморья в XVI–XVIII веках. М., 1974.

Возгрин В.Е., Шаскольский И.П., Шрадер Т.А. 1998 – Грамоты великого князя Василия III сборщикам дани в лопской земле // ВИД. Вып. XXVI. СПБ, 1998.

ГВНП 1949 – Грамоты Великого Новгорода и Пскова / Под ред. С.Н. Валка. М.–Л., 1949.

Глаголева А. 1929 – Топонимика Обонежья // Бюлл. ЛОИКФУН. Вып. 2. 1929.

Голубцов И.А. 1950 – Пути сообщения в бывших землях Новгорода Великого в XVI–XVII веках и отражение их на русской карте середины XVII в. // Вопросы географии. Сб. 20. 1950.

Грот Я.К. 1867 – О топографических названиях вообще // ЖМНП. 1867, ноябрь. Ч. 136. Отд. 2.

Гусельникова М.Л. 1999 – Об определении калек в топонимии Русского Севера // Русская диалектная этимология. Екатеринбург, 1999.

Зализняк А.А., 1995 – Древненовгородский диалект. М., 1995.

История 1987 – История Карелии XVI–XVII вв. в документах. Петрозаводск–Йоенсуу, 1987.

Йоалайд М. 1990 – Топонимы южновепсской территории в народном и официальном употреблении // Uralo-indogermanica. Балто-славянские языки и проблема урало-индоевропейских связей. Ч. 1. М., 1990.

Кабинина Н.В. 1997 – Топонимия дельты Северной Двины. Дисс... канд. филол. наук. Екатеринбург, 1997.

---

[16] Как показывает практика, чаще кальками оказываются названия разных участков течения одной и той же реки. Названия реки и ее притока могут быть семантически идентичны, лишь когда этот последний равновелик с верхним течением реки (то есть когда различные в языковом отношении группы населения по-разному судят: какой из истоков является частью главной реки).

Кар. XVII 1948 – Карелия в XVII веке (сборн. документов). Сост. Р.Б. Мюллер. Петрозаводск, 1948.
Карамзин Н.М. 1991–1998. – История государства Российского. М. Т. 2–3, 1991; Т. 6, 1998.
Каталог 1959 – *С.В. Григорьев, Г.Л. Грицевская.* Каталог озер Карелии. М; Л., 1959.
КБЧ 1950 – Книга Большому Чертежу. М.; Л., 1950.
Керт Г.М. 1995 – Адаптация саамской топонимии Кольского полуострова русским языком // Ономастика Карелии. Петрозаводск, 1995.
Клешнин 1728 – Ландкарта Олонецкого уезда, составленная Акимом Клешниным в 1728 г. // В.В. Пименов, Е.М. Эпштейн. Русские исследователи Карелии (XVIII век). Петрозаводск, 1958.
Кузнецов А.В. 1995 – Названия Вологодских озер. Вологда, 1995.
Кузнецов А.В. 1999 – Топонимы Помостья // Чагода (историко-краеведческий альманах). Вологда, 1999.
Кусов В.С. 1993 – Чертежи земли Русской. М., 1993.
Леннрот 1985 – Путешествия Элиаса Лённрота. Петрозаводск, 1985.
Максимов С.В. 1859 – Год на Севере. СПб, 1859.
Мамонтова Н.Н. 1994 – Топонимия Олонецкого края // Древний Олонец. Петрозаводск, 1994.
Мамонтова Н.Н., Муллонен И.И. 1992 – Топонимия и национальные проблемы в Карелии // Топонимия и межнациональные отношения. М., 1992.
Мат. 1941 – Материалы по истории Карелии XII–XVI в. Петрозаводск, 1941.
Мат. Кольск. 1930 – Сборник материалов по истории Кольского полуострова в XVI–XVII вв. // Материалы комиссии экспедиционных исследований. Вып. 28. Серия северная. Л., 1930.
Матвеев А.К. 1970 – К вопросу об отражении перехода $^{*}\check{s} > h$ в субстратной топонимике Русского Севера // Congresus Tertius Internationalis Fenno-Ugristarum. P. 1. Acta Linguistica. Tallinn, 1970.
Матвеев А.К. 1986 – Методы топонимических исследований. Свердловск, 1986.
Матвеев А.К. 1995 – Апеллятивные заимствования и стратификация субстратных топонимов // ВЯ. 1995. № 2.
Матвеев А.К. 1996 – Субстратная топонимия Русского Севера и мерянская проблема // ВЯ. 1996. № 1.
Матвеев А.К. 1998 – Мерянская топонимия на русском Севере – фантом или феномен? // ВЯ. 1998. № 5.
Меркурьев И.С. 1979 – Живая речь кольских поморов. Мурманск, 1979.
Муллонен И.И. 1994а – Очерки вепсской топонимии. СПб, 1994.
Муллонен И.И. 1994б – О переводе в топонимии // Материалы для изучения сельских поселений России. Ч. 1. Язык. Культура. М., 1994.
Муллонен И.И. 1995 – "Святые" гидронимы в контексте вепсско-русского контактирования // Ономастика Карелии. Петрозаводск, 1995.
Неволин К.А. 1853 – О пятинах и погостах новгородских в XVI веке // Зап. РГО. 1853. Кн. VIII.
НПЛ 2000 – Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М., 2000.
Озерецк. 1812 – Путешествие академика Н. Озерецковского по озерам Ладожскому, Онежскому и вокруг Ильменя. СПб, 1812.
Охотина Н.А. 1993 – "Сказание о Валаамском монастыре" – неизвестное сочинение второй половины XVI в. // ТОДЛ. 47. СПб, 1993.
ПКВП 1852 – Переписная окладная книга по Новугороду Вотской пятины 7008 года // Временник МОИДР. Кн. 12, 1852.
ПКНЗ 1999 – Писцовые книги Новгородской земли. М., 1999.
ПКОП 1930 – Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563 гг. Л., 1930.
Попов А.И. 1940 – Непочатый источник истории Карелии // Родные сердцу имена. Петрозаводск (издано в 1993).
Попов А.И. 1965 – Географические названия: Введение в топонимику. М.; Л., 1965.

Попов А.И. 1981 – Следы времен минувших. Л., 1981.
ПСРЛ б.г. – Полное собрание русских летописей. М., б. г.
ПФГЛ 1991 – *Н.Н. Мамонтова, И.И. Муллонен.* Прибалтийско-финская географическая лексика Карелии. Петрозаводск, 1991.
Риппас П.Б. 1899 – Кольская экспедиция 1898 года // Изв. ИРГО. 1899. Т. 35. Вып. 3.
Самоквасов Д.Я. 1909 – Архивный материал. Новооткрытые документы поместно-вотчинных учреждений Московского царства. Т. 2. М., 1905–1909.
Смирнов М. 1876 – Руочин саари – Шведский остров на озере Сямозере // Олонецкий сборник. Вып. 1. Отд. 2. Петрозаводск, 1875–76.
Сп. 1873 – Списки населенных мест Российской Империи (по сведениям 1873 года). XXVII. Олонецкая губерния. СПб, 1879.
Сп. 1905 – Список населенных мест Олонецкой губернии по сведениям за 1905 год. Петрозаводск, 1907.
Сп. 1908 – Список населенных мест в Архангельской Карелии // Архангельская Карелия. Изд. Арх. губ. стат. комитета. 1908 (приложение 2).
Сп. 1928 – Список населенных мест Карельской АССР (по материалам переписи 1926 г.). Петрозаводск, 1928.
Стрельбицкий А. 1890 – Специальная карта Европейской России 10 верст в дюйме / Под ред. А. Стрельбицкого. 1890.
Суйсарь 1997 – Село Суйсарь: история, быт, культура. Петрозаводск, 1997.
Филипов А.М. 1901 – Русские в Лапландии в XVI веке // Литературный вестник. Т. 1, Кн. 3. СПб., 1901.
Шилов А.Л. 1993 – По Суне плыли наши челны. М., 1993.
Шилов А.Л. 1998а – Заимствованные русские термины с "путевой" семантикой // Проблемы русской лексикологии и лексикографии. Вологда, 1998.
Шилов А.Л. 1998б – Топонимия Карелии в аспекте проблем топонимии Русского Севера: к происхождению гидроформанта – *ен(ь)га* // ВЯ. 1998. № 3.
Шилов А.Л. 1999а – Заметки по исторической топонимике Русского Севера. М., 1999.
Шилов А.Л. 1999б – Есть ли скандинавская топонимия в Карелии? (о топонимических свидетельствах в решении этноисторических проблем) // ВЯ. 1999. № 3.
Шилов А.Л. 1999в – К стратификации дорусской топонимии Карелии // ВЯ. 1999. № 6.
Шмелев Д.М. 1961 – Заимствования из прибалтийско-финских языков в старорусских памятниках // Вопросы славянского языкознания. Вып. 5. М., 1961.
Itkonen T.I. 1958 – Koltan- ja Kuolanlapin sanakirja. Osa 1,2. Helsinki, 1958.
Kalima J. 1919 – Die ostseefinnischen Lehnwörter im Russischen. Helsinki, 1919.
Kartta 1918 – Onni Lonnroth. Ita-Karjala ja Kuollanlapin kartta. Laatinut vuonna 1918.
Nissilä V. 1967 – Die Dorfnamen des alten lüdischen Gebiets. Helsinki, 1967.

№ 1 2001

© 2001 г. Г.И. БЕРЕСТНЕВ

САМОСОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ В АСПЕКТЕ ЯЗЫКА

0. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

В ряде наиболее важных проблем современной науки о человеке особое место занимает проблема его самосознания. Сегодня мы со всей остротой осознаем тот факт, что достигли необычайных высот в освоении внешнего мира, но остаемся совершенно беспомощными перед Космосом внутри нас, что внутренний мир зачастую оказывается для нас несравненно более значимым, чем мир внешний, что события общественной жизни – это лишь отблески и продолжения процессов, протекающих в глубинах нашего "Я". "Мы уважаем путешественника, исследователя, покорителя вершин, космонавта, – отмечал известный шотландский исследователь человеческой психики Р.Д. Лэнг (R. D. Laing). – Для меня же гораздо больший смысл имеет в качестве актуального проекта – на самом деле настоятельно необходимого нашему времени проекта – исследование внутреннего пространства и времени сознания. Вероятно, это одна из немногих вещей, все еще имеющих смысл в нашем историческом контексте" [Лэнг 1995: 306].

Главный вопрос, возникающий в этой связи, ставится следующим образом: каковы реальные содержательные основания человеческого "Я"?

Спектр возможных внутренних сторон личности, которые могут претендовать на их роль, весьма широк. Это могут быть отдельные процессы в психике человека, его ощущения, воображение, эмоции, мышление. Это также может быть в целом бессознательное образование психики, спонтанно возникающее как интегральное выражение этих психических функций. Основу самосознания может составлять и такое начало, которое объединяет только непосредственно осознаваемые человеком душевные процессы. Наконец, в основе сознания "Я" может оказаться такая глубинная инстанция в структуре его души, которая, с одной стороны, составляет ее центр и исток, а с другой – находится вне познавательных и психических процессов, занимая позицию "стороннего наблюдателя" [Спиркин 1972: 131–132].

Как бы там ни было, не вызывает сомнения главное: "Я" человека – это уходящее в глубины психики "ядро личности", организующее собой всю его внешнюю деятельность [Кон 1981; Маковский 2000].

Постижение своей глубинной сути – проблема, важная для каждого отдельного человека. Ее разрешение способно кардинальным образом изменить его личность и всю его жизнь. Именно на этом пути человек открывает в себе свою индивидуальную и социальную определенность, обретает новые, по-настоящему незыблемые ценности и исцеляется от многих заблуждений, которыми до того времени он руководствовался в своей жизни. И узнавая свои глубины, человек возвращается к своим первоосновам, открывает для себя истинный смысл своего бытия и бытия мира, в котором он живет.

Постижение человеком сути своего "Я" значимо и в ином – социальном – плане, поскольку оно способно преобразовать жизнь человеческого сообщества в целом. Вся история XX века с ее войнами и социальными потрясениями свидетельствует о несостоятельности усилий, направленных на внешние изменения общественного бытия.

Мы все лучше понимаем, что лишь путем внутреннего познания и внутренних усилий, а не путем внешнего насилия можно достичь действительного преобразования мира. "Слишком многие еще ищут вовне; одни верят в обман победы и победоносную власть, другие верят в договоры и законы, а третьи – в разрушение существующего порядка. Еще слишком мало тех, кто ищет внутри, в своей самости, и еще слишком мало тех, кто задает себе вопрос, не полезнее ли было в конце концов для общества, если бы каждый сначала у себя самого, исключительно на своей собственной личности и в своем собственном внутреннем государстве подверг испытанию и то устранение прежнего порядка, и те законы, и те победы, которые он проповедует на каждом углу, – вместо того, чтобы требовать этого от окружающих" [Юнг 1994: 29]. Сегодня, в преддверии XXI столетия, эти слова К.Г. Юнга, сказанные им более семидесяти лет назад, звучат как никогда актуально.

Чрезвычайно перспективным видится рассмотрение этой проблемы современной наукой о языке. С одной стороны, именно язык представляет собой источник неоценимых сведений, на основе которых может быть определена структура самосознания его носителей и семантика отдельных его структурных составляющих. Как писал У. Чейф, "язык – до сих пор лучшее окно в знание, ведь мы все время используем язык, чтобы выразить его ... Язык к тому же наблюдаем, поддается анализу, и нам хочется думать, что он предлагает неплохую возможность анализировать и знание" [Chafe 1987: 109]. С другой стороны, наблюдавшееся в течение нескольких последних десятилетий сближение лингвистики с другими гуманитарными дисциплинами (философией, теорией познания, психологией, психиатрией, культурной антропологией и т.д.) привело к формированию новой синтетической научной дисциплины – когнитивной науки [Степанов, Проскурин 1993; Кубрякова 1994а; 1994б; 1995, Демьянков 1995; Фрумкина 1985], и именно лингвистика в рамках когнитивизма, воспринявшая от этих дисциплин новые для нее категории и методы, вооружила себя необходимым инструментарием для постижения глубинной сути имеющейся у человека мысли о самом себе – о своем "Я".

Ближайший объект рассмотрения при реконструкции структуры и семантики самосознания носителей конкретного языка составляют личные и возвратное местоимения, составляющие собой непосредственное средство языкового означивания "Я" говорящего субъекта. При этом личные местоимения первого лица единственного и множественного числа имеют исключительно жесткие функциональные рамки: кроме обозначения говорящим себя самого (отдельно от других, в единстве с участниками коммуникации или в единстве с некоторыми третьими лицами). Эти слова ни в каких иных обстоятельствах не употребляются, что затрудняет реконструкцию их глубинного содержательного и функционального наполнения и соответственно способ видения в этих условиях говорящим себя.

Гораздо более свободно в этом плане возвратное местоимение. Прежде всего, оно уже само по себе может быть принято в качестве основания для типологических обобщений относительно видения носителями соответствующего языка своего "Я": существует большое число языков, в которых собственно возвратное местоимение отсутствует и его роль выполняют знаменательные существительные с показательными значениями ‘тело’, ‘голова’, ‘лицо‘, ‘глаз’, ‘душа’, ‘особа’ и т.п. Таковы, например, груз. *tviton* ‘тело’, япон. *zi-sin* ‘наше тело’, индонезийск. *diri* ‘тело’, вьетнам. *minh* ‘тело’, араб. *nafsun* ‘душа’, *aynun* ‘глаз’, хауса *kai* ‘голова’ [Храковский 1978: 55; 1981: 15; Moravcsik 1972: 272; König 1997: 10]. Кроме того, даже при наличии возвратного местоимения, его функционирование в тех или иных языках может различаться, что также позволяет делать выводы относительно образа "Я", который видится говорящему при его употреблении (ср. рус. *вернуться к себе* ‘вернуться в свое жилище или рабочее помещение’ и невозможность этой модели, скажем, для английского языка).

Русское возвратное местоимение *себя* обладает важными дополнительными свойствами, которые повышают его ценность как источника при реконструкции системы

представлений о "Я" у носителей русского языка. Прежде всего, оно является исключительно древним, причем его современная функция в общем незначительно отличается от той функции, которую оно выполняло первоначально. Установлено, что оно восходит еще к древнеиндоевропейскому местоимению *s- (или *s°-), которое служило средством выражения субъектного десигната в структуре предложения и соответственно в рамках ситуации, известной адресанту и адресату сообщения. Знаковую природу, а также способность репрезентировать в языке версионные отношения сохранили и "продолжения" этого местоимения в конкретных индоевропейских языках – ср.: др.-инд. *sva-* 'свой', *svayam* 'сам'; авест. *x°a-* 'свой', лат. *se, sui, sibi*; греч. ἑ, οὗ, οἷ ст.-сл. **свои** [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 336 со ссылкой на: Delbrück 1893–1900, III; 477 и след., 497].

Кроме того, рус. *себя* входит в чрезвычайно широкое и разнообразное в содержательном плане словообразовательно-этимологическое гнездо более поздней индоевропейской основы *sue-/*suo-, ⟨*š°e-/*ś°o-, что уже само по себе говорит о напряженности словообразовательных процессов, в которые оно вовлечено. Эти процессы отчетливо обнаруживают себя в славянских и собственно в русском языке. Помимо слов *себя, свой* и *свобода*, которые в настоящее время не осознаются как родственные, в одном этимологическом гнезде с местоимением *себя* находятся такие лексемы, как *собь* 'все свое, имущество, пожитки, богатство', *со́бить* 'копить, собирать', *собина* 'приданое', *собник* 'владетель', *собность, собственность* 'именье и всякая вещь как личное достоянье чье' [Даль IV: 253] и *особенный* 'отдельный, опричный, невместный, не общий', а также 'отличный от прочих', *особь* 'всякое отдельное существо или растение' [Даль II: 701]. Наличие подобного ряда очевидно родственных слов с достаточно разнообразной семантикой благоприятно в том плане, что позволяет выделить общее содержательное начало, которое все эти слова объединяет, – в данном случае семантический инвариант корня *себ-/ соб-*. Говоря более определенно, рассмотрение семантики всего комплекса слов, родственных местоимению *себя*, делает возможным постижение его глубинного семантического и функционального потенциала во всей его полноте, а таким путем – постижение глубинных оснований стоящего за этим местоимением представления о "Я" у носителей русского языка.

Что касается основного метода такого исследования, то он не нов. Как таковой он был применен впервые в приложении к фонологическому уровню языка Р.О. Якобсоном, Г. Фантом и М. Халле, которые предложили использовать для описания единиц фонологического уровня универсальную систему организованных в оппозиции акустических и артикуляционных признаков – таких, как *гласный : согласный, глухой : звонкий, долгий: краткий, мягкий : твердый, носовой : ротовой, огубленный : неогубленный, придыхательный : непридыхательный, смычный : фрикативный* и т.д. Всего таких пар было определено двенадцать [Якобсон, Фант, Халле 1962]. И по сути дела в этих условиях был открыт принцип не только метаописания отдельных единиц языка по их внутренним компонентам, но и их у з н а в а н и я.

Сложившийся метод получил дальнейшее развитие в конце пятидесятых – шестидесятые годы в активно разрабатываемой в это время теории компонентного состава лексических значений. В рамках этой теории значение слова представляется как пучок семантических признаков, принадлежащих познавательным структурам человеческого ума и, таким образом, независимых от содержательного уровня языка. Это обстоятельство позволяет использовать семантические признаки в качестве средства метаописания значений слов. При этом установление конкретных их композиций раскрывает содержательный объем соответствующих концептуальных величин и тем самым определяет их в смысловом континууме, д е л а е т у з н а в а е м ы м и в ряду других концептов.

На этой основе далее был разработан особый метод с е м а н т и ч е с к о й р е к о н с т р у к ц и и – воссоздания утраченных концептов по отдельным содержательным признакам, которые соответствующая лексема обнаруживает во множестве

контекстов[1]. При этом сама представленность реконструированного концепта как совокупности признаков имеет принципиальный характер: это наиболее простой, а иногда и единственный способ его выражения.

Метод реконструкции обозначенных в языке содержаний по их структурным компонентам был поднят Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Ивановым на еще более высокий уровень. В своем фундаментальном исследовании Гамкрелидзе и Иванов [Гамкрелидзе, Иванов 1984] они применили его к предельно масштабной содержательной сущности – языковой картине мира. Воссоздав по отдельным аспектам систему представлений о действительности, обозначившихся в индоевропейском праязыке, они определили ее соответствие известным археологическим культурам, а также историко-географической действительности и таким путем установили наиболее вероятную первоначальную область расселения индоевропейцев, т.е. их прародину [Гамкрелидзе, Иванов 1984: xcvi].

Таким образом, метод определения строя и содержания самосознания носителей русского языка, как оно открывается употреблением возвратного местоимения *себя*, состоит в "собирании" в единый комплекс тех референтных зон, на которые местоимение *себя* вообще способно указывать в тех или иных речевых условиях. По сути дела в этих условиях речь идет о типологии референтных зон, индексируемых возвратным местоимением *себя* в русском языке.

Цель данной работы – определить, каким референтным содержанием наполнено возвратное местоимение *себя* в русском языке и таким путем установить содержательный фрагмент представления о "Я" в русской языковой ментальности.

1. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О "Я" В КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ И В СОВРЕМЕННЫХ НАУКАХ О ЧЕЛОВЕКЕ

Природа и структура самосознания – проблема, которую человечество поставило перед собой еще в глубокой древности. Если видеть в тех или иных изображениях человека его попытки объективации себя самого, то мы должны будем признать существование этой проблемы еще в эпоху палеолита (12–10 тыс. лет назад). Однако сформулированный характер она обрела лишь в развитых философских и миросозерцательных традициях, причем в разных системах строение и семантика отдельных структурных составляющих человеческого "Я" понимаются по-разному.

В большинстве традиций человек мыслит себя, свое "Я" двухчастным – в единстве тела и души. При этом приоритетной признается в первую очередь его телесная ипостась: именно тело составляет для человека самое первое и наиболее очевидное проявление отличия его от других, ближайшее основание идентификации себя как "Я" и в целом самое первое доказательство его бытия. Не случайно тело принимается за образец для внутренней репрезентации, с одной стороны, души человека (она видится внешне подобной телу), а с другой – всего материального мира, в котором человек живет. Как заметил В.Н. Топоров, "в настоящее время, кажется, можно с достаточной уверенностью говорить о том, что роль источника должна быть отведена человеку и его телу. Именно по этой модели мифологическое сознание первоначально строило описание Вселенной" [Топоров 1997: 473][2].

---

[1] Вообще семантическая реконструкция осуществляется на основе целого ряда приемов [Бенвенист 1974; Гамкрелидзе, Иванов 1984: xc – xci]. Однако все они так или иначе связаны с выявлением и анализом отдельных компонентов лексического значения.

[2] Эти представления обозначились в наиболее древних памятниках, где мироздание буквально отождествляется с частями тела некоего Первочеловека. Например, в раввинистской литературе Адам изображается как Первочеловек, тело которого наполняет собой мировое пространство [Топоров 1997: 472]. В древнеиндийской мифологии аналогичный Первочеловек – Пуруша, из частей которого возникают элементы всего сущего (как в космическом, так и в социальном планах): пространство и его элементы, сословия, боги, земля и небо, знания, воздух, стороны света и т.д. Ср.: *Из него возникают дыхание, мысль и*

Отмеченное представление о приоритетной телесности человека нашло и языковое выражение. Прежде всего в этом плане должно быть отмечено само название *человека* в различных языках. В частности, в группе индоевропейских языков исходным и широко распространенным было его название как "земного", "происходящего из земли", что и обнаруживает некогда имевшее место видение его как существа телесного, плотского, – ср.: лат. *homo*, гот. *guma*, др.-исл. *gumi*, др.-в.-нем. *gomo*, прусск. *smoy*, ст.-лит. *žmuo* с одним и тем же значением 'человек' при этимологически родственных им др.-перс. *zam-*, лат. *humus*, прусск. *same*, лит. *žeme*, русск. *земля* 'земля' и др. от индоевропейской основы *$d^{[h]}(e)g^{[h]}om$- 'земля' [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 475].

Как кажется, есть все основание говорить и об ориентированности на внешний, телесный аспект человека таких собственно славянских наименований, как русск. *человек*, бел. *человек*, др.-русс. **человѣкъ**, ст.-слав. **чловѣкъ**, болг. *чловек, човек, челяк, чиляк*, сербско-хорв. *чо́вјек, чо̏вјек*, словен. *člóvęk*, польск. *człowiek*, чеш. *člověk*, словац. *človek*, в.-луж. *człowjek*, н.-луж. *cłowjek*, полабск. *clúovak*, восходящих к прасл. **čelověkъ* или **čьlověkъ*. Как отметил В.Н. Топоров, первый компонент их праформы **čelověkъ* восходит в итоге к и.-е. **kel-* 'расти', 'возвышаться', 'подниматься' [Топоров 1987: 219]. Но это означает, что в акте номинации человека для носителей языка были актуальны во внеязыковой сфере признаки "высокий", "вертикальный" – т.е. чисто внешние, телесные его признаки.

Тезис о преимущественном видении человеком себя как телесного существа находит подтверждение и в таком ярком и уходящем в глубины языкового сознания свойстве языка, как с и с т е м н о с т ь а н т р о п о м о р ф н ы х м е т а ф о р. Суть этого явления заключается в следующем: осознавая себя как телом и "сканируя" возникающий в этой связи образ с целью определения в нем отдельных элементов и их именования, человек затем метафорически именует элементы окружающего его мира. Складывается ситуация, когда совокупность таких метафор повторяет имеющееся у носителя данного языка общее представление о самом себе.

Так, в русском языке практически с абсолютной точностью передают структуру верхней части тела человека (его головы и шеи) такие метафоры, как *л о х м а т ы й*, *к о с м а т ы й* или *л ы с ы й*, *г л а в а* горы, *г о л о в а сыра, сахарная*; *звезды п е р е м и г и в а ю т с я*, *м и г* – отрезок времени; *в е к о* 'подвижная складка кожи, прикрывающая глаз' и диал. 'крышка туеса или лукошка' (ср.: лит. *vókas* 'веко'; возможно, алб. *véttule* 'бровь' [Фасмер I: 286]); *г л а з о к* 'почка у картофелины'; *у х о* 'проем, за который подымают вещь, в который продевают что, проух, проушина' (ср.: *ушко иголки, уши колокола, котла*; отсюда же *ушат* – небольшая кадка с "ушами") [Даль IV, 525]; *н о с лодки или корабля*; по диалектам: *г р и б ы* и *г у б ы* – о группе низших растений Fungi или Mycetes, прямо именующие края рта у человека, *у с т ь е реки*; *щ е к а* вост.-сиб. 'крутой берег реки' [Даль IV: 652]; *с к у л а* (*судна*) 'боковая часть носа, выпуклость' [Даль IV: 213]; *б о р о д а* – растение Ласточник (Asclepias); 'рой пчел, когда они сидят ворохом на улье и не работают'; 'последний сноп на поле при жнивье, который не сжинается, а вяжется на корню и убирается цветами' (*завить бороду* 'окончить полевые работы, страду, жнитво') [Даль I: 116]; *ш е я*, *ш е й к а* 'вообще перехват, пережабина, горлышко, тонкое узкое место чего', откуда затем и *п е р е ш е е к* [Даль IV: 632]; *г о р л о в и н а* (ср. [Топоров 1997: 473]) и др.

Гораздо менее детально "выписано" туловище человека – ср.: *п л е ч о* (*рычага, весового коромысла*) 'каждый из концов по обе стороны опорной точки' [Даль III: 126];

все чувства, пространство, воздух, свет, вода и земля – носитель всего. Огонь – его голова, солнце и луна – его глаза, страны света – его уши, его язык – Веды, данные откровением, воздух – его дыхание, мир – его сердце. Из его ног [*возникла*] *земля, он поистине атман всех существ* (Мундака-упанишада II, 1, 3–4) [ДФ 1972: 240].

горный х р е б е т, становой х р е б е т (*чего-либо*); *п у п о в и н а* – метафора связующего начала чего-либо с его источником; *ч р е в о* (*морское*)[3].

И уже совсем единичны метафорические переосмысления рук и ног человека – ср. достаточно позднее образование *п а л е ц* (*в механизмах*); *н о г а, н о ж к а* 'постоянная подпорка, подставка, одна из стоек, на коей снаряд или утварь стоит', сев. *н о г а одреца, бесколой телеги* 'жердь, которая волочится, заменяя колесо' [Даль II: 551].

Вторым основанием мысли человека о себе в различных культурных традициях выступает его д у ш а. Обычно она представляется как особое существо внутри человека – его нематериальная копия, в точности повторяющая его физический облик. В принципе невидимая, она вместе с тем может обнаруживать себя в его тени, портретном изображении, отражении в воде или зеркале и т.д. Это может быть также своеобразный маленький человек, заставляющий действовать реальное лицо [Фрэзер 1983: 174–175], или зверек, насекомое, птица, готовая улететь (в связи с чем в определенных случаях производятся характерные ритуалы ее "приманивания" зерном). "Такое представление, – заметил Дж. Фрэзер, – вероятно, оставило следы в большинстве языков и продолжает сохраняться в качестве поэтической метафоры" [Фрэзер 1983: 177].

В других случаях под понятие д у ш и подводятся действительные субстанциональные основания. В этих случаях она может сближаться или даже отождествляться с кровью человека или животного (откуда происходит, в частности, запрет на употребление в пищу крови или необескровленного мяса в иудаизме, "*ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его*; *потому Я сказал сынам Израилевым*: *не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его*" (Лев. 17, 14))[4]. Таким

---

[3] Ср. у М. Цветаевой: "*Могла бы – взяла бы / В утробу пещеры...*", а в конце стихотворения обратное: "*Могла бы – взяла бы / В пещеру – утробы*" (Пещера). Эта метафора, как и вообще метафоры *лона*, *чрева* и т.д., исключительно глубока по своему основанию, которое, несомненно, имеет характер архетипа в духе К.Г. Юнга. Об этом говорит, в частности, тот факт, что во всех древних культурах *пещера* рассматривалась в связи с порождающим материнским лоном (ср. христианскую иконографию, где вифлеемский хлев изображается в виде скального грота и усыпальница Христа также представляет собой гробницу-пещеру, высеченную в скале). И наоборот, как свидетельствуют древние хронисты, женские органы (влагалище, матка) отождествлялись с пещерами [Бидерманн 1996: 206–207; Купер 1995: 245]. Поэтому *войти в пещеру* означало либо проникнуть во чрево Матери-Земли, либо вообще вернуться в материнское лоно, к своему предродовому, "добытийному" состоянию. Сами идеи рождения и смерти обнаруживают с этих позиций свою "симметричность": р о ж д е н и е может мыслиться как выход из замкнутого, внутреннего, "пещерного" пространства материнской утробы во внешнее, бесконечно развертывающееся, широкое вселенское пространство, а смерть и последующее п о г р е б е н и е – как попытка воссоздания обратной ситуации, как обновление исходного состояния, возвращающего человека в замкнутое пространство, аналогичное пространству материнской утробы, в котором человек пребывал до рождения [Топоров 1997: 475–477].

Показательно, что эти представления находят четкое соответствие в совсем недавно полученных данных относительно содержания *перинатальной* ("околородовой") памяти человека. В частности, внутриматочное, эмбриональное состояние вспоминается человеком как чувство укрытости, сокровенности и в высшей степени комфортного и гармоничного бытия (одно из сравнений, предложенных в этом плане, – покойное существование внутри усыпальной пирамиды). Начинающиеся роды делают далее актуальным образ родового канала как выхода из этого вместилища. Завершение же родов реально переживается как окончательный выход из внутреннего закрытого пространства в открытое внешнее (подробное об этом см.: [Гроф 1993; 1994а, 1994б]).

[4] Характерно, что в Новозаветной традиции, наоборот, строго предписывается употребление *крови* Христа, которая метафорически представляет "душу" христианства – его глубинную суть, в то время как Его плоть также метафорически знаменует внешнюю сторону христианского учения – его "букву" (но одновременно и церковь). На это указывается самым недвусмысленным образом – ср.: *И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив,*

же образом она может ассоциироваться с дыханием, точнее – с воздухом, который наполняет грудь человека или животного и которым наиболее явно обеспечивается его жизнедеятельность, – ср. родство в русском языке таких слов, как *дух*, *душа*, с одной стороны, и *воздух* и *дышать* – с другой или греч. ψυχη 'душа' и ψυχω 'дыхание'; др.-инд. *prana* 'дыхание, жизненное дуновение' и 'душа'; др.-исл. *andi* 'дыхание' и 'душа'; лат. *anima* 'душа' при др.-инд. *aniti* 'дышит'. Подобные же представления были отмечены у австралийских аборигенов и индейцев Калифорнии и Флориды, в Малайзии и на Яве [Тэйлор 1939: 267–268].

Во всех случаях такого рода уже не тело, а душа может служить для человека основанием для осмысления себя как "Я". Так, принципиальный характер это положение имеет в христианстве. В христианских источниках *душа* представляется как сфера эмоциональных переживаний личности (в контексте христианства это почти исключительно любовь), воплощающая собой его личностное начало. Потерять свою *душу* значит потерять самого себя, а сохранить ее – сохранить свое "Я" – ср.: ⟨...⟩ *Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого потерять или навредить себе*? (Лк 9. 24–25). Сознание "Я", таким образом, связывалось в христианстве исключительно с *душой* и содержательно определялось как христианская любовь[5].

Еще более отчетливое звучание идея тождества *души* человека и его "Я" обретает в тех случаях, когда в структуре "внутреннего человека" определялись несколько составляющих (несколько *душ*), у каждой из которых усматривалась своя особая функция. Лишь одна из таких душ признается осуществлением человеческого самосознания в его целостности и полноте. Так, в разных традициях шаманизма *главная душа* шамана – это абсолютное выражение его сознания и самосознания. Странствуя в своих видениях по "верхнему" и "нижнему" мирам и подвергаясь самым радикальным преобразованиям со стороны природных духов, шаман сохраняет свою персональность – т.е. продолжает мыслить себя как постоянное "Я", хотя для окружающих он утрачивает рассудок, теряет сознание или даже "умирает" на время[6]. У древних

преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть К р о в ь М о я Н о в о г о З а в е т а, за многих изливаемая во оставление грехов (Мф. 26: 27–28). Несколько менее явно об этом же в другом месте: *Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть плоти Сына человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня жить будет Мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли: ядущий хлеб сей жить будет вовек* (Ин. 6: 53–58).

[5] В Византийском христианстве это представление о "внутреннем человеке" подверглось дальнейшей проработке и в нем несколько сместились акценты. У греческих авторов, начиная с Оригена и Климента Александрийского, в центре "внутреннего человека" вновь полагается р а з у м, который правит в о л е й (θυμος) и ж е л а н и е м (ἐπιθυμια) – придает им нужное направление и заставляет служить добродетели. В западноевропейской христианской философской традиции "внутренний человек" представлен иначе. В его составе также определяются три части, но это *растительная, питательная душа* – жизнеобразующая, свойственная вообще всему живому, *чувствующая душа* – воспринимающая и стихийно направляющая восприятие посредством желания (она присуща уже животным и человеку), *разумная, мыслящая душа* – мыслящая часть, осознающая собственное бытие и восприятие, направляющая и организующая их и являющаяся исключительным атрибутом человека.

[6] Нганасанский шаман по имени Дюхаде, описывая свои видения, специально оговаривал

египтян сознание "Я" рассматривалось как функция *ка* – одной из семи "*душ*", по сути являющейся автономной персональностью [Budge 1967, IV: III и сл.].

Поисками оснований самосознания, внутренних уже по отношению к душе, были озадачены древнегреческие философы. Сама *душа* виделась ими как единство ряда "частей", или функциональных проявлений. Это и животное начало человека, обнаруживающее себя как его витальность, и инстинктивная сторона, тесно связанная с его витальностью, и совокупность ощущений, открытых человеку благодаря наличию у него пяти органов чувств, и эмоциональное начало, обнаруживающее себя в его страстях и переживаниях, и волевое начало. Эти начала по-разному представлялись в выдвигаемых системах, однако практически в каждом из них отмечалось начало рациональное. Именно в нем виделось то свойство *души*, которое, выступая дополнением к животной стороне человека, обнаруживает себя как характерный его атрибут – сознание[7].

Идея рациональных оснований *души*, а таким образом и рациональных оснований самосознания личности доминировала на протяжении нескольких столетий. Она развивалась в Византийском христианстве и в Западноевропейской христианской философии, в эпоху Возрождения, наиболее отчетливое и законченное выражение обретя в Новое время в философии Декарта. Одновременно с этим выдвигались теории, в которых основания человеческого сознания и самосознания определялись иначе. Так, у Ламетри это чувства, которые далее и обусловливают собой все аспекты мышления человека. Самосознание, по его мнению, обнаруживает себя как постижение человеком собственной чувственной сферы. *Чувствую, следовательно,* существую – так сказал бы о себе такой "чувствующий" человек. Иное видение проблемы абсолютных основ человеческого сознания и самосознания, тем не менее не выходящее за рамки существующей традиции, предложил А. Шопенгауэр, в философии которого обосновывается примат волевого начала над разумным. Именно *воля*, полностью подчиняющаяся себе рассудочное начало, составляет, по Шопенгауэру, истинную основу личности. *Воля* есть подлинная сущность человека, действительный человек, интеллект же есть просто ее орудие – эту мысль Шопенгауэр подчеркивает неоднократно [Шопенгауэр 1993: 292–293][8].

автономность и независимость своего "Я" относительно тела и даже рациональных сфер сознания. "Однако я вошел в средний чум, – рассказывал он, – и тут же сошел с ума, сознавая в то же время все происходившее вокруг. Это были люди преисподней, люди большой болезни (оспы). Вырезали они мое сердце и бросили вариться в котел" [Попов 1936: 84 и сл.].

[7] Так, например, Пифагор учил, что *душа* (psyche) включает три составляющие: ум (noys), рассудок (phrenes) и страсть (thymos). Часть *души*, представляющая страсть, помещается в сердце человека, а части, представляющие рассудок и ум – в его мозге. Отличительную черту человека составляет рассудок, являющий собой бессмертную часть его *души* ("разумное бессмертно, а остальное смертно" [Диоген Лаэртский 1979: 340]). Соответственно его "Я" в основе своей рассудочно. Также у Платона *душа* включает в себя три части: во-первых, разумную (logisticon), которая помещается в голове человека; во-вторых, страстную (thymoeides), которая помещается в сердце; и в-третьих, вожделительную (epithymeticon), находящуюся при пупе и печени [Диоген Лаэртский 1979: 169]. В современной терминологии, в структуре *души* человека Платон выделил доминирующее рациональное начало, а также подчиняющиеся ему сферы эмоций и инстинктов. Согласно Эпикуру, *душа* человека включает в себя две основные части: неразумную, которая рассеяна по всему его телу, и разумную, которая находится в его груди [Диоген Лаэртский 1979: 416]. Можно полагать, что речь в этом случае идет о двух функционально несходных принципах в структуре человеческой психики – инстинктивно-бессознательном, обеспечивающем собой жизнедеятельность любого организма, и осознанно-рационального, присущего только человеку и отличающего его от растений и животных. Иными словами, именно в разуме Эпикур видел исключительную особенность человеческого сознания, в рамках которого человек мыслит и свое "Я".

[8] Что касается содержания *воли*, то она оказывается связанной со страстями, обна-

Прорыв в решении проблемы самосознания был осуществлен во второй половине XIX века с выделением психологии в самостоятельную научную дисциплину, одну из основных задач которой составило определение глубинной природы самосознания человека. Стремление найти, с одной стороны, закономерные элементы в структуре "Я", а с другой – универсальные принципы и способы осмысления человеком себя как отдельной сущности довольно скоро дало свои результаты. Первым важным научным событием этого времени, было открытие принципа объективации, действующего при осмыслении человеком себя самого, – разделения в его сознании "Я-субъекта" и "Я-объекта". Осознание этого момента позволило определить и критерий истинности осознаваемого "Я". Истинным в этих обстоятельствах определяется "Я", которое мыслит себя как объект и при этом само осознает собственную субъектную позицию [Липпс 1910: 30–31].

Второе эпохальное событие, определившее собой характер психологической науки всего XX столетия, составило открытие бессознательного в структуре человеческой психики и на этой основе утверждение множественности человеческого "Я". Родоначальник этого учения З. Фрейд выдвинул удивительный по своей эвристической силе тезис о том, что осознанное "Я" человека восходит к его бессознательному, является его своеобразным продолжением. В этих обстоятельствах некоторая область "Я" (по мнению З. Фрейда, наиболее важная) обязательно остается неосознанной самим субъектом. «Часть "Я" (один Бог знает, какая важная часть!), – писал он, – может быть БСЗ (бессознательной. – *Г.Б.*) и, несомненно, и есть БСЗ» [Фрейд 1991: 356].

Из этого положения вытекает естественный вывод о комплексности "Я". В его составе З. Фрейд определил, прежде всего, бессознательную часть, противопоставленную осознанной части – эго-сознанию человека, возникающему на основе непосредственных впечатлений и восприятий. В составе бессознательной части человеческого "Я" З. Фрейд выделил, далее, две диаметрально противоположные и неравные части: с одной стороны, "Оно" – темное вместилище инстинктов и страстей, настоятельно требующих удовлетворения, с другой стороны, некое "Сверх-Я" – инстанцию, являющуюся носителем *идеала*, вмещающую в себя *совесть* и осуществляющую наблюдение за личностью [Фрейд 1989: 341]. При этом, заметил З. Фрейд, человек обычно идентифицирует себя как *эго*, временами (при нравственной оценке собственных поступков и мыслей) – как "Сверх-Я". Но никогда – на этом З. Фрейд настаивал особо – человек не идентифицирует себя как "Оно", которое, по его словам, принципиально чуждо осознанию, прячется от него, неопределимо на сознательном уровне и неизменно находится вне сознательного личностного контроля. Лишь в отдельных случаях "Оно" может самопроизвольно выходить на уровень сознания, тем самым делая "Я" человека выражением всего инстинктивного, всего самого низменного, что есть в нем.

Таким образом, З. Фрейд обосновал динамический характер человеческого "Я", показав его глубинный состав и изменчивость, что с точки зрения синхронии может быть определено как многомерность самосознания.

На еще более высокий уровень поднял эту теорию К.Г. Юнг. Двигаясь в том же направлении, что и З. Фрейд, и творчески развивая его идеи, он пришел к выводу о том, что "Я" человека – это сложный, иерархически выстроенный комплекс, включающий сознательные представления о себе (*Эго*), содержательные структуры личного бессознательного (Юнг определил их как *Тень* и *Персону*) и содержательные структуры бессознательного, имеющие всеобщий характер, – архетипы

руживает себя в страстях и по сути являет собой страстное желание чего-либо и возникающее на этой основе переживание. Эта позиция дает Шопенгауэру основание утверждать, что именно страстями объясняется природа человека и что именно желания составляют для конкретного лица ближайшее доказательство его бытия. Рациональная же деятельность только заслоняет собой волевое начало в человеке и запутывает его, скрывая от него истинные основы его "Я".

коллективного бессознательного (главные из них – *Анима* у мужчины или *Анимус* у женщины и *Самость*).

Особый интерес в этой системе представляет *Персона* – совокупность представлений, которые человек каким-либо образом связывает с собой, а затем мыслит как неотъемлемую часть собственного "Я"[9]. Эти представления имеют культурно-обусловленный характер, поскольку определяются исторически сложившейся в данном обществе ролями и функциями его членов. Некоторые из этих ролей и функций являются культурными универсалиями или приближаются к таковым. В этих случаях они могут быть приняты в качестве ярких показателей типа культуры – ср., например, общую неизменность ролей *матери, отца, жены, мужа, сына, дочери, мужчины* и *женщины*. Другие подобные содержания *Персоны* могут быть специфичными для ряда культурных традиций, определяя собой, таким образом, их типологические черты – ср. *отличающие звания* и *знаки отличия* вообще, *награды* и *титулы*, также обусловленные особенностями социальных взаимодействий и потребностей образы *врача* и *шамана*, *священника* и *жреца*, *общественного деятеля* и *вождя, учителя. адвоката, художника, ученого* и т.п.

Персона в структуре "Я" – иллюзорный по сути, но тем не менее в высшей степени важный его компонент, конкретные содержания которого часто лежат вне самого рефлексирующего субъекта. Когнитивную природу *Персоны* составляет отождествление человеком себя с теми или иными внешними обстоятельствами, благодаря чему они начинают рассматриваться данным человеком как объектные обоснования экзистенциальности его "Я". "Срывание маски" – произвольное или навязанное извне освобождение от отождествления себя с *Персоной* – может открыть субъекту истинные основания его "Я". Однако этот процесс оказывается исключительно болезненным: он переживается субъективно как разрушение личности, посягательство на целостность самосознания человека и вообще на его экзистенциальность. Ср. так называемый "синдром пустого гнезда" – состояние угнетенности, ущербности родительского "Я" после того, как дети покинули дом. Доминирующей в этом случае является идентификация человеком себя как родителя. Такую же природу имеет состояние внутренней опустошенности, переживаемое человеком при уходе на пенсию или при потере работы. В этом случае он отождествляет себя со своей работой или профессией.

Такое "расширенное" видение человеком себя является, судя по всему, не только нормальным, но и необходимым для его психической жизни. Типичные примеры в этом плане – самоотождествление многих мужчин с занимаемой ими должностью, со своим домом, машиной, семьёй, внешними атрибутами успешной карьеры, общественной деятельностью и т.д. Женщина обычно скромнее в своих притязаниях. Она в этих обстоятельствах ориентирует себя обычно на иные предметные сферы: для нее наибольшей репрезентативной силой обладают дети, семья и поддерживающие ее материальные средства, а также предметы, которые, по мнению женщины, делают ее красивой, т.е. дополнительно подтверждают ее "природное предназначение".

В вещах, рассматриваемых как собственность, человек находит наиболее подвижные "продолжения" себя и таким путем обретает объективные основания для утверждения в собственной бытийности, для обретения уверенности в том, что он действительно составляет часть бытия – что он есть. Все эти вещи не просто

---

[9] Сам этот термин происходит от латинского слова *persona* 'маска, личина (преим. театральная); театральная роль; житейская роль, функция'. Используя его, К.Г. Юнг хотел подчеркнуть неадекватность одного из уровней самосознания действительному положению дел, его условный характер. "Слово *персона*, – писал он, – и впрямь подходящее для этого выражение, ибо изначально persona – маска, которую носил актер и которая обозначала исполнявшуюся им роль" [Юнг 1994: 216].

наполняют жизнь человека. Они выступают по отношению к нему как жизненно необходимые, поскольку доказывают извне его бытие и придают ему чувство экзистенциальной уверенности.

Действие принципа объективации и отождествление человеком собственного "Я" с предметами, внеположенными ему, нашло характерное выражение на грамматическом уровне русского языка – в референтном содержании возвратного местоимения *себя*.

2. ВОЗВРАТНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ *СЕБЯ:* ВНЕШНИЕ РЕФЕРЕНТНЫЕ ЗОНЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ "Я" СУБЪЕКТА В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ

При рассмотрении функционирования возвратного местоимения *себя* в референтной сфере мы часто сталкиваемся с тем, что оно указывает не на самого субъекта, а на некоторый аспект действительности, связанный с ним, но тем не менее отличный от него.

Так, в сочетании *подумать о себе* местоимение *себя* в форме предложного падежа имеет общее функциональное значение рефлексивности – т.е. указывает на субъекта действия как такового. Однако в сочетании *оглядеть себя* со значением 'проследить свой внешний, телесный облик' оно указывает на субъекта в его т е л е с н о й ипостаси (еще более отчетлива эта его семантика в развернутой формуле *оглядеть себя с ног до головы*); в сочетании *следить за собой* речь идет, главным образом, о содержании субъектом в порядке своей одежды, и местоимение *себя* указывает на его о д е ж д у; в сочетании *владеть собой* местоимение *себя* указывает на э м о ц и и и ж е л а н и я субъекта, а в сочетании *пригласить к себе* – на некое п р о с т р а н с т в о, связанное с ним (чаще всего это его ж и л и щ е).

Подобная размытость референтного содержания возвратного местоимения *себя* в русском языке составляет широкое продолжение тенденции, которая наблюдается в межъязыковом плане. Во многих языках возвратные местоимения как таковые отсутствуют и их функцию выполняют служебные слова, этимологически восходящие к существительным со значением человека, его тела или наиболее важных реальных или идеальных органов (головы, лица, глаза, души и т.д.) [Храковский 1981: 15]. Обстоятельства такого рода показывают, что свою функцию рефлексивы вообще осуществляют не в отношении некой "точки" в референтной сфере, а в отношении "области".

Одновременно с этим отсутствуют прямые функционально-семантические параллели между рефлексивными показателями в разных языках. Характер несоответствий, отмечающихся в каждом конкретном случае, позволяет понять специфику референтного содержания возвратного показателя в одном из имеющихся языков. Так, русскому сочетанию *пригласить к себе* в английском языке соответствуют варианты *to ask to visit somebody at his house/office/country-cottage* и т.д. В каждом из этих вариантов прямо называется пространственная область, которая носителями русского языка только подразумевается. По существу выражения английского языка в этих случаях становятся метаязыковыми описаниями референтной семантики возвратного местоимения *себя* в русском языке – т.е. семантика английских выражений рассматривается как раскрывающая семантику русских конструкций.

Все это ставит вопрос о типах референтных объектов, или р е ф е р е н т н ы х з о н, на которые вообще способно указывать возвратное местоимение *себя* в данном случае в русском языке. Ответить на этот вопрос – значит понять, с какими аспектами действительности отождествляют себя носители русского языка в тех или иных условиях, каким предметным содержанием наполнено их представление о собственном "Я" и вообще какова содержательная природа их самосознания.

Типология референтных зон, индексируемых возвратным местоимением *себя*, значима и в теоретическом отношении. Поскольку в этом плане отсутствуют строгие межъязыковые соответствия, она может составить первоначальное основание для

системных обобщений более высокого порядка. В этом случае полученные данные прольют свет уже собственно на с п е ц и ф и к у представлений о себе у носителей того или иного языка.

В системе референтов, на которые способно указывать возвратное местоимение *себя* в русском языке, четко определяется группа зон, в н е п о л о ж е н н ы х субъекту. Это реальные аспекты действительности, которые субъект мыслит сначала как объекты вообще, безотносительно себя самого. Вследствие этого в случаях такого рода специальная объективация своего "Я" субъекту не требуется. Он просто отождествляет себя с уже определившимися объектами, соответствующим образом идентифицирует себя и таким путем обретает собственные объективные основания.

Референтные зоны, о которых идет речь, составляют достаточно стройную последовательность. В ней исходным звеном субъект определяет собственное т е л о как наиболее очевидное предметное осуществление своего "Я", а затем производит плавную и все более широкую внутреннюю экспансию материального пространства, в котором он себя полагает. В итоге его "Я" обретает вид своеобразной "разбегающейся вселенной", которая фактически не имеет внешних границ, но при значительных масштабах становится абстрактной.

Итак, во внеположенной субъекту действительности возвратное местоимение *себя* русского языка может указывать вообще на следующие референтные зоны:

1. **Тело субъекта действия**. Данная семантика местоимения *себя* наиболее отчетливо проявляется в контекстах, содержащих прямое название части тела, в связи с которой действие производится. Это название играет роль особого конкретизатора, который делает мысль о "Я-теле" более определенной, но в принципе имеет дополнительный характер (его отсутствие отчасти лишает выражение ясности, но не делает его аграмматичным).

Чаще всего в подобных случаях упоминаются в н е ш н и е органы – *голова, шея, плечи, руки, живот, ноги* в целом, *колени* и т.д. Так, в приведенном ниже примере (1) местоимение *себя* указывает на то, что действие субъекта направлено на его тело, а предложно-падежная конструкция *за голову* конкретизирует это представление; в примере (2) аналогичную функцию выполняет конструкция *на плечи*; в примере (3) – конструкция *в грудь*, а в примере (4) – *по коленке*. Ср.:

(1) Каратаев уронил рюмку и схватил **себя за голову**. (Тургенев. Петр Петрович Каратаев)

(2) Один из них взвалил **себе на плечи** мой чемодан… (Лермонтов. Герой нашего времени)

(3) – Да как же он, стерва… гадов таких… убивать мало!.. – кричал Морозка, порываясь к мокрому и оглупевшему парню. Тот, держась одной рукой за Гончаренку и обращаясь исключительно к нему, другой рукой бил **себя в грудь**, голова его тряслась. (Фадеев. Разгром)

(4) Все в порядке. Ширяев хлопает **себя по коленке**. (В. Некрасов. В окопах Сталинграда)

В роли подобных конкретизаторов могут выступать и в н у т р е н н и е части тела – реальные или идеальные органы, представляющиеся носителями русского языка в их "наивной анатомии". Таковы, в частности, *голова* (которая рассматривается уже как орган мышления), *рот, горло, желудок, сердце, душа,* редко *печень(печенка/печенки)* и т.д. Конкретизаторы такого рода также являются дополнительными: содержание окружающего контекста позволяет определить, относительно какого именно органа совершается действие, а отсутствие конкретизатора не делает выражение грамматически неправильным. Ср. пример (5), в котором местоимение *себя* в форме дательного падежа указывает на "телесного" субъекта, а предложно-падежная

конструкция *в глотку* называет конкретный орган, на который действие направлено:

(5) Шариков выплеснул содержимое рюмки **себе в глотку**, сморщился, кусочек хлеба поднес к носу, понюхал, а затем проглотил, причем глаза его налились слезами. (Булгаков. Собачье сердце)

Важно отметить, что в роли подобного конкретизатора может выступать характерное "укромное место" на теле субъекта (ср.: *у себя под мышкой*), а также сравнительно близкое к телу субъекта пространство, определяемое относительно той или иной внешней части тела-ориентира (ср.: *у себя под носом, у себя за спиной, у себя перед глазами, у себя под ногами, у себя над головой*). При этом обязательный компонент таких контекстов – предлог *у* при местоимении *себя*, выражающий значение принадлежности. Благодаря ему сочетание *у себя* понимается как ‘принадлежащий инстанции "Я"’ или даже ‘входящий в состав инстанции "Я"’.

Все это показывает, что носители русского языка в составе "телесного" субъектного "Я" определяют не только собственно тело данного субъекта, но и некое пространство вокруг него. По сути дела подобным телесным "Я" субъекта выступает характерный "пространственный кокон", который сам субъект вокруг себя внутренне определяет.

Отмеченные представления о субъектном "Я" как о т е л е вполне отчетливо просматриваются и в обстоятельствах отсутствия при возвратном местоимении *себя* каких-либо конкретизаторов. Материальность, телесность сущности, на которую указывает местоимение *себя* в случаях такого рода, выводится из самого контекста. При этом особо значимыми оказываются пространственные предлоги, показывающие, что данная сущность может служить ориентиром в пространстве и сама обладает пространственными, телесными параметрами.

Так, в примерах (6–9) референтные сущности, индексируемые местоимением *себя*, представляются т е л е с н ы м и, помимо всего прочего, в силу того, что они служат пространственными ориентирами соответствующих действий, – ср.:

(6) Он бойко поглядывал кругом, подсунув **под себя** руки, беспечно болтал и постукивал ногами, обутыми в щегольские сапоги с оторочкой. (Тургенев. Певцы)

(7) А передо мною опять мой вихрястенький баринок, и рожа у него вся светом светится, а **сзади себя** слышу странный шум и содом, голоса и бряцанье, и гик, и визг, и веселый хохот. (Лесков. Очарованный странник)

(8) Удивившись крайне, Никанор Иванович увидел **над собою** черный громкоговоритель. (М. Булгаков. Мастер и Маргарита)

(9) Но мысли его так были заняты своим предметом, что один только сильный удар грома заставил его очнуться и посмотреть **вокруг себя**… (Гоголь. Мертвые души)

В примерах (10–12) телесность сущностей, на которые указывает местоимение *себя*, вытекает из контекста, но дополнительно подчеркивается пространственной семантикой предлогов, которые показывают их собственную предметность, – ср.:

(10) Наконец он вздохнул, натянул **на себя** одеяло и заснул. (Тургенев. Дворянское гнездо)

(11) Часы опять испустили шипение и пробили десять; в дверь выглянуло женское лицо и в ту же минуту спряталось, ибо Чичиков, желая получше заснуть, скинул **с себя** совершенно все. (Гоголь. Мертвые души)

(12) Чичиков почувствовал **в себе** тяжести на целый пуд больше. (Гоголь. Мертвые души)

2. **Предметы, составляющие собственность субъекта**. Способность возвратного местоимения *себя* указывать на эту референтную зону также обнаруживают условия контекста, а именно – конкретизаторы, прямо называющие предмет, который играет принципиально важную роль в обстоятельствах соответствующего действия и который характерным образом представляет в референтной сфере самого субъекта этого действия.

В качестве репрезентанта субъектного "Я" может выступать вообще любой предмет при условии, что он составляет (хотя бы в данный отрезок времени) принадлежность субъекта. Часто это принадлежащие ему в м е с т и л и щ а д л я д р у г и х в и д о в е г о с о б с т в е н н о с т и (*кошелек, бумажник, портфель, чемодан, мешок* и т.п.) или выполняющий эту же функцию предмет м е б е л и (*тумбочка, шкаф, холодильник, ящик стола* и т.п.).

Особое место в ряду таких предметов-репрезентантов субъекта действия занимает о д е ж д а субъекта или ее детали. Именно они составляют наиболее очевидную и неотчуждаемую его собственность, играя роль своеобразного продолжения его тела.

Однако упоминание одежды как конкретизатора в ситуации рефлексивного действия имеет характерное ограничение, которое, с одной стороны, говорит о нефигуральности сближения одежды с телом субъекта, а с другой – подчеркивает структурированность представлений о телесности субъектного "Я" в сознании носителей языка. В этом качестве способны выступать лишь такие виды одежды или ее детали, которые метонимически соотносятся с частями тела, определяющимися у человека в системе данных языковых представлений. Немногочисленные исключения в этом плане – *фалды (полы), кисти* и в отдельных случаях *пуговицы*. Так, можно *похлопать себя по карманам* (← бока или грудь), *по воротнику* (← плечи и грудь), *по лацканам* (← грудь), *по рукавам* (← руки); можно *подергать себя за рукав, за полу, за пуговицу* (ср. еще более выразительные в этом отношении названия таких частей одежды, как *плечи / плечики, спина / спинка, грудь / грудка, бок*), но нельзя **похлопать себя по пиджаку* или **дернуть себя за шубу*.

Например, в (13) конкретизатором телесного "Я", на которое направлено действие, выступает *сапог* субъекта, метонимически связанный с его ногой (голенью); в (14) конкретизатором телесного "Я" субъекта выступает *кобура*, соотносящийся с его поясницей; в (15) конкретизатор *брюки* "продолжает" субъекта, метонимически соотносясь с его ногами, – ср.:

(13) Морозка, упустив березку, чтобы не потерять такт, хлестнул **себя по сапогу**. (Фадеев. Разгром)

(14) – Если потеряется еще хоть один человек – расстреляю из этого вот пистолета. – Он хлопает **себя по кобуре**. – Понятно? (В. Некрасов. В окопах Сталинграда)

(15) Падая, он поддел ногой другую скамеечку, стоявшую перед ним, и с нее опрокинул **себе на брюки** полную чашу красного вина. (М. Булгаков. Мастер и Маргарита)

Весьма показательно, что в роли референтных конкретизаторов при возвратном местоимении *себя* могут выступать также п р о с т р а н с т в а м е ж д у р е а л ь н ы м ф и з и ч е с к и м т е л о м с у б ъ е к т а и е г о о д е ж д о й. Этот факт может быть истолкован как доказательство того, что в подобных обстоятельствах между "Я-телом" субъекта и его "Я-одеждой" носители языка не проводят четких границ. Ср. пример (16), в котором *пазуха* 'простор меж груди и одежи, над поясом' [Даль III: 9] конкретизирует содер-

жательный объем телесного "Я" субъекта[10]:

(16) Герасим поглядел на несчастную собачонку, подхватил ее одной рукой, сунул ее **себе в пазуху** и пустился большими шагами домой. (Тургенев. Муму)

Для русского языкового сознания конкретизаторами телесного "Я" субъекта являются и в м е с т и л и щ а н а о д е ж д е (но не то, что они содержат). Эти вместилища также представляются субъекту как своеобразные продолжения его "Я-тела". Ср.:

(17) Яков зарылся **у себя в карманах**, достал грош и наметил его зубом. (Тургенев. Певцы)

Приведение конкретизатора во всех случаях такого рода является свободным: его выведение из контекста не лишает выражение грамматичности, однако референтное содержание местоимения *себя* при этом становится гораздо менее определенным. Появляется возможность его двоякого истолкования, что еще раз доказывает неразрывность представлений о "Я-теле" и "Я-одежде". Так, в следующем примере отсутствие конкретизатора не позволяет с уверенностью говорить о содержании местоимения *себя* в референтной сфере (это может быть одинаково и "Я-тело" субъекта, и "Я-одежда") – ср.:

(18) И, обведя вокруг **себя** узенький свалявшийся кушачок, он втянул в себя и так тощее брюхо и затянулся по полушубку что было силы. (Толстой. Хозяин и работник)

В другом примере *себя* скорее всего указывает на "Я-одежду" субъекта, и такое понимание его содержания обусловливается осведомленностью носителей языка в деталях и специфике описанных в тексте обстоятельств внеязыковой действительности. Ср.:

(19) Походив и справа, Никита вернулся к саням, сбил **с себя** снег, вытряхнул его из сапога и сел в сани. (Толстой. Хозяин и работник)

Специального упоминания заслуживает, наконец, такая предметная константа в сфере референтного содержания местоимения *себя*, как п о с у д а, и з к о т о р о й с у б ъ е к т е с т в д а н н ы й м о м е н т. В русском языковом сознании она также может играть роль материального репрезентанта субъекта действия, а в отдельных случаях – и собственно субъектного "Я".

Абсолютно определенной эта картина является при конкретном приведении в соответствующем выражении названия такой посуды. Местоимение *себя* в этих условиях сигнализирует о рефлексивности действия (направленности на самого его субъекта), а предметный конкретизатор показывает, какая именно составляющая субъекта имеется в виду. Так, в примере (20) такой его составляющей выступает *тарелка*, а в примере (21) – *рюмка*. Ср.:

(20) Собакевич подтвердил это делом: он опрокинул половину бараньего бока **к себе на тарелку**, съел все, обгрыз, обсосал до последней косточки. (Гоголь, Мертвые души)

(21) Они с радушием заколют отличную индейку или дюжину цыплят к приезду гостя, но лишней изюминки в кушанье не положат, и побледнеют, как тот же гость самовольно вздумает сам налить **себе в рюмку** вина. (Гончаров. Обломов)

---

[10] Проявлением отмеченной выше закономерности видится обозначившаяся метонимическая связь между конкретизатором телесного "Я" субъекта (*пазуха*) и собственно его телом. Согласно В.И. Далю, "называют *пазухой* и самую грудь человека от шеи до ложечки, хотя *пазуха* образуется лишь одежей на груди" [Даль III: 9].

Конкретизатор субъектного начала и в подобных случаях может опускаться. Референтное содержание местоимения *себя* становится при этом абстрактным, но тем не менее сохраняет свою актуальность – оно выводится из общего содержания контекста. Что же касается местоимения *себя*, то оно выполняет две функции: показывает рефлексивность данного действия и одновременно указывает на референтную область, которая имеется в виду как реальная сторона субъекта. Так, в примерах (22) и (23) референтное содержание местоимения *себя* выводится на основе общих данных контекста, а также имеющихся у носителя языка знаний о деталях соответствующих ситуаций (едят вообще с тарелок, а коньяк пьют из рюмок); в примере (24) контекст более информативен: в нем имеется намек на предмет, конкретизирующий содержание местоимения *себя* в референтной сфере[11], – ср.:

(22) – Щи, моя душа, сегодня очень хороши! – сказал Собакевич, хлебнувши щей и отваливши **себе** с блюда огромный кусок няни, известного блюда, которое подается к щам и состоит из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей, мозгом и ножками. (Гоголь. Мертвые души)

(23) Филипп Филиппович жестом руки остановил его, налил **себе** коньяку, хлебнул, пососал лимон и заговорил… (Булгаков. Собачье сердце)

(24) – Уж я и так читаю, читаю… – ответил Шариков и вдруг хищно и быстро налил **себе** полстакана водки. (Булгаков. Собачье сердце)

Показательно, что основные компоненты рассматриваемой ситуации рефлексивности – *субъект, предмет* и *отношение принадлежности*, связывающее предмет с субъектом, – обозначились на лексическом уровне – в семантике производных корня *себ-/соб-*. Так, в их ряду отмечаются слова со значениями с у б ъ е к т а, л и ц а. Таково, в частности, значение 'личность, отдельность, самая суть человека' у слова *собь*, засвидетельствованное Далем, но, по его замечанию, не указанное в словарях [Даль IV: 253]. Однако в словарях зафиксировались слова с другим значением, близким этому, – ср.: др-рус. **собъ** 'существо', **собьство** 'личное существование', 'лицо, ипостась (о Боге)' [Срезневский III, ст. 456–457]. Значение л и ц а обнаруживает себя и в контексте достаточно близкого языкового родства – в п. *osoba* 'лицо, особа; человек, персона', вошедшее в русский языковой оборот в XVI в. (что, по всей видимости, стимулировалось смысловыми потенциями собственно русских соответствий) [ср. СРЯ 13: 123]. В этой связи могут быть отмечены и слова с характерным значением особливости, отдельности – ср.: *собство* церк. 'особливость, особенность как принадлежность чего-либо', *собенник, собеняк* 'пирожок, особенно или отдельно для кого испеченный', *собежник* 'что-либо свое, особое, отдельное, особняк' [Даль IV: 253].

Также, в ряду производных корня *себ/соб-* наблюдаются слова со значением характерной обобщенной п р е д м е т н о с т и – ср.: *собь* 'все свое, имущество, животы, пожитки, богатство' – *У него соби много* (вост.) 'всякого добра, особенно скота'; *собина* (волог., ряз., тамб.) 'собь, животы, пожитки, нажитки, достоянье', 'скот', перм. 'приданое' – *С умом собину нажить, а без ума растерять; С умом собинка нажита, а без ума прожита* [Даль IV: 253].

Наконец, целый ряд производных корня *себ-/соб-* выражает значение п р и н а д л е ж н о с т и ч е г о - л и б о к о н к р е т н о м у л и ц у – ср.: *собность, собственность* 'собь, собина, именье и всякая вещь, как личное достояние чье', *собить* волог., курск., тамб. 'копить, собирать, припасать и прочить себе или иному в собину' – *Летом собить, зиму сыту быть; Собить детям* 'копить, сберегать'; *собник, собинник, собственник* 'владетель, владелец, владатель, обладатель, полный хозяин и господин вещи; всякий, у кого есть собь, собина, свое имущество' [Даль IV: 253].

---

[11] Вместе с тем слово *полстакана* может обозначать не посуду и в связи с этим количество его содержимого, а собственно количество, мерой которого выступает стакан.

Исходным для корня *себ-/соб-* является функциональное значение рефлексивности. Наличие же в его гнезде слов с отмеченными значениями показывает, что это представление сначала конкретизировалось (на его основе сложилось значения лица), а затем расширилось путем введения в данный концептуальный круг представления о предметах, значимых в обстоятельствах данного действия, и представления об отношениях между субъектом и предметами[12].

3. **Области пространства, присвоенные субъектом**. Продолжение отмеченной тенденции к проецированию субъектом своего "Я" на внешний предметный мир является репрезентация этого субъекта п р о с т р а н с т в о м, которое он внутренне "окультуривает", делает своим достоянием и в итоге рассматривает как внешнее выражение собственного "Я".

Характерную черту ситуаций, представляющихся в случаях такого рода в языковом сознании носителей языка, составляет достаточно отчетливое разделение реального субъекта и его пространственной "копии", которую он сам и определяет для себя как "Я". В целом подобные ситуации описывается в языке так, как будто "Я" субъекта составляет собой центр некоего пространства или даже находит в нем свое полное осуществление, и именно на эту ипостась собственного "Я" субъект ориентирует производимое им действие, – ср.: *вернуться → к себе домой, жить → у себя на даче, подняться → к себе в спальню, навести порядок → у себя в кабинете* и т.п.

В роли таких репрезентантов субъектного "Я" могут выступать любые двух- или трехмерные пространства, реально занятые субъектом или считающиеся таковыми в принципе. Однако чаще всего это конкретные предметы, определяющие данные пространства своими размерами и формой, – например, *дерево, душевая кабина* или *кабина автомобиля, лодка, скамейка в парке, место под зонтом, туристическая палатка, дачный участок* и т.п.

Одним из наиболее типичных объектов, играющих роль такого пространственного репрезентанта субъектного "Я", выступает м е б е л ь (в широком смысле), которую данный субъект занимает, – *диван, нары, кресло, кровать, постель, раскладушка, стол, стул, топчан, шезлонг* и т.д. При этом решающее значение имеет абстрактное представление о занятости данного предмета: с одной стороны, субъект может не заполнять его собой полностью, а с другой – вообще отсутствовать в данный момент. Поэтому в языке соответствующие оппозиции снимаются; выражения, содержащие местоимение *себя* с референтным значением пространства, получают возможность двоякого истолкования, а субъектное "Я" представляется в отношении подобных пространств как абстрактная "точка". Так, выражение *Я не пускаю своего кота к себе на постель* имеет два истолкования: а) субъект не позволяет коту быть вместе с ним на постели в данный момент и б) субъект в о о б щ е не позволяет коту забираться на свою постель. При этом в первом случае содержание местоимения *себя* оказывается достаточно конкретным (говорящий имеет в виду свое телесное "Я"), а во втором – весьма абстрактным: г о в о р я щ и й п р е д с т а в л я е т с е б я к а к п р и н а д л е ж а щ е е е м у п р о с т р а н с т в о.

Другой типичный для русского языкового сознания объект, служащий средством пространственной репрезентации субъектного "Я" в референтной сфере, – ж и л и щ е субъекта. Местоимение *себя* в этих условиях указывает на то, что действие субъекта ориентировано на него самого, а приведенное тут же название разновидности жилища конкретизирует это представление и показывает, какая именно сторона субъекта актуализируется. Так, в примере (25) местоимение *себя* указывает на то, что действие

[12] С этих позиций идею *собственности* возможно трактовать как отождествление субъектом себя с предметами, с которыми он связан характерными отношениями обладания. Лишить человека собственности, с этих позиций – значит лишить его какой-то части "Я" и таким путем нанести удар по его чувству экзистенциальной уверенности.

определяется относительно субъекта, а конкретным репрезентантом субъекта называется его жилище – *горница*; в примере (26) таким же репрезентантом субъекта выступает его *квартира*, а в примере (27) – *дом*. Ср.:

(25) А прочудилась я, – говорит, – **у себя в горнице...** (Лесков. Очарованный странник)

(26) Это вот что: если я, вместо того чтобы оперировать каждый вечер, начну **у себя в квартире** петь хором, у меня настанет разруха. (Булгаков. Собачье сердце)

(27) Петр Андреич сдержал свое слово. Он известил сына, что для смертного часа его матери, для младенца Федора он возвращает ему свое благословение и Маланью Сергеевну оставляет **у себя в доме**. (Тургенев. Дворянское гнездо)

Наряду с ж и л и щ е м типичным для русского языкового сознания репрезентантом субъектного "Я" выступает р а б о ч е е п о м е щ е н и е субъекта. Это может быть вообще любое замкнутое пространство – *кабина, кабинет, комната, цех, здание* и т.д. Однако в любом случае это пространство организуется субъектом – он является источником воли, инициативы, которые действительны в рамках данного пространства. И в этом смысле оно в самом деле составляет "продолжение" субъекта.

Так, в примере (28) местоимение *себя* указывает на то, что действие направлено на сферу субъекта, а затем называется конкретная референтная зона в этой сфере – *кабинет* субъекта; в примере (29) таким репрезентантом субъектного начала выступает *конюшня*, в которой субъект распоряжается; в примере (30) пространственным репрезентантом субъекта выступает *клиника*, которой он руководит. Ср.:

(28) Войдя **к себе в кабинет**, он нашел на столе пригласительный билет от баронессы. (Лермонтов. Княгиня Лиговская)

(29) Не успел я, по сем облагодетельствовании своих господ, вернуться с ними домой на новых лошадях, коих мы в Воронеже опять шестерик собрали, как прилучилося мне завесть **у себя в конюшне** на полочке хохлатых голубей – голубя и голубку. (Лесков. Очарованный странник)

(30) Вы знаете, я произвел 30 наблюдений **у себя в клинике**. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. (Булгаков. Собачье сердце)

Масштабы пространств, способных представлять субъектное начало в ситуации рефлексивного действия, могут широко варьироваться – от вполне определенного и конкретного пространства того предмета, который занят субъектом в данный отрезок времени, или какой-либо части помещения (ср.: *вернуться к себе в угол*) до помещения в целом, здания, населенного пункта и даже весьма обширной территории, определяемой "векторно" или предельно обобщенно (посредством обращения к абстрактному понятию "дом").

Следующий ряд примеров показывает, как меняются масштабы пространства-репрезентанта субъектного "Я": это п р е д м е т, занимаемый субъектом; принадлежащие ему к о м н а т а и ж и л и щ е в целом; д е р е в н я, которой субъект владеет; г о р о д, в пределах которого распространяется его влияние; абстрактное м е с т о, которое представляется лишь в связи, с указанным направлением, но признается сферой влияния субъекта (в контексте прямо говорится о его собственности, которая сначала лишь имеется в виду); абстрактное м е с т о, которое определяется как "дом" субъекта. Ср.:

(31) Вот лежу однажды ночью **у себя на постели** и думаю... (Тургенев. Петр Петрович Каратаев)

(32) А другой раз сидит **у себя в комнате**, ветер пахнет, уверяет, что простудился... (Лермонтов. Герой нашего времени)

(33) Никто не видал, чтобы он хоть раз был не тем, чем всегда, хоть на улице, хоть **у себя дома**... (Гоголь. Мертвые души)

(34) Тут Чичиков вспомнил, что если приятель приглашает **к себе в деревню** за пятнадцать верст, то значит, что к ней есть верных тридцать. (Гоголь. Мертвые души)

(35) Каждое утро он спешно принимал больных **у себя в Дялиже**, потом уезжал к городским больным, уезжал уже не на паре, а на тройке с бубенчиками и возвращался домой поздно ночью. (Чехов. Ионыч)

(36) Еду **к себе** теперь **на юг**. У меня там домик и садик. (Л. Толстой. Крейцерова соната)

(37) Говорили, будто из Хивы пришли коней закупать и хотят там **у себя дома** с кем-то войну делать... (Лесков. Очарованный странник)

Пространственный конкретизатор в подобных контекстах также может опускаться. В этих случаях возвратное местоимение *себя* осуществляет лишь самое общее указание на пространства, освоенные субъектом действия и представляющие его "Я". Масштабы и границы таких пространств теряют свою определенность, и сами пространства могут быть узнаны лишь с большей или меньшей степенью благодаря условиям соответствующего контекста.

Так, в примере (38) местоимение *себя* указывает на принадлежащую субъекту *комнату*, о чем прямо говорится в дальнейшей части контекста; в примере (39) местоимение *себя* указывает на *квартиру* профессора Преображенского, но об этом позволяет судить уже более широкий контекст; в примере (40) содержание местоимения *себя* составляет *поместье* Лаврецкого, что обнаруживает общее содержание произведения; а в примере (41) остается до конца не ясным, какое именно пространство имеется в виду – кабинет, дом в целом или хозяйственные службы. Ср.:

(38) В одиннадцать часов он простился и пошел **к себе**. Он спал один со времени своей болезни, в маленькой комнатке у кабинета. (Л. Толстой. Смерть Ивана Ильича)

(39) – Видите ли, **у себя** я делаю операции лишь в крайних случаях. Это будет стоить очень дорого – 50 червонцев. (Булгаков. Собачье сердце)

(40) Лаврецкий похвалил его, заставил кое-что повторить и, уезжая, пригласил его **к себе** погостить на несколько дней. (Тургенев. Дворянское гнездо)

(41) Чичиков, давши вопросительное выражение лицу своему, ожидал с нетерпеньем, что хочет сказать ему ключник. Ключник тоже с своей стороны ожидал, что хочет ему сказать Чичиков. Наконец последний, удивленный таким странным недоумением, решился спросить:
– Что ж барин? **у себя**, что ли?
– Здесь хозяин, – отвечал ключник. (Гоголь. Мертвые души)

Еще более "напряженным" в этом отношении является следующий пример. В нем референтное содержание местоимения *себя* определяется предельно общо: ‘в некотором пространстве, принадлежащем данному субъекту, в зоне его влияния’. Ср.:

(42) – Я тебя вылечу, вылечу, – бормотала она, впиваясь мне в плечи, – ты восстановишь его. Зачем, зачем я не оставила **у себя** один экземпляр? (Булгаков. Мастер и Маргарита)

Таким образом, границы подобных пространств просматриваются с разной степенью отчетливости: чем меньше пространство, чем более четкими видятся его границы. Установлению границ пространств-репрезентантов субъектного начала способствуют и условия контекста. Однако связь этих пространств с субъектным началом – их *присвоенность* субъектом, принадлежность субъекту – заявлена в этих обстоятельствах всегда абсолютно определенно. Именно это условие определяет собой возможность принятия субъектом того или иного пространства в качестве внешнего (объектного) репрезентанта его "Я".

По сути дела этот же фактор действует во всех других случаях объективации субъектом собственного "Я" – при видении им себя как т е л а или п р е д м е т а, составляющего его собственность, что дает основание видеть в этом факторе общее правило объективации субъектом своего "Я". Внутренний механизм, обеспечивающий процесс объективации в этих условиях, – фундаментальный закон метонимии, проявляющийся в собственно когнитивной сфере как ассоциирование представлений по принципу их смежности.

3. РЕФЕРЕНТНАЯ СЕМАНТИКА ВОЗВРАТНОГО МЕСТОИМЕНИЯ *СЕБЯ* НА ФОНЕ ОБЩИХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ГЛАГОЛЬНОЙ РЕФЛЕКСИВНОСТИ

Чтобы утвердиться в достоверности выделенных аспектов значения возвратного местоимения *себя* в русском языке, сто́ит рассмотреть далее межъязыковые тенденции в семантике рефлексивных показателей, а также обстоятельства происхождения тех лексических единиц, к которым глагольные рефлексивные показатели в том или ином языке восходят (ср. в русском языке *-ся* < *себя*/*себе*).

Что касается первого вопроса, то уже давно было замечено, что значения рефлексивных глаголов в языках самых разных семей пересекаются, не выходя в целом за определенные смысловые рамки, и во многих языках выделяются совпадающие по значению рефлексивные глаголы [Генюшене, Недялков 1991: 254]. Это, в свою очередь, дает основание говорить о тождестве референтной семантики рефлексивных показателей в тех или иных случаях.

Так, одну из наиболее ярких общих тенденций в этой сфере составляет наличие тотальных рефлексивов – глаголов, у которых субъект и объект полностью однореферентны друг другу в смысле "телесности", а рефлексивный показатель, прибавляющий к глаголу значение "себя", в референтном плане имеет значение "с е б я - т е л о". Таковы, например, болг. *облека се* 'одеться'; чеш. *mýt se* 'мыться' лит. *Ona nusirenge* 'Анна разделась' [Генюшене 1981: 168]; фр. *se débarbouiller*, *se laver* 'умываться'; арм. *Sedan srb-v-ec* 'Седа вытерлась' ← *Sedan srbec iren* 'Седа вытерла себя' [Козинцева 1981: 84]; якут. *кини симэ-н-эр* 'она наряжается'; чуваш. *вал ç ă-ăн-ать* 'она моется', удм. *анай дісся-ськ-е* 'мать одевается', эст. *ema riiet-u-b* 'мать одевается', иврит *hit-labeš* 'одеваться' [Генюшене, Недялков 1991: 256].

Точно так же стремится к универсальности "телесная" семантика у рефлексивных показателей в составе актокаузативных глаголов, обозначающих собственное (произвольное) изменение положения или места субъекта в пространстве – ср.: болг. *дръпна се* 'дернуться, рвануться; отпрянуть' ← *дръпна връв* 'дернуть веревку'; польск. *obrócić się* 'обернуться' ← *obrócić twarz* 'обернуть лицо'; нем. *Der Mann bewegte sich* 'Человек пошевелился' ← *Der Mann bewegte den Arm* 'Человек пошевелил рукой'; швед. *vända sig* 'перевернуться' ← *vända* 'перевернуть'; азерб. *Ана тэрпэ-н-ди* 'Мать пошевелилась' ← *Ана элини тэрпэтди* 'Мать пошевелила рукой'; татар. *Ул яшер-енде* 'Он спрятался' ← *Ул эйберлэрне ящерде* 'Он спрятал вещи'; нивх. *п-лывд`* 'прятаться' ← *лывд`* 'прятать'; коми *лэпты-сь-ны* 'подняться' ← *лэптыны* 'поднять'; финск. *kätke-yty-ä* 'прятаться' ← *kätkeä* 'прятать'; мокш. *jordams prä* 'бросаться' ← ← *jordams* 'бросать' [Генюшене, Недялков 1991: 258].

Достаточно отчетливо в языках разных семей представлены и партитивные реф-

лексивы – глаголы, в составе которых рефлексивный показатель соотносится в референтном плане с ч а с т ь ю т е л а субъекта. Таковы болг. *той се поряза* 'он порезался' ← *той поряза пърста* 'он порезал палец'; польск. *golić się* 'бриться' ← *golić twarz* 'брить лицо'; лит. *Motina prausia-si veidą* 'Мать умывается' (где объект действия дополнительно представлен дативным дополнением) ← *Motina prausia vaikui veidą* 'Мать умывает ребенку лицо' [Генюшене 1978: 157; ср. Генюшене 1981: 179]; англ. *He hurt himself* 'он ушибся' ← *He hurt his leg* 'Он ушиб свою ногу'; швед. *vricka sig* 'повредиться (вывихом)' ← *vricka benet* 'вывихнуть ногу'; арм. *Sedan srbvec* 'седа вытерлась' ← *Sedan srbec dzernerə* 'Седа вытерла руки' [Козинцева 1981: 84]; лат. *Ille emungit se* 'Он сморкается' ← *Ille emungit nares* 'Он сморкает нос'; удм. *Анай сути-ськиз* 'Мать обожглась' ← *Анай кизэ сутих* 'Мать обожгла руку'; нивх. *п`-ныд`уд`* 'покалечиться' ← *ныд`уд`* 'покалечить' [Генюшене, Недялков 1991: 256–257].

Весьма показательны в плане экспликации референтной специфики подобных глаголов случаи, когда ситуация рефлексивности описывается невозвратным глаголом, но зато принципиальной становится представленность в данном контексте объекта действия, составляющего ч а с т ь т е л а субъекта. Так, с точки зрения русского языка возвратной является ситуация, описанная в англ. *He squinted his eyes* 'Он прищурил свои глаза' = рус. *Он прищурился*, эст. *Ta kissitab silmi* 'Он щурит глаза' = рус. *Он щурится* [Генюшене, Недялков 1991: 257–258], вьетнамск. *Tôi on chân* 'Я подобрал ноги' (≈ "Я съежился ногами") [Быстров, Станкевич 1981: 111]; кит. *Zhang San gua liǎn* 'Чжан Сань бреется' (букв. 'Чжан Сань бреет лицо'), *Wo xi liǎn* 'Я умываюсь' (букв. 'умываю лицо'), *Meimei shu tóufa* 'Сестренка причесывается' (букв. 'причесывает волосы'), где название части тела вообще не может быть опущено [Яхонтов 1981: 151]; совр. бирм. *ту*[1] *моу*[4] *схэй*[2] *иэй' дэ*[3] 'Он бреется (букв.: Он[1] борода[2] брить[3])' [Омельянович 1978: 263]. Отдельные случаи, когда дополнение все-таки опускается (ср.: англ. *He squinted* 'Он прищурился', эст. *Ta kissitab* 'Он щурится' [Генюшене, Недялков 1991: 257–258]), вообще должны расцениваться как отклонения от нормы (эллипсис, обусловленный прагматическими факторами). Нормальными же являются конструкции (как в китайском, вьетнамском или современном бирманском), в которых явным образом представлены все члены исходной диатезы $П^{Sb}$ – Ск (нерефлексивный глагол) – $Доп^{Ob}$.

Другие внешние референтные зоны, на которые указывает показатель рефлексивности глагольного действия, в межъязыковом плане определяются уже не столь последовательно. Так, не вполне регулярно и обозначение рефлексивным показателем п р е д м е т а, составляющего собственность субъекта, или освоенного им п р о с т р а н с т в а. Достаточно очевидные различия в этом плане обнаруживают уже славянские языки – ср.: болг. *гладя риза* 'гладить рубашку' при невозможном **гладя се* 'гладиться', *редя стаята* 'убирать в комнате' → **редя се* 'убираться, прибираться', *редя куфар* 'укладывать чемодан' → **редя се* 'укладываться'[13] или семантико-типологически близкие русским польск. *budować się* 'строиться', *prać się* 'стираться, чиститься', *urządać się* 'устраиваться, обзаводиться хозяйством', но вместе с тем и выходящие за рамки этой модели *prasować* 'гладить' (*prasować swoją belizną*) при невозможности **prasować się* 'гладиться', *sprzątać* 'убирать, прибирать' (*przątać pokój/w pokoju*) → **sprzątać się* 'прибираться'. В английском языке рефлексивные глаголы с объектом – отчуждаемой собственностью субъекта вообще невозможны – ср.: *John is washing his shirts* 'Джон стирает свои рубашки' → **John is washing himself*; *Bill is packing up his things* 'Билл укладывает свои вещи' → **Bill is packing up himself*; *Mary is tidying up her room* 'Мери прибирает в своей комнате' → **Mary is tidying up herself* [Генюшене, Недялков 1991: 257].

---

[13] Как таковая рефлексивная конструкция *редя се* в болгарском языке существует, но она имеет совсем иное значение – 'становиться, выстраиваться'.

Тем не менее во французском языке такая предметная и пространственная семантика у рефлексивного показателя *se* является регулярной, что наиболее отчетливо просматривается в аспекте одежды и пространства обитания: Ср.: *se changer* 'переодеваться, менять одежду' ← *changer* 'менять', *se négliger* 'пренебрегать своим туалетом' ← *négliger* 'пренебрегать', *se meubler* 'меблироваться' ← *meubler* 'меблировать', *se barricader* 'забаррикадироваться' ← *barricader* 'баррикадировать' [Корди 1981: 236].

Также не абсолютно закономерно, но тем не менее достаточно последовательно осуществляется в разных языковых сознаниях соотнесение рефлексивного показателя с речью (высказанной мыслью) субъекта и его поступками. Славянские и французские языки обнаруживают в этих обстоятельствах бóльшую близость друг другу – ср.: болг. *излагам се* 'излагать свои мысли, изъясняться', *изкажа се* 'высказаться'; польск. *adresować się* 'адресоваться, обращаться', *przejęzyczyć się* 'оговориться (случайно)', *przyznawać się* 'признаваться', *zastrzec się* 'оговориться (специально)', *spowiadzać się* (*z czegoś*) 'исповедаться (в чем-л.)'; франц. *s'expliquer* 'объясняться', 'объяснять свои чувства, поведение' ← *expliquer* 'объяснять', *se confier* 'доверяться', 'доверять свои мысли' ← *confier* 'доверять' [Корди 1981: 236].

В отношении же других языков (в частности, германских) эта картина оказывается несколько менее строгой. Так, в английском языке конструкция *Bill confesses his sins* 'Билл признает свои грехи, исповедуется' не может быть преобразована в **Bill confesses himself*; не имеют соотносимых конструкций *to admit one's guilt* 'признавать свою вину (признаваться в виновности)', *say one's say* 'выговориться', *to address to smb.* 'адресоваться'. И вместе с тем в нем отмечаются такие случаи, как *to express oneself* 'изъясняться, высказываться' ← *to express one's opinion* 'выразить чье-либо мнение', *to address oneself to smb.* 'адресоваться, обращаться к кому-л.' ← *to address a letter to smb.* 'адресовать письмо кому-л.', *to unbosom oneself to smb.* 'исповедаться, открывать свою душу кому-л.' ← *to unbosom a secret* 'открывать тайну', *to repeat oneself* 'повторяться' (*you are repeating yourself*) ← *to repeat a word.*

Все это позволяет заключить, что внешние референтные зоны субъекта, с которыми соотносится рефлексивный показатель в том или ином языке, – такие как тело субъекта действия или части его тела, освоенные субъектом пространства и предметы, составляющие его собственность, одежда субъекта, его действия, речь, социальные группы, в которые он входит[14], – суть особые когнитивные универсалии (всеобщие категории) или стремятся к универсальности, хотя в отдельных случаях те или иные из них могут и не получить актуализации в языке (ср., например, отсутствие в английском языке рефлексных глаголов со значением движения частью тела [Генюшене, Недялков 1991: 257]).

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Осуществленный на пересечении философии, теории познания, культурной антропологии и лингвистики анализ языковых данных, имеющий целью выявление содер-

---

[14] Этот список отнюдь не полон. Есть основания полагать, что такой зоной по меньшей мере в славянском языковом сознании выступает также имя субъекта (ср. русск. *расписаться*, чеш. *napsat se*, польск. *podpisać się*, но англ. *sign one's name*), для носителей современного бирманского языка это также украшения, надетые на субъекта действия [Омельянович 1978: 263], в китайском языке квазирефлексивные конструкции содержат обозначения орудий, которыми действует субъект [Яхонтов 1981: 154], в нивхском языке это посуда, принадлежащая субъекту (ср.: *n`-саруд`* 'наполнять свою посуду (букв. "наполняться")' [Недялков, Отаина 1981: 186]. Создание каталога таких зон в межъязыковом плане и выведение типологических обобщений на этой основе – отдельная и весьма интересная задача.

жательных оснований самосознания его носителей, несомненно, доказывает свою состоятельность. По сути своей весьма неоднородное референтное содержание возвратного местоимения *себя* в русском языке, представленное как целое (точнее – как отдельный содержательный блок), передает фрагмент представления о "Я", характерного для русской языковой ментальности. И о достоверности полученных результатов свидетельствуют, с одной стороны, языковые данные типологического уровня, а с другой – системные данные прочих гуманитарных дисциплин. Кроме того, полученные результаты согласуются с иными структурными аспектами русского языка. Так, нельзя не заметить, что семантику возвратного местоимения *себя* и собственно тех инстанций, которые обнаружились в структуре "Я" носителей русского языка, в значительной мере повторяет семантика возвратных глаголов в русском языке и других языках.

Выделенные аспекты функционального содержания возвратного местоимения *себя* в русском языке, разумеется, не охватывают всего представления о "Я", возникающего при его употреблении в сознании носителей русского языка. Оно способно указывать также на ряд инстанций, которые субъект мыслит находящимися как бы внутри себя. Каждая из этих инстанций представляет собой осуществление строго определенной психической функции субъекта. Это придает им в целом характер особой реальности, которая в той же мере несомненна и важна для субъекта, в какой несомненны и важны элементы внешней предметной сферы, составляющие для субъекта объективные основания его "Я".

"Картографирование" в н у т р е н н е й с ф е р ы, принятой субъектом в качестве обоснования его "Я", составляет одну из ближайших задач когнитивно ориентированной науки о языке.

Полученную картину должно значительно расширить также системное рассмотрение рефлексивов в конкретном языке с целью более полной реконструкции стоящего за ними представления его носителей об их "Я". В этом отношении особенно перспективен русский язык. Он относится к числу тех сравнительно немногочисленных языков, которые имеют два рефлексивных средства – лексемы *себя* и *сам*.

Кроме того, в русской языковой традиции достаточно широко представлен такой тип "эгоцентрических слов", как личные имена. Эти слова в ряде отношений близки личным местоимениям: посредством их осуществляется самое общее обозначение индивидуальных лиц, не предполагающее выделение их характерных черт (определенное исключение в этом плане составляют, пожалуй, только прозвища). Однако связь между именем и "Я" оказывается принципиально иной по сравнению со связью между рефлексивным местоимением и "Я" – глубокой и устойчивой. Характер этой связи обнаруживает, в частности, слово *именно*, функционально-грамматическое наполнение которого задается представлением носителей языка об общих когнитивных функциях имени и прежде всего – о способности имени *о - п р е д е л я т ь* и *в ы - д е л я т ь* именуемую сущность [Берестнев 1998]. И рассмотрение системы личных имен с целью выявления стоящего за ними образа "Я" – еще одна актуальная задача современной когнитивности лингвистики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бенвенист Э. 1974 – Общая лингвистика. М., 1974.

Берестнев Г.И. 1998 – Личное имя как общий фактор самосознания // Актуальные проблемы лингвистической семантики. Калининград, 1998.

Бидерманн Г. 1996 – Энциклопедия символов. М., 1996.

Быстров И.С., Станкевич Н.В. 1981 – Залоговые конструкции во вьетнамском языке // Залоговые конструкции в разноструктурных языках. Л., 1981.

Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. 1984 – Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. I–II. Тбилиси, 1984.

Генюшене Э.Ш. 1978 – Бенефактивные транзитивные рефлексивы в литовском языке // Проблемы теории грамматического залога. Л., 1978.
Генюшене Э.Ш. 1981 – К теории описания рефлексивных глаголов (на материале литовского языка) // Залоговые конструкции в разноструктурных языках. Л., 1981.
Генюшене Э.Ш., Недялков В.П. 1991 – Типология рефлексивных конструкций // Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость. СПб., 1991.
Гроф С. 1993 – За пределами мозга. М., 1993.
Гроф С. 1994а – Области человеческого бессознательного. М., 1994.
Гроф С. 1994б – Путешествие в поисках себя. М., 1994.
Демьянков В.З. 1995 – Доминирующие лингвистические теории в конце XX века // Язык и наука конца 20 века. М., 1995.
Диоген Лаэртский 1979 – О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979.
ДФ 1979 – Древнеиндийская философия. М., 1979.
Есперсен О. 1958 – Философия грамматики. М., 1958.
Козинцева Н.А. 1981 – Рефлексивные глаголы в армянском языке // Залоговые конструкции в разноструктурных языках. Л., 1981.
Кон И.С. 1981 – Категория "Я" в психологии // Психологический журнал. 1981. № 3.
Корди Е.Е. 1981 – Деривационная, семантическая и синтаксическая классификация местоименных глаголов французского языка // Залоговые конструкции в разноструктурных языках. Л., 1981.
Кубрякова Е.С. 1994а – Парадигмы научного знания в лингвистике и ее современный статус // ИАН СЛЯ. 1994. № 2.
Кубрякова Е.С. 1994б – Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика – психология – когнитивная наука // ВЯ. 1994. № 4.
Кубрякова Е.С. 1995 – Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца 20 века. М., 1995.
Купер Дж. 1995 – Энциклопедия символов. Кн. IV. М., 1995.
Липпс Г. 1910 – Самосознание, ощущение и чувство. СПб., 1910.
Лэнг Р. 1995 – Расколотое "Я". СПб., 1995.
Маковский М.М. 2000 – Внешнее и внутреннее // Феномен табу в традициях и в языке индоевропейцев. М., 2000.
Недялков В.П., Отаина Г.А. 1981 – Нивхские рефлексивные глаголы и типология смысловых рефлексивов // Залоговые конструкции в разноструктурных языках. Л., 1981.
Омельянович Н.В. 1978 – К вопросу о выражении залоговых значений в современном бирманском языке // Проблемы теории грамматического залога. Л., 1978.
Попов А.А. 1936 – Тавгийцы // Труды Института антропологии и этнографии. Т. I. Вып. 5. М.; Л., 1936.
Спиркин А.Г. 1972 – Сознание и самосознание. М., 1972.
Степанов Ю.С., Проскурин С.Г. 1993 – Смена "культурных парадигм" и ее внутренние механизмы // Философия языка: в границах и вне границ. Харьков, 1993.
Топоров В.Н. 1997 – Пространство и текст // Из работ московского семиотического круга. М., 1997.
Топоров В.Н. 1987 – Об одном архаичном индоевропейском элементе в древнерусской духовной культуре – **svęt* // Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987.
Тэйлор Э. 1939 – Первобытная культура. М., 1939.
Фрумкина Р.М. 1995 – Есть ли у современной лингвистики своя эпистемология? // Язык и наука конца 20 века. М., 1995.
Фрейд З. 1989 – Введение в психоанализ. Лекции. М., 1989.
Фрейд З. 1991 – "Я" и "Оно". Труды разных лет. Кн. 1. Тбилиси, 1991.
Фрэзер Д.Д. 1983 – Золотая ветвь: Исследование магии и религии. М., 1983.
Храковский В.С. 1978 – Залог и рефлексив // Проблемы теории грамматического залога. Л., 1978.
Храковский В.С. 1981 – Диатеза и референтность (К вопросу о соотношении активных, пассивных, рефлексивных и реципрокных конструкций) // Залоговые конструкции в разноструктурных языках. Л., 1981.

Шопенгауэр А. 1993 – Мир как воля и представление. Т. II. М., 1993.
Юнг К.Г. 1994 – Психология бессознательного. М., 1994.
Юнг К.Г. 1995 – Психологические типы. СПб.; М., 1995.
Якобсон Р.О., Фант Г.М., Халле М. 1962 – Введение в анализ речи // Новое в лингвистике. Вып. 2. М., 1962.
Яхонтов С.Е. 1981 – Выражение рефлексивности в китайском языке // Залоговые конструкции в разноструктурных языках. Л., 1981.
Budge E.A.W. 1967 – The Egyptian Book of the Dead (The Papirus of Ani). Egyptian text, Transliteration and Translation. New York, 1967.
Chafe W.L. 1987 – Repeated verbalisaations as evidence for the organization of knowledge // Preprints of the plenary session papers: XIV Inernational Congress of linguists. Berlin, 1987.
Delbrück B. 1893–1900 – Brugmann K., Delbrück B. Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, III–V. Strassbusg, 1893 – 1900.
König E. 1997 – Towards a typology of intensifiers (emphatic reflexives) // XVI-th International Congress of linguists. Paris, July 20–25, 1997 (Plenary sessions texts).
Moravcsik E.A. 1972 Some crosslinguistic generalizations about iitesifier constructions // Papers from the 8-th regional meeting. Chicago linguistic Society. April 14–16, 1972. Chicago, 1972.

№ 1 2001

© 2001г. В.Д. ДЕВКИН

О НЕРОДИВШИХСЯ НЕМЕЦКИХ И РУССКИХ СЛОВАРЯХ

Во всем есть свои шаблоны и штампы. В словарном деле наметились свои традиции определения жанров. Их ассортимент довольно стабилен и держится в языкознании довольно стойко. Между тем резервы расширения типов словарей далеко не исчерпаны: ср. [Wörterbücher 1989–1991; Ripfel 1989; Wiegand 1998]. Только о них не принято говорить. Насколько можно судить по довольно обширной лексикографической литературе, посвященной будущности словарей, обычно затрагивается проблема совершенствования техники их составления, а не их типы. Ср., например: Lexikographie von heute und das Wörterbuch von morgen (Berlin, 1983). В очень обстоятельной и богатой материалом работе известного немецкого словарника Вольфганга Мюллера, названной "Словари будущего или Terrae incognitae" (1998), поднимается вопрос о пяти типах неосуществленных словарей: 1) продуктивных словообразовательных элементов, 2) "ложных друзей", 3) зависимых предложных конструкций, 4) неологизмов, 5) лексики секса.

В данной же статье предпринимается попытка обратить внимание на многие еще не созданные словари русского и немецкого языков. При этом иногда наблюдается положение, когда тот или иной словарь для одного языка есть, а для другого нет. Вполне понятно, что здесь богатое поле деятельности, и о мало-мальски исчерпывающем охвате материала не может быть речи. Однако поделиться некоторыми соображениями на этот счет представляется нелишним, поскольку они могли бы послужить некоторым импульсом расширения профилей словарей.

В лексикологии существуют два подхода к номинациям: семасиологический (от слова к референту) и ономасиологический (от референта к слову). Словари строятся на одном из этих принципов. Ономасиологический (понятийный) практикуется значительно реже. Несмотря на наличие словарей таких авторов, как Ф. Дорнзайфф; Х. Верле/Х. Эггерс; П. Роже; В.В. Морковкин; Н.Ю. Шведова (в 6 томах), ономасиологическая трактовка в лексикографии представлена недостаточно, особенно для детальной презентации отдельных полей и тематических групп. Для этого направления открываются широкие перспективы, прежде всего для отдельных сторон повседневной коммуникации и обиходного языка.

Общим недостатком ономасиологических словарей является их удаленность от сферы общения, от речевого применения зарегистрированных слов. Напрашивается пожелание в адрес ономасиологических словарей, чтобы они были подальше от номенклатурной инвентаризации и поближе к коммуникативной оправданности преподносимого материала.

Многие диссертации подходят вплотную к тому, чтобы продолжить работу и подать практические результаты в виде словаря, но этого не реализуют. Причин здесь несколько (между прочим недостаток времени при обязательности завершения диссертации в аспирантский срок). Не в последнюю очередь сказывается и то, что словарное приложение к диссертации обнажает ее недочеты и слабые стороны. Ценность работы (особенно практическая) при этом страдает.

Лексикографирование единиц крупнее слова связано с дополнительными осложнениями. Если для фразеологизмов, пословиц, крылатых выражений, примет и т.п. все

же разработана методика их подачи в словарях и для них созданы особые лексиконы, то такие явления, как коммуникативные **КЛИШЕ**, команды (военные, спортивные, "детские", альпинистские, "хирургические" и прочие профессиональные) в словарях представлены совершенно недостаточно. Одна сторона проблемы – это постараться подобные стереотипы общения включить в общие словари, а другая – создать особые специализированные одно- и двуязычные справочники речевых формул. Существующие разговорники обычно слишком элементарны, неполны и примитивны, так что поставленную задачу они выполняют только в очень ограниченной мере.

Нет словарей **ИДИОМАТИЧНЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.**

Разве не нужны следующие типы словарей:

Словари **ОБРАЩЕНИЙ**, особенно их лексического наполнения в немецком и русском языках в официальных условиях и обиходно-разговорной среде, с применением званий и титулов и без них, с учетом возможности и невозможности анонимного обращения (ср. допустимые в русском языке: *Девочка, где здесь булочная*?; *Мальчик, как пройти к метро*? и невозможные аналогичные употребления *Mädchen* и *Junge* – в немецком, где адресованность речи воплощается иначе), с использованием эмоциональной окраски (*родненький, лапочка*) и без нее, с применением особых морфологических форм, не исключая словообразовательных преобразований имен собственных и привлечения прозвищ, с принятием во внимание модификации синтаксической позиции в высказывании (начальной и вводной), лексической безэквивалентности стереотипов сравниваемых языков: *отец, папаша, брат, старина*, с одной стороны, и *Meister, Schwester Monika* (медсестра), *Frau Major* (супруга майора – устар.), *Schatz*, с другой; переход обращений в междометия: *Mensch*; *Mann*; *Junge*, *Junge*.

Несмотря на наличие ряда учебных пособий (например, Н.И. Формановской), нет словарей **ЭТИКЕТНЫХ ФРАЗ**, стереотипных для самых различных жизненных ситуаций.

Отсутствуют словари **ХОНОРАТИВОВ** (выражений вежливости) и **ГУМИЛАТИВОВ** (выражений хамства), а также связанных с этическим аспектом выражений лести, антипатии, самоподачи, оценки адресата и т.п.

Крайне необходимы особенно для практического изучения иностранного языка словари **МЕТАКОММУНИКАТИВНЫХ** выражений, которые, за пределами самого предмета (содержания) разговора, касаются "техники" ведения беседы: способа выражения мыслей, формы изложения, отношения собеседника к избираемому оформлению речи, т.е. внешних моментов участия в общении, "обслуживания" бесперебойности и надежности "канала связи". Метакоммуникативные высказывания следят за понятностью, нормативностью, соблюдением выдерживания необходимых параметров речи (тема, громкость, четкость артикуляции, ясность изложения), регулируют ведение диалога и управление им: захват инициативы и ее отстаивание, ввод и подготовка собственных слов, прерывание, контроль внимания и понимания, исправление ошибочности и оценка избранных средств выражения, замечания по поводу настроения, физического и психического состояния собеседника и его речевых умений и способностей, а также уместности темы, сосредоточенности на ней и учета условий протекания разговора.

Очень важны словари **ФАТИЧЕСКИХ** выражений (служащих установлению, поддержанию и прекращению речевых контактов). Какие словари учитывают такие выражения, как "*Знаешь что*, давай мы лучше пойдем вот этой дорогой". // "*Пойми ты*, твое предложение не пройдет". // "*Подумать только*! Он своего добился!" // "*Учти*, больше я об этом говорить не буду" и т.д. Лексикографирование этих клише должно состояться.

Нет словарей речевых **СТИМУЛОВ** и **РЕАКЦИЙ**, поддакиваний, согласий, возражений, опровержений, отрицаний, аргументаций.

Интересны для прагмалингвистики, но очень сложны для составления словари **МАНИПУЛЯТИВНЫХ** речевых техник, типовых конструкций осуществления разных

типов обмана, введения в заблуждение, моделей лицемерных, ханжеских высказываний и т.п. Словари многих других разновидностей коммуникативных стереотипов перечислить здесь в полном объеме не представляется возможным.

Высказанные здесь предложения безусловно во многом дискуссионны, предварительны, требуют критического анализа и доработки, но несмотря ни на что, они все же заслуживают внимания. В этой связи приходится сталкиваться с положением заколдованного круга. Лексикографированию того или иного явления должно предшествовать его теоретическое осмысление, учет системных связей, обоснование практической целесообразности затеи. Против этого нечего возразить. Начинать с теории утопично и едва ли выполнимо – ведь она выводится из материала, которого пока нет. Не является ли более приемлемым компромиссное решение начать сбор материала после предварительного представления о сути избранного явления, пусть при этом будут неясности (относится ли выделенный пример к описываемому типу или нет), затем, когда корпус отобранного будет уже иметь достаточный объем, вернуться к уточнению принципов определения искомого понятия и на следующем этапе по выделенным критериям упорядочить как словник, так и толкования. Опасение перед таким перескакиванием и забеганием вперед привело к тому, что многие важные лексические пласты остались неизученными.

Итак, какие же словари еще не родились? Нет словарей отдельных **ЧАСТЕЙ РЕЧИ**, хотя в этом направлении шли Э. Матер [Mater 1966–1972]; Г. Хельбиг, В. Шенкель [Helbig, Schenkel 1973]; К.Э. Зоммерфельдт, Х. Шрайбер [Sommerfeldt, Schreiber 1974; 1977]. Соотношение частей речи в сравниваемых языках может быть различным. Особенно важны двуязычные словари частей речи. Немецкий язык "субстантивнее" русского, но беднее прилагательными. То, что в русском языке выражается модальными наречиями и частицами, в немецком языке падает на глаголы. Отразить эти и подобные строевые закономерности, не обращаясь к словарю, можно только очень поверхностно. Установление границ наречий, предикативов, категории состояния, модальных слов, частиц за пределами лексикографирования без полноты количественного представительства этих классов слов не может быть уточнено. Немецкие краткие прилагательные и наречия находятся в состоянии сложного взаимодействия. Ср.: mach's *gut*!; jd ist *gut* dran; das kann ja *gut* werden; Wir treffen uns um sechs Uhr. – *Gut*.

Сложность идентификации частеречной принадлежности неизменяемых слов, наряду с другими причинами, тормозит их лексикографирование. Заимствование *fit* считают прилагательным, хотя оно с флексиями не встречается (не считая разве исключений: *seine Oma war fitter als wir dachten*). Правомерно ли *live* (*eine Sendung live übertragen; jn live auf der Bühne erleben*) считать прилагательным, как это сделано в Универсальном Дудене 1996), когда его обстоятельность очевидна? Это один из примеров (к сожалению, очень многочисленных) заколдованного круга взаимозависимости теории и конкретного материала.

Пропорция частей речи изменяется в зависимости от сферы применения языка: в научном стиле больше существительных, в разговорном их процент сильно снижается, там функционирование глаголов приобретает большую частотность и своеобразие. Пока в этом направлении словари своей задачи не решили.

СИНСЕМАТИЧЕСКИЕ части речи представлены в особых, предназначенных для каждой из них словарях еще реже. Нет комплексных словарей местоимений, дейктических, служебных, полуслужебных незнаменательных слов, хотя есть словари [Шведова 1999; Сл. структ. слов 1997; Vasilyeva 1972; Grimm 1987; Helbig G. 1988; Helbig G., Helbig A. 1990; Buscha 1989; Schröder 1986] и близкие к ним словари, частично уже решившие эту задачу.

Нет словаря **СЧЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННЫХ** слов.

Нет словарей **МЕЖДОМЕТИЙ, СТЕРЕОТИПНЫХ ВОСКЛИЦАНИЙ (ЭКСКЛАМАТИВОВ), ЗВУКОПОДРАЖАНИЙ** (ср. [Копорская 1995]).

Лексическая семантика так сложна и разнообразна, что отражение ее в словарях продолжает оставаться вечной темой. Следует упомянуть дезидераты А) ономасиологического/идеографического и Б) семасиологического направления.

А) Из ономасиологии.

Нет словаря **ПРОСТРАНСТВЕННЫХ** и **ВРЕМЕННЫХ** номинаций.

Нет словаря лексики **ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ** отношений.

Нет идеографического словаря **МИР РЕБЕНКА** с кругом понятий, актуальных для детского возраста, с так называемыми "детскими" словами, с коммуникативными клише общения с ребенком (обращенные к нему речевые стимулы – команды, предостережения, советы, порицания – и реакции-ответы на них со стороны ребенка).

Недостающих словарей идеографического профиля множество.

Бедой многих исторических словарей оказывается то, что они скорее фиксируют отдельные диахронические срезы (ср. Ф. Клуге), чем прослеживают становление современной семантики лексической единицы. Еще жив академический взгляд в прошлое, оберегающий от невзгод всего сегодняшнего, уводящий от необходимости осмыслить современное состояние лексики.

Конфликт денотативного и этимологического значения, дезориентирующая внутренняя форма должны были бы вызвать к жизни пособия лексикографического направления и дидактически (в основном для изучения языка как родного, так и иностранного) оправданные.

У нас нет словарей **ЭТИМОЛОГО-ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИХ**, связанных с особым ключевым понятием, например: **лошадь**: *слав.* конь, конница, *тюрк.* лошадь, *франц.* шевалье, шваль, *греч.* ипподром, гиппология, гиппопотам, *итал.* кавалер, кавалерия или **земля**: *русск.* (индо-евр.) со значениями планета, суша, поверхность, почва, материал, страна, участок пользования и др.: *лат.* terra incognita, террариум, терренкур, терьер, терраса, теллур (химический элемент), гумус, homo (человек, т.е. "вышедший из земли – *библ.* образ), гомункул, гуманизм, гуманный, гуманитарный, *греч.* апогей, перигей, география, геометрия, геология, Георгий, автохтон (местный, связанный с землей), *нем./англ.* ландшафт, Голландия, Исландия, компьютерленд, ландскнехт, ландтаг, лендлер (танец), *слав.* змея (ползущая по земле) (см. [Гак 1998]). Если словари исторических гнезд слов одного языка (*ziehen, Zug, Zögling, Herzog, Zügel*) более обычны, то "интернациональные" встречаются реже (см. [Маковский 1996]).

Словарь-справочник "Занимательная этимология" обязательно нашел бы своего читателя с курьезами конфликта этимологического и денотативного значения, с паронимическими заменами подлинной этимологии словами, восходящими к сексуальным понятиям (wie *geht's*, wie *steht's*?; ich *stehe* auf diesen Zahn, auf den neuen Schlager; *настроение* у нее (!) поднимается; *удовольствие, загнуться, зажимать, попухнуть, мандраж, бардак* (беспорядок), *бардачок* в автомобиле, *дрочена* (вид яичницы), знать кого-л. как *облупленного* и т.п.). Популярные этимологические словарики находят себе место в репертуаре развлекательных справочников (см. [Küpper 1987; Friedrichs 1989; Lodige 1998; Stiberc 1999; Волина 1996] и др.). Разве не нужны были бы словари, отражающие конфликт этимологического и денотативного значения: *скрипка* не скрипит, *водка* не вода, *синильная* кислота не синяя, *белка* не белая, *полковник* командует не только полком и т.п.?

Язык изменяется с разной скоростью. Она обычно увеличивается в эпоху социальных преобразований. Наше время характеризуется ускорением развития лексики. Каждый день, раскрывая газету, мы оказываемся озадаченными новыми словами, некоторые из которых даже трудно расшифровать. Косная, ленивая лингвистика не поспевает фиксировать и интерпретировать новое. Словарь как особая форма описания языка (и прежде всего, наглядная, доказательная) недооценивается.

Необходим двуязычный: немецко-русский и русско-немецкий словарь словесного

обозначения **КИНЕМ** (см. [Акишина и др. 1991; Schwarz, Schweppe 1998]). Нет немецко-русского и русско-немецкого словаря названий **ПИЩИ** и **ТРАПЕЗ** под углом зрения их влияния на обиходный язык (см. [Воробьев 1994]).

В немецком языкознании есть направление, занимающееся проблемой "Institutionelles Sprechen" (общение в таких условиях, когда клишированность высказываний ощущается особенно сильно: в ресторане, у врача, у билетной кассы, на экзамене, в сбербанке и т.п. – ср. [Koerfer 1994]). Словарная обработка типовых высказываний в стереотипных жизненных ситуациях интересна своей лингвострановедческой идиоматичностью и имеет практическое значение для изучения иностранного языка.

Аксиологический аспект языка лексикографически представлен недостаточно. Нет словарей лексических единиц с положительной, а также средней оценкой (посредственной) и с отрицательной (правда, много словарей бранной лексики).

Нет словаря номинации социальных **РОЛЕЙ** (правительство – народ, начальник – подчиненный, врач – пациент, актер – зритель, продавец – покупатель, родители – дети и т.п.) и слов и выражений, типичных для каждой роли с учетом главенствующего и подчиненного положения и отношения "равноправия" внутри определенной среды (членов семьи, сверстников, учеников, студентов, коллег, солдат, участников одной компании, уголовников). Тип зависимости, как и солидарности, может быть постоянным и временным (ситуативным). Симметричность и ее нарушение в рамках социолингвистики – богатое поле деятельности для лексикографов. В традиционной лексической парадигматике этим типам отношений не уделяется внимания.

Сложнейший вопрос сопутствующих содержательных характеристик лексических единиц едва ли будет решен без сведения их воедино в рамках словаря прагматических оценок и "**УСТАНОВОК**": идеологических, материалистических, идеалистических, религиозных, большевистских, фашистских, расистских, антисемитских, популистских, завышающих и занижающих оценку, оптимистических и пессимистических и т.п. Ведь до сих пор такие противопоставления как international – *volksfeindlich*, Bürgerrechtler – *Unruhestifter*, Arbeitswilliger – *Streikbrecher*, война освободительная и война *захватническая*, шпион – *разведчик*, мятежник – *борец за свободу*, отъявленный хулиган – *подвижный* ребенок, опаздывать – *задерживаться*, кинуться в разврат – *оступиться* и мн. др. остаются во всей их противоречивой природе не описанными ни в лексикологии, ни в лексикографии.

В советское время многие слова были заменены другими (не всегда новыми), однако социолингвистически иначе окрашенными, ср. жалованье – *зарплата*, прислуга – *домработница*, господа! – *товарищи*!, служба – *работа* или отдавалось предпочтение молодым поколением других номинаций тем, которые были более привычны старшим, ср. ничего – *нормально*, не могли бы Вы сказать? – *не подскажете*?, уборная – *туалет*, (кино)картина – *фильм*. Нет словаря, который бы учитывал подобные обновления лексики (ср. словарь советизмов [Мокиенко, Никитина 1998]).

Если уже "феминистский аспект" (учет "женских" параллелей разных номинаций) имеет под собой какую-то почву, то это следовало бы отразить в специально посвященном этому словаре (ср. [Tannen 1994–1996]).

Нет словарей с выражениями **НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ**, неточности, приблизительности, референтной расплывчатости (нечеткости границ), преуменьшения, сбавленности и смягчения признака, так называемых мейозисов, и скрытой, завуалированной оценки (ср. семантику *Meuterer, Freiheitskämpfer, мятежники, гверильясы, боевики, повстанцы*).

Б) Из нерожденных **семантических** словарей для примера можно обратить внимание на следующие. Поскольку **МЕТАФОРА** и **МЕТОНИМИЯ** являются основными средствами создания переносных и производных значений слов и представляют собой очень многочисленный, разнообразный и мобильный фонд, их лексикографирование еще долгое время будет продолжать оставаться одной из центральных задач словарной

практики, несмотря на уже достигнутое в этом направлении (ср. [Баранов, Караулов 1991; Киселева 1997; Зубарев 1978; Brugger 1993]). Хотя словарей **СЛОВОСОЧЕТАНИЙ** довольно много, работы в этом жанре больше, чем можно было ожидать, как по составлению двуязычных, так и одноязычных словарей (ср. [Александров и др. 1966; Братусь и др. 1979; Учебн. словарь сочет. слов русск. яз. 1978; Agricola 1992; Дуден 2; Helbig, Schenkel 1973; Sommerfeldt, Schreiber 1974; Sommerfeldt, Schreiber 1977]). Нет, например, словарей словосочетаний **ШКОЛЬНОГО** и **УНИВЕРСИТЕТСКОГО** обихода, словоупотреблений разных тематических групп в рамках этого идеографического поля.

Нет словарей словосочетаний отдельных классов слов (наречий, числительных) с учетом русско-немецких и немецко-русских параллелей и мн. др.

В двуязычной лексикографии большой практический интерес для изучения иностранного языка представляют приемы передачи безэквивалентной лексики. Это прослеживается на материале самых различных пластов словаря. Немалые трудности возникают в лингвострановедческой тематике, когда обнаруживаются уникальные реалии, не имеющие прямого соответствия в сравниваемом языке. Особенно это касается бюрократизмов, которые, естественно, можно передать только приблизительно, описательно. Незнание соответствующих иноязычных параллелей затрудняет общение. Как подойти к решению этого сложного вопроса? Представляется целесообразным составить тематические словари примерных приемлемых соответствий.

Казалось бы такое в принципе интернациональное явление, как диссертация, по содержанию в определенной области знаний для разных стран имеет много общего. Что же касается связанных с нею организационных вопросов ее подготовки, представления, защиты и утверждения, то они так специфичны, что о лексическом параллелизме не может быть речи. Например, у немцев и русских понятия *допуск к защите, вступительное слово, оппонент, кандидатские* и *вступительные экзамены, конкурс* при поступлении, *ученый совет*, процедура *защиты, оценка* и *утверждение диссертации* и некоторые другие настолько национально специфичны, что из-за обилия "ложных друзей переводчика" общение крайне осложнено и требует постоянных перифраз и комментариев. Для лексикографирования данная тематика представляет высшую степень трудности. Но она в конце концов должна быть преодолена, как бы словарники ее ни избегали. Приемы замен требуют для каждого случая конкретизации правил установления параллелизма, тем не менее теоретическая работа в этом направлении необходима. После приведения этого конкретного примера продолжим перечисление неосуществившихся словарей.

Нет словарей упорядоченной парадигматики **ПОЛИСЕМИИ**, напоминающих Толково-комбинаторный словарь русского языка И.А. Мельчука, А.К. Жолковского и др. (Вена, 1984).

Нет словарей **МУЛЬТИСЕМИЧНЫХ** (с очень большим количеством семем) слов. Они требуют особой методики. Известно, как полифункциональные слова "тонут" в общем словаре и доставляют много хлопот желающему разобраться в их многочисленных коллокациях. Интересен был бы и словарь **ОДНОЗНАЧНЫХ** слов, своеобразных "холостячков", сторонящихся лексических контактов.

Нет словарей **ЭНАНТИОСЕМИИ** ни для слов, ни для морфем. А между тем, это существенная сторона семантики. Ср.: двери *открываются* автоматически (но тем же образом они и закрываются); *вход* – он же и выход. Морфема *zusammen* в глаголе *zusammenbrechen* связана с концептом разрушения, а в *zusammenflicken* – созидания, восстановления; *просмотреть* – не заметить и бегло проглядеть все; *залечить* – вылечить и загнать болезнь внутрь.

Исключительно важная проблема "**ПСЕВДО** в языке" могла бы в некоторой степени воплотиться и лексикографически. Понятия истинный/ложный, настоящий/ненастоящий, натуральный/эрзацный, оригинальный/поддельный и т.п. должны бы во всей их противоречивости найти себе место в словарях особого профиля. При этом

возникнет немало сомнений: относятся ли сюда некачественность (*полунаука, халтурщик, брак*), иррегуляризация когипонимов (*мачеха, пасынок, сводный брат, усыновленные дети*), наигранные манерные замены нейтрального (*отдыхать* вм. *спать, супруга* вм. *жена, кушать* вм. *есть, обожать* вм. *очень нравиться*), псевдотермины и излишние, неоправданные, выпендрежные переименования, последствия ошибок названий (*ложный круп, robinia pseudoacacia, летучая мышь, морской конек*)? В этой связи следует различать объективную (референтную) "ненастоящность" и результаты "номинативной импотенции", т.е. неумение должным образом назвать вещь или явление и обращение к имени, уже занятому, применяемому к другому денотату. Это особенно типично для биологических понятий (в медицине, флоре и фауне) – см. [Ефимова 1997]. Ложные ужи или ложные лисички и т.п. – автономные создания природы, ничем не более фальшивы, чем другие змеи и грибы, и они "не виноваты", если у неизобретательных людей не нашлось фантазии назвать их получше. Псевдозаимствования (*Dressmann*, *Showmaster*, *Handy* и т.п.) возникли на немецкой почве, этих слов нет в английском языке. Их немного и на целый словарь не хватит, однако их следует в более обширном словаре подать так, чтобы они не прошли незамеченными.

Хорошие (достаточно полные) двуязычные словари уже являются в известной степени параллельными для так называемых "**ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ** переводчиков", однако был бы не лишним специальный словарь псевдопараллелей не заимствований и интернационализмов (по примеру К. Готлиба), а слов исконных (автохтонных). Ср.: *umständlich* – копуша, *обстоятельный* – дотошный; *Grütze* im Kopf – сообразительность, *каша в голове* – путаница; *aus der Haut fahren* – разозлиться, *лезть из кожи вон* – стараться; *Muttersprache* – родной язык, *матерный* – нецензурный или псевдопараллели типа: *машинист – машинистка, ворон – ворона*.

Нет словарей сопоставления **ДЕОНИМИЗАЦИИ** в немецком и русском языке, хотя есть словари Н.П. Колесникова [Колесников 1995]; А.Е. Бижкеновой [Бижкенова 1990]; И.Н. Заверюхи [Заверюха 2000].

Из области лексической **парадигматики** следует отметить отсутствие таких словарей, как:

Словари **ГРАДУАЛЬНЫХ РЯДОВ**;

Словари **ЭВФЕМИЗМОВ** (ср. англ. словарь Р.В. Холдер [Holder 1995]);

Словари **ПЕЙОРАТИВОВ** (хотя этот пробел в значительной степени восполнен серией словарей бранной лексики);

Словари **ЗАМКНУТЫХ МНОЖЕСТВ** (месяцы года, дни недели, фигуры шахмат, шашек, футбольная команда, игральные карты и т.п.);

Словари **ВАРИАНТОВ** (монография Г. Мутмана [Muthmann 1994] покрывает эту лакуну для немецкого языка). Немецкий словарь **ОМОГРАФОВ** есть [Weber 1996], русского – нет, русские **ОМОНИМЫ** обобщены в специальных словарях, немецкие – нет. Ни для немецкого, ни для русского языков нет словарей **ГИПЕРОНИМОВ** и **ГИПОНИМОВ**, словарей **ПАРТОНИМОВ**[1], словарей **ПАРОНИМИЧЕСКОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ** ("народной этимологии"), **ПАРОНОМАЗИИ**[2], **КАЛАМБУРОВ**.

Целесообразность словаря парономазии подтверждена инициативой Б.Ю. Нормана [Норман 1987: 207–221]. Паронимические этимологии далеко не всегда учитываются толковыми словарями. Чтобы привлечь к ним внимание, было бы желательно составить из них специальный словарь (*türmen* не от *Turm, hantieren* не от *Hand, Laube* не от *Laub*, русск. *мусор* – милиционер, *лимон* – миллион).

Языковой **юмор** ситуативен и по всему своему существу не подходит для лексикографирования. Однако фондовые шутливые номинации (*кабысдох, от горшка два*

---

[1] Партонимы – слова, обозначающие часть целого.

[2] Парономазия – стилистический прием столкновения слов, имеющих сходство звучания.

вершка, сверху шелк – внутри щелк, метр с кепкой и т.п.), обычно сопровождаемые пометой *шутл.*, поддаются выделению в особый словарь, что было подтверждено на немецком материале [Скиба 1997].

Нет словаря **ИРОНИЗМОВ**, многие из которых гораздо распространеннее, чем это принято полагать. Взять к примеру характерологическую лексику (ты у нас *самый умный*, такой *сообразительный, аккуратный, пунктуальный, отзывчивый, самоотверженный, вежливый* и т.п. в противоположном смысле).

Русский язык значительно **эмоциональнее** немецкого и еще больше – английского. Это исключительно важное свойство русской лексики и идиоматичного синтаксиса обязательно следовало бы отразить в специальных словарях.

Нужны были бы словари аллюзий, **ОБРАЗОВ** (не только фразеологических), эпитетов (для русского языка он уже осуществлен – [Горбачевич, Хабло 1979]; ср. [Сл. образн. выражений… 1995; Павлович 1995], уже упоминавшийся Х.П. Бруггер [Brugger 1993]). Нет словарей фразеологизмов, лишенных образности.

При очень разветвленной системе фразеологических словарей нет словарей ситуативно обусловленных **РЕАГИРУЮЩИХ ФРАЗ**, прибауток, иногда пошловатых, довольно прочно удерживающихся в речи: Люблю повеселиться, особенно поесть // Бывают в жизни огорченья – хлеба нет, так ешь печенье // Не дрова везешь! – критическое замечание неосторожному водителю // Мало каши ел! // С лица не воду пить // Народу, что людей! *Нем.* Du hast mir gerade noch in meiner Käfersammlung gefehlt! //«"Ein schöner Tag. Wollen wir nicht fischen gehen?" sagte der Angler zum Wurm» (B. Brecht). Обыгрывание банальностей, переиначивание и контаминация пословиц создают богатую почву для речевого озорства (ср.: [Mieder 1985; Sprichwörter zum Selberbasteln 1995]). Изощрения языка рекламы в значительной своей массе остаются не охваченными словарями. Ср., например, агитацию предпочтения воздушного транспорта в виде плакатов на трамвайных остановках Потсдама в 1999 г.: Wenn Has und Häsin Hochzeit feiern, flieg günstig in den Freistaat Bayern! Hin- und Rückflug für 238 DM. Есть попытки придать собраниям шуток и анекдотов вид словаря. Только это довольно далеко уводит от данного профиля – словник может состоять в таком случае из слов-топиков (тем острот), и считать это словарем уже едва ли возможно (ср. [Koch et al. 1997; Valence 1990]).

Словари **ПЕРИФРАЗ** пока немногочисленны (ср. [Новиков 1999; Opprower, Curlis 1984]), и в этом направлении можно многое сделать: см. соответствующую теорию [Wirth 1996; Розанова 1973]. Например, города, достопримечательности, театры, музеи, памятники, площади, улицы, знаменитые здания, парки, сады, тюрьмы, психиатрические больницы, известные ученые, писатели, деятели культуры, национальности и народности имеют шутливые названия, прозвища, замены разного характера – *город Петра, Северная Пальмира*; тюрьмы – *Кресты* (СПб.), *Бутырки, Таганка* (Москва); "*Птичка*" (рынок животных в Москве); *Канатчикова дача* (сумасшедший дом в старой Москве); *Elbflorenz* (Дрезден); *Kreml* (здание СЕПГ в Потсдаме во времена ГДР); *Kudamm* (Kurfürstendamm); *Alex* (Alexanderplatz); *Krautfresser* – презрит. о русском, *der Iwan* – русский (солдат) и т.п.

Нет словарей отдельных **СТИЛИСТИЧЕСКИХ** пластов: поэтизмов, возвышенной и торжественной лексики, книжно-письменной (bildungssprachlich), манерной (gespreizt) или сопоставленности разных слоев (например, официального, высокого, разговорного, фамильярного и сильно сниженного: *Antlitz – Gesicht – Visage, Gemach – Raum – Bude* – "Stall"), как это предложили Л.Н. Дзекиревская и Е.Ф. Тарасов [Дзекиревская, Тарасов, 1970]. Приятным исключением является словарь возвышенной лексики немецкого языка А.П. Ялышевой [Ялышева 1994]. Трехслойная медицинская лексика (латинский термин, его немецкое стилистически нейтральное соответствие и принятое в народной медицине или обиходном языке название), например, могла бы дать интересный материал терминов и профлексики, с подключением жаргонизмов, в их сопоставлении.

Трагично отсутствие русского **РАЗГОВОРНОГО** словаря. Опыт составления русско-немецкого разговорного словаря З. Кёстер и Е. Ром (Мюнхен, 1985) оказался неудачным[3]. Пока появились только словари субстандартизмов самого глубокого "дна" русской лексики.

Хотя **СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ** словари представлены как для немецкого, так и для русского языка, достаточно разнообразно, можно все-таки отметить отсутствие словарей словообразовательных элементов для разных стилистических регистров, для отдельных частей речи, для отдельных отраслей знания (например, медицинских, химических, технических), для отдельных словообразовательных моделей, например, лексикон диминутивов или слов с приставкой *ver-*, или с суффиксом *-ка* и т.п.[4]. Словари стилистической окраски морфем, их этимологии, полисемии, словари уникальных морфем, идиоматических производных, разнообразных композитов, "обратного" словообразования (при котором морфологически более простые формы оказываются производными от более сложных: *дояр* < *доярка*; *зонт* < *зонтик*; нем. *Sanftmut* < *sanftmütig*), конверсий (субстантиваций, вербализаций, адвербиализаций) и т.п.

Серьезным тормозом в создании словарей оказываются всевозможные промежуточные категории. В их числе трудность решения, отнести ли уменьшительные образования к словообразованию или к словоизменению. Например, парадоксом диминутивов (см. [Девкин 1992]) можно считать употребление в разговорной речи слов точно отмеренного количества в уменьшительной форме: *годик, часик, неделька, килограммчик, сантиметрик* и т.п. Имеют ли они право на словарное существование? Несмотря на бесспорную продуктивность и регулярность словообразовательной модели, они слишком ситуативны в своем конкретном проявлении и связаны с определенной социальной средой, скованы в своем распространении. Пока этот вопрос остается открытым.

По ходу изложения было видно, что недоделки лексикографии в одних случаях вызывались рутинностью и шаблонностью, отсутствием должного мастерства лексиконопроизводства, а с другой, спецификой и подчас просто сопротивлением самого лексического материала. Многие оттенки полифункциональности диминутивов почти невозможно воспроизвести в словаре. Возьмем для примера слово *студентик*: Лифт не работает, бедные *студентики* своим ходом поднимаются на 16-й этаж // Я скоро освобожусь – три *студентика* осталось проэкзаменовать // Какой-то там *студентик* с первого курса будет нас учить, как лабораторную работу проводить нужно! Сочувствие, преуменьшение количества, пренебрежение возникают в определенных коммуникативных условиях, предусмотреть которые в рамках словарной статьи затруднительно. К тому же зачастую оказывающаяся окказиональной сама уменьшительная форма вызывает сомнение: стоит ли ее помещать в словник? Когда уменьшительность усиливает степень признака (человек он *поганенький*) или снижает степень обидности (*косонький, хроменькая, рыженькая*), диминутивность обычно остается за бортом словаря. Не случайно, что словари ограничиваются упоминанием возможной диминутивной формы без какой бы то ни было семантической характеристики. Не фиксируются в словарях диминутивы экстраординарности: das war ein *Donnerchen*!; nein, diese *Kürvchen*! (im Hochgebirge); *голосок*!!! (зычный); ничего себе *подачка*! (подача мяча)!

Ставшее сейчас обычным невнимание к **ИСТОРИИ** языка не могло не сказаться на лексикографии – исторические словари оказались отодвинутыми на задний план.

Для русского языка, например, нет специальных словарей заимствований, составленных по **языку источника**, как это имеет место для немецкого языка.

---

[3] Рецензию см. в сборнике "Вопросы функциональной лексикологии". МГПИ им. Ленина. М., 1987.

[4] Как ни странно, даже некоторые дериватологи не видят необходимости фиксации максимально полного комплекта производных каждого словообразовательного образца.

Ни для русского, ни для немецкого языка нет словарей **ОБРАТНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ**. Это явление, когда слово заимствуется в другой язык, там преображается и в измененном виде возвращается на родину. Например, *быстро* стало во Франции обозначать закусочную, буфет (*bistro*) и в этом значении снова попало в Россию, пополнив гипонимический ряд: *закусочная, забегаловка, ресторанчик* и т.п.

В сложном процессе модернизации языка важно установить слои неологизмов, обозначающих новые явления и переименовывающих известные, старые (ср. [Wehler 1975; Zimmer 1998; Hellmann 1992]). Очень необходим словарь **МОДНЫХ** слов. Только при замедленном изготовлении словарей есть опасение, что он выйдет, когда его материал уже в какой-то степени устареет (ср. [Horx 1994/1995; Lockart 1998]). Нет словаря **УСТАРЕВАЮЩИХ** слов (не архаизмов, а слов вышедших и выходящих(!) из активного употребления).

При общем катастрофическом падении духовной культуры было бы отнюдь не лишне посвятить словари таким темам, как "Активизация уголовной лексики в языке" (так называемой "дезарготизации" и "нейтрализации сниженности"). Если воровской, тюремной и даже обсценной лексике в последние годы были посвящены многие словари, то ее роль в языке обыденном, общем, далеком от условий преступного мира, выявлена (и особенно словарно) пока недостаточно.

В исследовании русского языка существует давняя, ведущая свое начало еще от В.И. Даля и А.А. Шахматова традиция уважительного отношения к языку, создаваемому народом. М.И. Глинка говорил о музыке, что ее творит народ, а композиторы ее только аранжируют. Это безусловно правильно. Когда же, однако, дескриптивная лингвистика уходит от каких бы то ни было оценок и критики положения в языке, перекладывая заботу о норме на специальную отрасль – культуру речи, это трудно принять. Идеи совершенства и чистоты языка должны, по нашему убеждению, пронизывать любое описание его строя. В этой связи нельзя не выразить несогласия с господствующей в русистике позицией толерантности по отношению к сниженности лексики. Не умея бороться со злом (это при современных средствах массовой коммуникации!), теоретики спокойно устраняются, считают неправильной нормализаторскую позицию и предпочитают просто инвентаризировать стихийно возникшие "номинативные безобразия" [ср. коллективную монографию о русском языке конца XX столетия (1985–1995) – отв. ред. Е.А. Земская, М., (1996); Большой толковый словарь русского языка – гл. ред. С.А. Кузнецов, СПб. (1998)].

Ортологический (нормативный) аспект довольно полно представлен серией словарей трудностей, культуры речи, спорных и сомнительных вариантов употреблений (например, Дуден 9). Особенно в интересах культуры речи был бы необходим словарь введения в узус того, что прежде считалось **ошибкой**, к примеру, такого порядка, как мода *двадцатых* (годов), *чувствовать* (себя) хорошо; большинство *ушли*; в Одинцо*во*; из Орехово-Зуе*во*; *попасть как кур во щи* (в ощип); unter aller *Kanone* (Sub omni canone); снятие табуированности сильно сниженных слов (*мандраж, бардак* – беспорядок, "*блин!*").

В реальной речи, как известно, звуковой облик слова сильно преображается – происходят разного рода редукции, стяжения, всякие деформации. Представляется целесообразным составить словари разговорно звучащих слов (словоформ) хотя бы для самых типичных и частотных случаев.

Русск.	Нем.
столько – стока	*haben – ham*
сколько – скока	*glauben – glaum*
где – де	*herauf – rauf*
говорит – грит	*ist – is*
человек – чэк	*guten Tag – ntak*
вообще – ваще	*Entschuldigung – tschulgn*

Павловна – Пална *hast du? – haste?*
хорошо – хашо *mit dem – mim*
кажется – каэца

К этому присоединяются другие речевые отступления от эталона: замены долгого гласного кратким (*Glas, Zug, grob, Betrug, Rad*), французского *ж – sch*, назализованных гласных – *ng* и т.д. Предложение втиснуть в словарь то, о чем писали С.М. Гайдучик [Гайдучик 1973], В.В. Лашкова [Лашкова 1989], Г.А. Баринова [Баринова 1973], Л.В. Златоустова [Златоустова 1962] и др., может показаться крамольным, поскольку речевые модификации фонетической формы очень разнообразны и мало подходят для лексикографирования. Тем не менее, самое важное для расшифровки слушателем (особенно иностранцем) можно было бы подготовить и подать должным образом в словаре.

В Институте немецкого языка (Маннгейм, ФРГ) трудятся над созданием словарей **НЕОЛОГИЗМОВ** (Д. Херберг, М. Хеллман, Г. Харрас, У. Хаас, Г. Штраусс и др.). Ср. также Trendwörter М. Хоркса 1995; Словари новых слов русского языка (1950–1980) (ред. Н.З. Котелова, 1995); Толковый словарь русского языка конца XX в. (ред. Г.Н. Скляревская, 1998) и ряд др. менее известных словарей. Несмотря на их весьма внушительный, объемный материал, они все еще далеки от комплексной фиксации лексических новшеств последних лет. Новые слова приходят в язык 1) вместе с новыми вещами и понятиями и 2) как **переименования** уже известного, существующего. Как ни странно, очень важной проблеме обновления названия старого денотата не уделяется должного внимания ни в словарях, ни в теории.

Еще одно положение уже почти из области фантастики – словари "**НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ СЛОВ**", вернее, вполне сложившихся, важных понятий, для которых пока нет простых номинаций. Язык – гибкое устройство. Описательно, средствами словосочетаний, перифраз и даже пространного описания всегда можно для выражения мысли выйти из положения, однако компактная, практичная номинация куда как удобнее, если она не грешит против точности. Ср. трудности в других языках по подбору соответствий русским словам: *сутки, кипяток, родной*, или нем.: *Lokal, ausgehen, Verein, Handwerker*, которые не имеют прямых параллелей в русском языке.

Примеры компенсации безэквивалентности, вокруг которой вращается все переводоведение, конечно, содержатся в хороших двуязычных словарях, но обобщение их приемов в лексикографической презентации было бы в практическом отношении очень полезно.

В статье В.Д. Девкина «О "несерьезных" словарях» [Девкин 1999] между прочим содержится материал, дающий пищу для поиска не осуществленных в русской лексикографии словарей по примеру немецких.

В связи с поставленной темой возникает вопрос незаслуженного забвения малоизвестных, локальных изданий словарей, а также словарных приложений к диссертациям, не имеющих выхода в широкую аудиторию.

Затронутая здесь проблематика безбрежна и никак не претендует на полноту, но если она будет содействовать расширению ассортимента словарей, автор сочтет свою задачу выполненной. Предложенная добрая сотня типов новых словарей могла бы быть значительно расширена. Работы преданным словарному делу труженикам больше, чем достаточно.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Акишина А.А. и др. 1991 – Акишина А.А., Кано Х., Акишина Т.Е. Жесты и мимика в русской речи. Лингвострановедческий словарь. М., 1991.

Александров Н.М. и др. 1966 – Александров Н.М., Каплан А.Л., Орловская Т.И., Путилина Г.Н. Лексика немецкого языка (по общественно-политическим и бытовым темам). Пособие для студентов пед. инст. М.; Л., 1966.

Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. 1991 – Русская политическая метафора (материалы к словарю). М., 1991.

Баринова Г.А. 1973 – Фонетика // Русская разговорная речь / Отв. ред. Е.А. Земская. М., 1973.
Бижженова А.Е. 1990 – Имена собственные, перешедшие в нарицательные слова в современном немецком языке. Целиноград, 1990.
Братусь Б.В. и др. 1979 – Братусь Б.В., Братусь И.Б., Данциг Е.А., Матвеева В.М., Тимина С.И., Эйнтрей Г.И. Словосочетания русского языка. Учебн. словарь для говорящих на немецком языке. М., 1979.
Волина В.В. 1996 – Откуда пришли слова. Занимательный этимологический словарь. М., 1996.
Воробьев Ю.А. 1994 – Лексика немецкого языка в культурологическом аспекте (опыт лексикологического описания на материале тематической группы "Пища"): Дис .... канд. филол. наук. М., 1994.
Гайдучик С.М. 1973 – Фоностилистический аспект устной речи: Дис. ... док. филол. наук. Л., 1973.
Гак В.Г. 1998 – Языковые преобразования. М., 1998.
Горбачевич К.С., Хабло Е.П. 1979 – Словарь эпитетов русского литературного языка. М., 1979.
Девкин В.Д. 1992 – Курьезы диминутивов // Сб. "Лексика и лексикография". Вып. 3. М., 1992.
Девкин В.Д. 1999 – О "несерьезных" словарях // Сб. "Лексика и лексикография". Вып. 10. М., 1999.
Дзекиревская Л.Н., Тарасов Е.Ф. 1970 – Словарь семантико-экспрессивных стилистических синонимов современного немецкого языка / Ред. Г.М. Стрелковский. М., ВИИЯ, 1970.
Ефимова О.С. 1997 – Явление "ПСЕВДО" в современном немецком языке: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1997.
Заверюха И.Н. 2000 – Имена собственные в немецкой разговорной речи: Дис. ... канд. филол. наук. М., 2000.
Златоустова Л.В. 1962 – Структура слова в потоке речи. Казань, 1962.
Зубарев Г.П. 1978 – Метонимические отношения в лексике современного немецкого языка: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1978.
Киселева К., Пайар Д. (*ред.*). 1998 – Дискурсивные слова русского языка: опыт контекстно-семантического описания. М., 1998.
Киселева Н.М. 1997 – Метафоры современной немецкой разговорной речи: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1997.
Колесников Н.П. 1995 – Словарь имен нарицательных, образованных от имен собственных // Введенская Л.А., Колесников Н.П. От названий к именам. Ростов-на-Дону, 1995.
Копорская Е.С. 1995 – Семантическая природа звукоподражательных слов и их словарное представление // Филологический сборник (к 100-летию со дня рождения акад. В.В. Виноградова). М., 1995.
Лашкова В.В. 1989 – Редукция и стяжение звуков в немецкой разговорной речи. Дис. ... канд. филол. наук. М., 1989.
Маковский М.М. 1996 – Язык – миф – культура. Символы жизни и жизнь символов. М., 1996.
Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. 1998 – Толковый словарь языка совдепии. СПб., 1998.
Новиков А.Б. 1999 – Словарь перифраз русского языка (на материале газетной публицистики). М., 1999.
Норман Б.Ю. 1987 – Язык: знакомый незнакомец. Минск, 1987.
Павлович Н.В. 1995 – Словарь поэтических образов: В 2-х томах. М., 1999.
Розанова Г.З. 1973 – Перифраз в прессе ГДР и ФРГ и его функционирование: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1973.
Санников В.З. 1999 – Русский язык в зеркале языковой игры. М., 1999.
Скиба Я.В. 1997 – Отражение комизма слова в словарях немецкого языка (на материале имени существительного): Дис. ... канд. филол. наук. М., 1997.
Словарь новых слов русского языка (1950–1980) / Ред. Н.З. Котелова. СПб., 1995.
Сл. образн. выражений... 1995 – Словарь образных выражений русского языка / Под ред. В.Н. Телия. М., 1995.
Сл. структ. слов 1997 – Словарь структурных слов / Под ред. проф. В.В. Морковкина. М., 1997.
Толковый словарь русского языка конца XX в. 1998 / Гл. ред. Г.Н. Скляревская. СПб., 1998.

Учебн. словарь сочет. слов русск. яз. 1978 / Под ред. П.Н. Денисова, В.В. Морковкина. М., 1978.
Шведова Н.Ю. (Ред.). 1999 – Русский семантический словарь: В 6-ти томах. Т. 1. М., 1999.
Ялышева А.П. 1994 – Лексика высокого стилистического слоя в современном немецком языке. Словарь. Саранск, 1994.
Agricola E. 1992 – Wörter und Wendugen. Wörterbuch zum deutschen Sprachgebrauch. 14. Aufl. Dudenverlag, 1992.
Brugger H.P. 1993 – Der treffende Vergleich. Basel, 1993.
Buscha J. 1989 – Lexikon deutscher Konjunktionen. Leipzig, 1989.
Friedrichs G. 1989 – Hätten Sie's gewusst? München, 1989.
Grimm H.J. 1987 – Lexikon zum Artikelgebrauch. Leipzig, 1987.
Helbig G. 1988 – Lexikon deutscher Modalwörter. Leipzig, 1988.
Helbig G., Helbig A. 1990 – Lexikon deutscher Modalwörter. Leipzig, 1990.
Helbig G., Schenkel W. 1973 – Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben. Leipzig, 1973.
Hellmann M.W. 1992 – Wörter und Wortgebrauch in Ost und West. Tübingen, 1992. Bd. I–III.
Holder R.W. 1995 – A Dictionary of Euphemisms. Oxford, 1995.
Horx M. 1994/1995 – Trendwörter von Acid bis Zippies. Düsseldorf, 1994/1995.
Koch P. et al. 1997 – Koch P., Krefeld Th., Oesterreicher W. Neues aus Sankt Eiermark. Das kleine Buch der Sprachwitze. München, 1997.
Koerfer A. 1994 – Institutionelle Kommunikation. Opladen, 1994.
Küpper H. 1987 – Deutsch zum Anfassen. Moderne Redewendungen von "Abseilen" bis "Zoff". Wiesbaden, 1987.
Lockart S. 1998 – Das neue Trendlexikon. Das Buch der neuen Wörter. Bertelsmann, 1998.
Lodige H. 1998 – Ketchup, Jeans und Haribo. Die besten Rätsel unserer Sprache. Ullstein, 1998.
Mater E. 1966–1972 – Deutsche Verben. Leipzig, 10 Lieferungen, 1966–1972.
Mieder W. 1985 – Antisprichwörter // Gesellschaft für dt. Sprache. Wiesbaden, Bd. III. 1985.
Muthmann G. 1994 – Doppelformen in der deutschen Sprache der Gegenwart // RGL. 145. Tübingen, 1994.
Opprower R., Curlis P. 1984 – Im Spitznamen des Volkes. Berliner Bauten mit Spreewasser getauft. Berlin, 1984.
Ripfel M. 1989 – Wörterbuchkritik. Lexicographica. Ser. Major 29. Niemeyer, 1989.
Schröder I. 1986 – Lexikon deutscher Präpositionen. Leipzig, 1986.
Schwarz A.A., Schweppe R.P. 1998 – Das Lexikon der Körpersprache. Rastatt, 1998.
Sommerfeldt K.-E., Schreiber H. 1974 – Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Adjektive. Leipzig, 1974.
Sommerfeldt K.-E., Schreiber H. 1977 – Wörterbuch der Valenz und Distribution der Substantive. Leipzig, 1977.
Sprichwörter zum Selberbasteln 1995 – Morgenstund ist aller Laster Anfang. Sprichwörter zum Selberbasteln / Zusammengetragen von G. Lux. Berlin. Eulenspiegel, 1995.
Stiberc A. 1999 – Sauerkraut, Weltschmerz, Kindergarten u.Co. Herder, Spektrum, 1999.
Tannen D. 1994–1996 – Andere Worte, andere Welten. Kommunikation zwischen Frauen und Männern, Campus Verlag. 1994–1996.
Valence T. 1990 – Noch mehr Witze. Weitere 3x1000 Sachen zum Lachen & Weiterezählen. München, 1990.
Vasilyeva A.N. 1972 – Particles in colloquial Russian. Moscow, 1972.
Weber H.J., 1996 – Homographen–Wörterbuch der deutschen Sprache. de Gruyter, 1996.
Wehler H.U. 1975 – Modernisierungstheorie und Geschichte. Göttingen, 1975.
Weigel H. 1976 – Die Leiden der jungen Wörter. München, 1976.
Wiegand H. 1998 – Wörterbuchforschung: I. Teilband – Untersuchungen zur Wörterbuchbenutzung, zur Theorie, Geschichte, Kritik und Automatisierung der Lexikographie. de Gruyter, 1998.
Wirth D. 1996 – Paraphrase. Linguistische Arbeiten 354. 1996.
Wörterbücher 1989–1991 – Ein internationales Handbuch zur Lexikographie: HSK (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft) Bd. 5/1; 5/2; 5/3 / Hrsg. F.J. Hausmann u.a. de Gruyter. 1989–1991.
Zimmer D.E. 1998 – Deutsch und anders – die Sprache im Modernisierungsfieber. Hamburg. 1998.

№ 1 2001

© 2001 г. Г.П. НЕЩИМЕНКО

ДИНАМИКА РЕЧЕВОГО СТАНДАРТА СОВРЕМЕННОЙ ПУБЛИЧНОЙ ВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

В статье рассматриваются некоторые особенности узуса современной публичной коммуникации, существенные для оценки состояния и возможных перспектив развития речевой культуры, а также для анализа этнической языковой ситуации в целом.

Наш интерес к изучению узуса именно этого вида общения не случаен. Благодаря использованию средств массовой информации (далее – СМИ), прежде всего электронных, данная коммуникативная сфера во второй половине столетия заняла главенствующее положение в системе этнической коммуникации, оказывая влияние на формирование стереотипов публичного речевого поведения.

Узус СМИ представляет собой весьма динамичный объект исследования. Он наглядно отражает движение языковой материи, а также новые тенденции в развитии языковой ситуации, чутко реагирует на изменение социальных и генерационных пропорций в обществе, на прогресс в научно-техническом оснащении информационно-коммуникативных контактов как во внутриэтническом, так и межэтническом пространстве. Вместе с тем нельзя не отметить внутренней противоречивости языка СМИ, одновременно сочетающего в себе такие противоположные качества как динамичность и консерватизм, эталонность и зависимость от речевых приоритетов своего времени, в том числе и от различного рода модных пристрастий. Столкновение противоположных тенденций обусловливает, с одной стороны, некоторую лабильность узуса СМИ; с другой, является мощным импульсом в развитии языкового обеспечения данного вида общеэтнического общения.

Доминирующую роль в языковом обеспечении публичной коммуникации традиционно играет литературный язык (в письменной и устной его реализации), что не только поддерживается регламентирующими установками языковой политики, но и соответствует устойчивым представлениям индивидуума о речевом этикете. По всем своим параметрам этот идиом оптимально соответствует коммуникативной норме данной сферы общения (высшие коммуникативные функции), так как он является единственной **общеэтнической** языковой манифестацией, способной не только обеспечивать коммуникацию в рамках этноса в целом, но и выполнять при этом важнейшие цивилизационные и этнорепрезентативные функции. Литературный язык является и единственной "рукотворной" экзистенциальной формой этнического языка, поскольку всеми своими неоспоримыми достоинствами (стабильная норма, полифункциональность, высокая степень престижности, развернутая терминологическая номенклатура и пр.) он обязан целенаправленной деятельности многих поколений кодификаторов.

По характеру построения текста публичная этническая коммуникация принадлежит к сфере **регулируемого** речевого поведения. Это означает, что отбор используемых языковых средств здесь происходит (во всяком случае так должно было бы быть!) не произвольно, а корректируется действием соответствующих регуляторов. К числу последних относятся как **внешняя** языковая цензура, осуществляемая редакторами, стилистами и пр., так и прежде всего **автоцензура**, отражающая вполне определенную коммуникативную стратегию индивидуума, его самоконтроль за своим речевым пове-

дением (более подробно по поводу оппозиции "регулируемое – нерегулируемое речевое поведение" см. [Нещименко 1999а]). От соотношения обоих видов языковой коррекции, их удельного веса во многом зависит, как будет показано ниже, направленность эволюции речевого стандарта в СМИ.

Целью языкового регулирования является не только соблюдение ныне действующей литературной нормы. Принципиальное значение имеет и то, чтобы транслируемые в рамках диапазона вещания СМИ коммуникаты были доступны для восприятия социума в целом, т.е. как по существу содержащейся в них информации, так и по своему вербальному воплощению они должны соответствовать активной или же хотя бы пассивной языковой компетенции основной массы членов этнического коллектива.

Анализируя узус публичной коммуникации второй половины столетия, нельзя не заметить очевидного снижения (resp. "усреднения", "массовизации", "огрубления") речевого стандарта, сопровождаемого активным вторжением элементов разговорного языка. Поскольку проблема усиления влияния разговорного языка на литературный не выпадает из поля зрения исследователей (сошлемся хотя бы на две новейшие коллективные монографии по русистике [Русск. яз. конца XX столетия 1996; Русск. яз. 1997], мы сочли целесообразным поставить перед собой несколько иные задачи, суть которых заключалась в установлении причин, обусловливающих смену речевого этикета в современных медиальных средствах и в публичной коммуникации вообще, масштабов влияния разговорного языка, социолингвистического статуса востребуемых разговорных манифестаций, адекватности используемых разговорных включений коммуникативному стандарту конкретной ситуации общения и т.п. Соответственно нас интересовала и более общая проблема: как следует оценивать происходящую эволюцию речевого стандарта в языке СМИ? Иными словами, идет ли речь о кризисе современной речевой культуры или же о закономерно обусловленной тенденции, имеющей свою реальную историческую перспективу?

Рассмотрению этих контурно обозначенных целей подчинен и приводимый в работе иллюстративный материал, извлекавшийся, главным образом, из узуса современной русскоязычной публичной коммуникации (из соображений экономии места он сокращен до минимума).

Полагая, что для решения поставленных исследовательских задач окажется полезным привлечение фактов других языков, мы использовали имеющиеся у нас данные чешского языка, поскольку в нем дифференциация разговорной и литературной норм выражена более отчетливо, соответственно и переключение стилевого регистра является более заметным.

В этой связи не можем не отметить перспективность применения **сопоставительного** метода для оптимального решения интересующих нас проблем. Дело в том, что, как показало проведенное исследование, снижение речевого стандарта в современной публичной коммуникации наблюдается не только в русском языке. Подобная тенденция прослеживается и в большинстве языков мира (см. по этому поводу [Никольский 2000: 201]), т.е. можно утверждать, что в данном конкретном фрагменте этнической коммуникации наблюдаются **конвергентные** тенденции, выходящие за рамки какого-то одного региона и являющиеся специфической приметой языкового развития современной цивилизации вообще.

Сходство общей направленности процесса, разумеется, не исключает различий в скорости его протекания в разных языках, в масштабности наблюдаемых изменений речевого стандарта, в характере используемых манифестаций разговорного языка и пр. Нельзя не учитывать и того, что наличие конвергентных тенденций еще не означает полного тождества в вербальной реализации экстралингвистических импульсов, поскольку это зависит не только от естественных "ограничителей", заложенных в языковой системе, но и от специфики конкретной языковой ситуации.

Введение сопоставительного фона делает глаз исследователя не только более зорким, оно облегчает выявление общих закономерностей эволюции речевого стандарта, позволяет проследить (в силу неравномерности темпа языкового развития) раз-

личные фазы протекания процесса в тех или иных языках. Более очевидной становится и избирательность в востребовании конкретных разговорных манифестаций, взаимосвязь между конкретной языковой ситуацией и направленностью динамики речевых норм. Особенно эффективным является сопоставительное изучение близкородственных языков, так как оно обнаруживает не только лежащие на поверхности сходства и различия, но и глубинные системно-функциональные закономерности и универсалии.

Подчеркнем, что, говоря о сопоставительном изучении, мы имеем в виду не только **межъязыковое** сопоставление. Интересным и результативным является и **внутриязыковое** сопоставление (подробнее о внутриязыковом и межъязыковом сопоставлении см. [Нещименко 1983]), позволяющее проследить как диахроническую эволюцию речевых стандартов, так и их синхронную динамику.

Для эволюции речевого стандарта публичной коммуникации второй половины нашего столетия особое значение имели следующие два фактора:

а) произошедшая смена нормативной основы литературного языка, выразившаяся в утрате языком произведений художественной литературы своей нормотворческой значимости;

б) предпочтительное использование в сфере публичной коммуникации **устных** каналов коммуникативной связи.

Как известно, в первой половине XX в. нормотворческую функцию выполняли тексты произведений художественной литературы. Не случайно, и при периодизации литературного языка, как правило, принимался во внимание характер того или иного художественного направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм и т.п. – см. [Виноградов 1938]) или же узус наиболее выдающихся писателей своей эпохи (ср. постулаты теории так называемого "хорошего автора", изложенные, в частности, чешским ученым В. Эртлом [Ertl 1929: 50]). Примечательно, что и язык прессы, особенно на начальных этапах ее формирования, например в середине XIX в., когда еще не сформировался публицистический стиль, во многом характеризовался беллетристичностью, т.е. еще не произошло его отделение от языка художественной литературы.

К концу столетия язык художественной литературы утрачивает нормотворческую значимость. Восприемником этой функции становится язык медиальных средств, причем прежде всего СМИ **устных**[1].

Смещение нормотворческого акцента с эксклюзивных художественных текстов на язык СМИ во многом было предопределено различием их целевой установки: задачей художественного произведения является прежде всего эстетическое **самовыражение** личности, творца, а отнюдь не ориентированность на **массового** читателя. Реализации этого замысла в конечном итоге подчинен и отбор используемых выразительных средств. По мнению М.М. Бахтина, "автора, героя и слушателя мы все время берем не вне художественного события, а лишь поскольку они входят в самое восприятие художественного произведения, поскольку они являются необходимыми составными моментами его… Мы берем… только того слушателя, который учитывается самим автором, по отношению к которому ориентируется произведение и который поэтому внутренне определяет его структуру, – но отнюдь не ту действительную публику, которая фактически оказалась читательской массой данного писателя… если этот сознательный учет публики займет сколько-нибудь серьезное место в творчестве поэта, – оно неизбежно утратит свою художественную чистоту и деградирует в низший социальный план" [Волошинов (М.М. Бахтин) 1995: 22–26].

Не будет преувеличением сказать, что автору художественного произведения в определенном смысле безразлично, найдет ли его "детище" своего почитателя, либо, напротив, выпав из культурного контекста эпохи, оно станет достоянием лишь буду-

---

[1] Факт ослабления нормотворческой роли художественных текстов отмечает, например, чешский ученый А. Едличка. По его мнению, в современных литературных языках центральную роль начинает играть язык научно-популярной литературы и публицистики, причем не только письменной, но и устной [Jedlička 1974: 61 и далее].

щих поколений. Очевидно, есть свой резон в выведении языка произведений художественной литературы за рамки стратификации национального языка, как это предлагает сделать словацкий ученый Я. Горецкий[2].

В отличие от художественного творчества медиальные средства, напротив, ориентированы на **массовую** аудиторию, на создание единого **общеэтнического** коммуникативного и культурного пространства. Именно эта задача во второй половине столетия приобрела не только особую актуальность, но и стала реально осуществимой благодаря достижениям научно-технического прогресса.

Для осуществления этой цели было необходимым, как уже отмечалось, чтобы вербальная оболочка текстов СМИ была доступна массовой аудитории, т.е. максимально приближена к ее речевому узусу (к этому вопросу мы еще вернемся ниже). Сказанное сопряжено с "усреднением", "массовизацией" речевого стандарта СМИ, подбором "общедоступных", общепонятных языковых средств. Не следует, впрочем, забывать и об обратной связи, в соответствии с которой адресат воспринимает "усредненный" узус СМИ как образец речевого этикета, эталон, которому надлежит следовать.

Так или иначе, к концу XX в. язык СМИ со всеми своими достоинствами и недостатками, хотим мы того или нет, становится **эталонным**, нормотворческим фактором, влияющим на формирование нормы современного литературного языка, а также на уровень этнической языковой культуры в целом. Вместе с тем, исследуя узус публичной вербальной коммуникации конца XX в. и особенно язык СМИ, нельзя не заметить, что характер и направленность наблюдаемых здесь изменений довольно часто расходятся с традиционными представлениями о норме речевого поведения в сфере **репрезентативного** языкового употребления. Обращает на себя внимание в частности массированное "вторжение" разговорной стихии в самой различной ее реализации[3], причем наибольшую активность проявляют сленговые манифестации разговорного языка. Результатом этого вторжения является снижение языковой планки текста, уменьшение его пафосности[4] и, напротив, возрастание экспрессивности, усиление "личностного" начала.

---

[2] В составе национального языка Я. Горецкий отводит языку художественной литературы особое, автономное, место. Он противопоставляет ему такие формы существования национального языка как литературная, стандартная, субстандартная, диалектная. Выводя за пределы стратификации национального языка язык художественной литературы, он определяет последний как "очень специфическую, трудно вычленяемую форму существования национального языка, имеющую вместе с тем чрезвычайно важное значение. В языке художественной литературы используются выразительные средства всех форм национального языка, в том числе и общенациональных. Правда, используются они в олитературенном виде" [Horecký 1981: 119].

[3] В соответствии с нашей точкой зрения, изложенной в ряде работ (см. прежде всего [Нещименко 1985; 1988; 1994; 1999а]) разговорный язык имеет множественную манифестацию. В состав этого функционального массива, обеспечивающего непринужденное повседневное общение, наряду с интегрированными экзистенциональными формами типа региональных интердиалектов, городской речи, общеэтнического субстандарта, находящегося в стадии постепенного конституирования, входят и идиомы, детерминированные по территориальному, социальному, возрастному, профессиональному признаку.

[4] В чешском языке снижение "пафосности" затрагивает, например, и такие специфические тексты, традиционно относимые к "высокому стилю", как язык проповедей в костеле. Так, священник, стремясь установить доверительные отношения с прихожанами, прибегает к разговорным включениям (в чешском языке они особенно заметны благодаря значительным нормативным отличиям между разговорной и литературной речью). Проиллюстрируем сказанное примерами: ***Tuhle jedna paní*** *říkala...,* ***Willzoňák*** вм. *Willzonovo nádraží;* ***velikánský*** и т.д. (храм св. Якуба в Праге, 1990 г.); *prošli obrovský**ma** zkouška**ma** a překážka**ma**; to je **úžasné; senzačně*** и т.д. (там же в 1995 г., в проповеди об Иоанне Крестителе); *za nejtěžší totality* ***neměl ani vindru*** *v kapse; s estebá**kama**; režim se ho snažil* ***skomandovat****; nevěděli o jeho* ***kumštu;*** *byl tak svázán se svým* ***kumštem****, na* ***kerý...*** (там же, 1998 г. – рассказ священника о бескорыстном поступке художника Индржиха, изготовившего для храма крест) и др.

Отход от привычных стереотипов речевого поведения в публичной коммуникации зачастую воспринимается болезненно, причем не только лингвистами, но и обычными носителями этнического языка[5]. Подтверждением служит, например, повышенная эмоциональность возникающих по этому поводу дискуссий, в ходе которых нередко высказываются весьма категоричные, а порой и предвзятые суждения, в том числе и призывы вернуться к прежней ориентации литературной нормы на язык классической художественной литературы (впрочем, не ясно, какие литературные произведения в настоящее время могут рассматриваться как классические).

Несовпадение норм публичного речевого поведения особенно заметно у представителей различных генераций носителей этнического языка, сосуществующих в рамках одного и того же синхронного среза. Проиллюстрируем это на примере проводившихся нами наблюдений за речевым поведением двух ведущих радиостанции "Эхо Москвы" (1999–2000 гг.), участвующих в цикле диалоговых передач об истории классической музыки (творчество Ф. Листа, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, М. Мусоргского, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова). Подчеркнем, что оба собеседника имеют не только высокий уровень профессиональной и языковой компетенции, но и равную осведомленность о предмете разговора. Иными словами, полностью соблюдено главное правило сопоставления – наличие сходного "основания для сравнения – tertium comparationis". Практически единственное отличие участников диалога заключается в их возрасте: **А**. – принадлежит к старшему поколению; **В**. – к относительно молодому.

В речи **А**. сленгизмы и современные клише встречаются значительно реже, лишь эпизодически проскальзывают такие высказывания, как *эта ария стала **хитом, шлягером** своего времени; иначе мы уйдем в **другую**, неприятную мне **степь**; Аполлон Григорьев не мог владеть нашей политической **феней**. Чайковский, извините* (подчеркнуто нами. – *Г.Н.*), ***знал себе цену*** и пр. Примечательно, что в речи **А**. представлены и сложные прилагательные, особенно активизировавшиеся в настоящее время (ср.: *В **большетеатровском** классическом исполнении; **глинковско-романсовская** музыка* и пр.)[6]. Показательно, что **А**., как правило, отрицательно реагирует на пере-

---

[5] Симптоматична следующая оценка современного узуса: «язык Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского, Чехова и даже Блока, Мандельштама, Булгакова очень скоро будет восприниматься... как нечто устаревшее и малопонятное наверняка. Кто же может в противовес злостному ящику сеять разумное, доброе, вечное на родимых просторах? Толстые литературные журналы? Они не доходят никуда дальше Дома книги на Арбате да некоторых библиотек. Книги? Но среди них сейчас столько таких, что даже родимое телевидение покажется образцом чистоты языка, изящества и вкуса. Слава Богу, что еще не повывелись другие, но, чтобы их отыскать (речь, разумеется, не идет о классике), нужен, как писали раньше, "компас в книжном море"» (НГ 27/1999).

[6] Обращает на себя внимание усиление в современном русском языке тенденции окачествления относительных прилагательных, причем нередко довольно сложной конструкции. Примечательно, что совсем недавно это было одной из специфических особенностей чешского языка, которую следовало учитывать в практике перевода при подыскании соответствующего русского эквивалента (см. [Něščimenková 1990: 268]): *hektarové výnosy – урожайность с гектара; sklizňové ztráty – потери при уборке урожая; bezztrátová přeprava – перевозки без потерь; jednooboroví studenti – студенты с одной специализацией // однопрофильные студенты; odvetná akce – акция возмездия; akční rádius – радиус действия; životní způsob – образ жизни; poslanecká sněmovna – палата депутатов; pobídkový fond – фонд поощрения; mokasínové a polobotkové modely – модели мокасин и полуботинок; studenoválečnické choutky – потуги поборников холодной войны* и пр. Как мы видим, в русском языке чешским относительным прилагательным, т.е. согласованному определению, как правило, соответствует постпозиция несогласованного определения, выраженного либо с помощью предложной конструкции, либо существительным в род. пад. Иными словами, в какой-то мере наблюдается оппозиция: синтетическая конструкция – конструкция аналитическая. Приведем примеры относительных прилагательных нового типа, зафиксиро-

насыщенность сленгизмами и клише речи своего собеседника – об этом свидетельствуют реплики типа: *Нельзя к Пушкину применять жаргон криминала и полуправительственных кругов* или *Я уже боялся, что Вы сейчас скажете: ну, все,* ***блин***.

Речь **В**. более экспрессивна, она изобилует разговорными включениями, а иногда и современными клише (в основном из молодежного сленга). Приведем выборочно примеры из разных передач: (о творчестве Ф. Листа) *стиль Листа* ***гружёный****; Лист сказал музыкантам:* ***Ребята****, давайте сыграем; У* ***парнишки*** *выступили слезы; Среди грандиозной листовской* ***лапши****; Лист* ***болтался****, как маятник; Ну, просто* ***убойная*** *музыка* (о концерте Листа. – *Г.Н.*). И тут же извиняющийся комментарий: *Извините, я не могу сказать иначе* (кстати, в этот же день на "Эхо Москвы" прозвучала реклама театральной постановки: *Это* ***убойная*** *комедия*); (о М. Мусоргском) *когда они вместе снимали* ***эту несчастную хибару****; со* ***страшной силой****; он мог сесть к роялю и* ***отчесать*** *подряд оперетту* ***от корки до корки****;* (о Ф. Шуберте) *Он* (Шуберт. – *Г.Н.*) *здесь выступает в роли* ***такого массовика-затейника****; Мы все это можем услышать в* ***натуральную величину****; Шуберт,* ***ухлестывая*** *за служанками;* (о Н. Римском-Корсакове) *дальше идет одна* ***обязаловка****; их как бы слили в* ***один флакон*** (по аналогии с рекламой: все в *одном флаконе.* ***–*** *Г.Н.); как* ***здорово маскируется****; кому Кощей Бессмертный один* ***общий товарищ начальник****, кому…*; (о П. Чайковском) *Ничего общего с этой* ***райкомовской утварью****; исполнители всегда* ***страшно заводятся****; Эта психологическая* ***ошибка****; даже через такое* ***посудно-пожарное*** *исполнение* (об исполнении Государственного симфонического оркестра. – *Г.Н.*); ***таранная*** *мощь первого концерта; Чайковский* ***довел до ума*** *свое запрещенное новшество* (о специфической комбинации звуков. – *Г.Н.*); ***стопудовый*** *квартет Чайковского; можно услышать* ***в натуральную величину***. Примечательна возникшая дискуссия между **А**. и **В**. по поводу многократного употребления **В.** (по отношению к П. Чайковскому) слова "*истерика*" (*настоящая музыкальная* ***истерика*** и пр.). Отвечая на негативную реплику **А.**, **В.** предлагает компромисс: *Назовем не* ***истерика****, а* ***смятение***. **А**. предлагает свой вариант: "*душевная истома*", на чем они в конце концов и соглашаются. Ср. также у **В**. в передаче об исполнении произведения Ф. Шопена: *когда его играют* ***народноартистским*** *образом*. Число подобных примеров может быть умножено.

ванных нами в языке русских СМИ: *Впервые его* (Доренко. – *Г.Н.*) *рейтинг превышает рейтинг "****итогового****" монополиста Евгения Киселева*. НГ. 38/1999, рец., ар. (о программе "Итоги" на НТВ); ***фанерные*** *концерты*. НГ. 39–д/1999, инт., рп. (= концерты под "фанеру", т.е. фонограмму); ***фонограммные*** *артисты*. НГ. 39-д/1999, инт., рп (= артисты, выступающие под фонограмму); *Типично* ***шестидесятнический*** *журнал*. НГ. 37-д/1999, оч., ар.; ***глобально-шапкозакидательский*** *апломб*. Мир за неделю. 3/1999, ст., ар.; *некогда преуспевающие служащие, "****белые воротнички****", наш средний класс. Ведь любая самая тяжелая и неприятная работа намного лучше "****беловоротничковой****" безработицы*. НГ. 37/1998, оч., ар.; *В ответ на этот вопрос* ***белодомовские*** *чиновники молчали*. МК. 79/1999, заметка, ар.; *Мы говорим с полковником под аккомпанемент "****градовых****" ударов по Серноводску*. НГ. 41/1999, оч., ар. (= установка "Град"); *потом будут* ***выборные*** *и праздничные каникулы*. Эхо, 1999, вед.; *А во* ***взрослосвских*** *фильмах сопереживаете своим героям?* Мир за неделю. 13/1999, инт., ар.; *Выдав в эфире часовую "нарезку" лучших "****безгалстучных****" эпизодов, г-жа Зайцева сделала всем ручкой*. НГ. 23/1999, рец., ар. (о ТВ-передаче "Без галстука"); *в силу своего* ***разведческого*** *прошлого* (о Путине. – *Г.Н.*). Версия. 1/2000, ст., ар.; *Он* (Коржаков. – *Г.Н.*) *мог подсунуть указ для подписания "****на коленке****". С этой* ***наколенной*** *практикой довольно быстро покончил Чубайс*. Мир за неделю. 1/2000, инт., рп.; *Клетка-комната на сцене, в каких томятся* ***новорусские*** *жены*. НГ. 5-д/2000, рец.; ***сетевой*** *коллега;* ***онлайновый*** *коллега;* Эхо, 2000, обзор прессы; *даже в самые* ***безмедальные*** *годы*. Эхо, 2000, спортивный комментарий и мн.др. В подобной тенденции можно усматривать проявление тенденции языковой экономии (не исключено, впрочем, и влияние английского языка).

Оценка узуса современных СМИ чаще всего колеблется в диапазоне: кризис речевой культуры – демократизация речевой культуры. И та, и другая точка зрения представляются нам спорными. Так, мы не видим оснований для чрезмерной драматизации состояния языка современных СМИ, несмотря на то, что претензии, предъявляемые к уровню их речевой культуры, во многом обоснованы, а перечень предаваемых остракизму языковых "прегрешений" настолько велик, что порой это становится "общим местом" публикаций на данную тему. На наш взгляд, корни происходящего следует искать не столько в речевой "всеядности" журналистов, сколько в условиях жизни общества в целом.

Не можем мы согласиться и с оценкой происходящих в вербальном узусе СМИ изменений как демократизации (даже если это делается с опорой на традиции Пражской лингвистической школы), тем более, если учесть, что зачастую речь идет об усиленном притоке криминальной или же "вульгарной" лексики[7].

Думается, что тезис демократизации нормы литературного языка был актуальным для первой половины XX в., когда литературный язык в силу своей **элитарности, социальной** маркированности и пр. действительно имел относительно узкий диапазон употребления, а также ограниченную социальную базу. В этих условиях соблюдение литературной нормы, четко определяемой кодификацией, могло достаточно строго корректироваться централизованной языковой политикой. Для этого имелись и соответствующие рычаги воздействия не только в виде специальных научно-исследовательских институтов, но и обширного редакторско-корректорского корпуса, разветвленной сети консультационных служб и пр. Не случайно и лингвистические исследования в своем большинстве были ориентированы на изучение именно литературного языка, через призму которого обычно рассматривались все процессы, протекающие в языковой ситуации.

Социальная база и условия функционирования литературного языка во второй половине столетия существенно изменились, в результате чего на первый план выдвинулись уже другие проблемы, соответственно и сам тезис "демократизации" уже утратил свою силу. Так, в частности возникли реальные основания для пересмотра "литературноцентристской" социолингвистической концепции (подробнее см. [Нещименко 1999а]). Возросло осознание невозможности универсального использования литературного языка во всем спектре этнической коммуникации. Ср. например, интервью, данное радиостанции "Эхо Москвы" (1999 г.) главным редактором популярного детского и молодежного киножурнала "Ералаш" Б. Грачевским. (Ведущий): *Ваши герои говорят на литературном языке*? – (Б. Грачевский): *Ну, нет. На* ***нормальном****, иначе они были бы чужими* (выделено нами. – *Г.Н.*)[8]. Очевидным стало наличие диспропор-

---

[7] Об усилении притока вульгарной лексики в современном чешском языке пишет например, Ф. Данеш во введении к книге "Чешский язык на рубеже тысячелетия" [Daneš a kol. 1997: 18].

[8] Приведем для сравнения оценку современной чешской молодежью сферы употребления чешского литературного языка (анкетирование проводилось среди учащихся профессионально-технического училища; перевод наш. – *Г.Н.*): "Это язык, которым пользуются, главным образом, люди наверху, например в суде, в правительстве, президент и т.д."; "Мы пользуемся литературным языком на занятиях стилистикой, литературой, поэзией. Очень редко – в обычном разговоре. Чаще всего его употребляют поэты, писатели, учителя, используется он и в средствах массовой информации. Это приличный язык... Я же редко пользуюсь литературным языком, разве что на занятиях чешским языком, т.е. в школе. Иногда в обычном разговоре. Но чаще всего я пишу на нем письма и всякие бумаги. В школе я им пользуюсь потому, что это от нас требуют, а на письме – потому, что так подобает выразить то, что я хочу"; "На литературном языке, наверное, нужно говорить в особых случаях, при встрече с людьми, с которыми мы знакомимся. Я, например, с людьми, с которыми не знакома, стараюсь говорить на литературном языке. Впрочем, как когда. По-моему, в обычной жизни люди не очень-то говорят литературно. Разве что с начальниками и т.д." (см. [Brabcová 1996: 220–222]).

ции между численностью носителей и пользователей языковых идиомов, между уровнем полученного образования и степенью владения литературной нормой. В результате возрастания социальной и вербальной активности социума произошло стремительное увеличение численности реальных пользователей литературного языка при одновременном сокращении состава подлинных носителей его нормы (см. [Нещименко 1998; 1999а]).

Для изучения узуса публичного общения весьма перспективным является использование коммуникативного подхода, занимающего все более прочные позиции в современной социолингвистике (подробнее см. [Нещименко 1999а]).

В свете этого подхода эволюция речевых стандартов в сфере публичного общения и прежде всего в языке СМИ рассматривается в контексте языковой ситуации в целом и воспринимается не как нечто фатальное, а как закономерный и предсказуемый процесс, происходящий в истории этноса с определенной периодичностью под влиянием целого комплекса причин. Соответственно и некоторые отступления от литературной нормы оцениваются не как проявление речевой "вседозволенности", а как отражение, иногда, может быть, и гипертрофированное, процессов, реально развертывающихся в вербальной коммуникации этноса.

В целом в число причин, обусловливающих динамику узуса публичного общения, помимо эволюции нормотворческой основы литературного языка, входит и появление новых каналов коммуникативной связи, изменение соотношения между численностью носителей и пользователей литературного языка, в том числе и вовлечение в состав пользователей лиц с разнородным уровнем языковой компетенции и т.п. Большое значение имеет изменение демографического корпуса социально активной части этноса, проявляющееся в частности в вовлечении в публичное и вербальное общение более молодого поколения (т.е. это в своем роде генерационная ротация), привносящего в узус публичной коммуникации характерные для него речевые навыки[9].

Одна из важнейших задач социолингвистики, на наш взгляд, заключается в том, чтобы, тщательно зафиксировав новые тенденции в развитии современной языковой ситуации, не отвергать их с ходу, а попытаться, выявив причины их вызывающие, предложить научно обоснованные рекомендации в области языкового воспитания и языковой политики.

Проведенный нами анализ показал, что направленность динамики норм современного речевого поведения определяется действием как **преходящих**, так и **системных** факторов.

К числу первых мы бы отнесли допускаемые индивидуумом "вольности", "раскованность", отражающие характерные для данного времени модные речевые пристрастия; ср. довольно развязный тон интервью, данного в 1999 г. радиостанции "Эхо Москвы" редактором журнала "Карман", ориентированного на состоятельных людей: *У нашего журнала есть одна* ***фишка****, как сейчас говорят* ***в тусовке****, т.е. одна* ***особенность****.* Или же: *повестка сегодняшнего заседания Госдумы* ***будь здоров какая!*** Эхо. 2000, вед., беседа с гостем; *Погода завтра* ***не блеск****.* НТв. 1999, вед. (прогноз погоды); *если Вас задержали* (дорожная милиция ГИБДД. – *Г.Н.*), *лучше всего идти в* ***несознанку*** (= не сознаваться). Эхо. 1999, ведущий автопередачи; *С такой* ***штукой*** *можно было бы прослыть самым* ***крутым*** *аналитиком.* МК. 79/1999, заметка, ар.;

---

[9] Ср., например, услышанное нами в разговорной речи молодого человека, кстати, в совершенстве владеющего нормой русского литературного языка, выражение *мне это* ***фиолетово*** (т.е. 'мне это безразлично') и использование того же самого выражения в речи автора очерка, также, очевидно, молодого человека: *И тогда академик обратил взоры на Запад. Западникам, само собой, научная фантастика не очень интересна. И величие России, обретшей новую отрасль, им тоже* ***глубоко фиолетово****.* НГ. 12/2000, оч., ар. Кстати говоря, небезосновательным является предположение о заимствовании данного выражения из английского языка (ср.: *deeply* ***violet***; ср. также: *to play the shrinking* ***violet*** 'разыгрывать из себя невинность').

Представьте, какой ***навар*** *даст эта валюта, прокручиваясь в западных банках два десятилетия.* НГ. 15/1999, ст., ар.: *И только когда мы* ***надавили*** *на фирму, нам наконец-то прислали приличные коньки.* НГ. 14/1999, инт., рп.; *Рваный кадр, имитирующий* ***немую фильму****, дрожащая камера,* ***музычка*** *подложена соответствующая.* НГ. 46/1998, оч., ар.; *врачи,* ***ужравшиеся*** *медицинским спиртом.* Мир за неделю. 7/1999, ст., ар.: *механическая очистка легких и бронхов, без которой даже при всех* ***ломовых*** *инъекциях – труба.* НГ. 39-д / 1999, оч., ар. Заметим, что приводимые примеры взяты не только из речи персонажей, где возможна определенная стилизация, но и из речи авторской, т.е. журналистов.

Встречающийся в некоторых случаях текстовый комментарий достаточно красноречиво подтверждает, что речь идет действительно о модной тенденции: *И в Минобороне, и в МВД уже не скрывают, что у них есть приказ "замочить", как сейчас говорят* (подчеркнуто нами. – *Г.Н.*) *Басаева и Хаттаба.* Комс. пр., 26.10.1999, инт., речь журналиста; *говоря на модном* (выделено нами. – *Г.Н.*) *нынче воровском жаргоне, нужно замочить все силы, кроме одной.* НГ. 45/1999, инт., рп.; ***прошмонали*** *все, как сейчас говорят на модном* (выделено нами. – *Г.Н.*) *жаргоне.* НТВ. 2000, репортаж, рп. (об обыске в "Медиа-Мост") и т.п.

Что касается факторов, условно называемых нами **системными**, то они несомненно численно преобладают. Причем нередко это сигнализирует о наличии "болевых точек" либо в системе этнической коммуникации, либо в языковой системе, либо, наконец, в системе социальной. Именно этим во многом определяется избирательный подход к тем или иным манифестациям разговорного языка, включения из которых используются в языке СМИ. Сказанное прослеживается как в различных этнических языках, так и на различных синхронных срезах одного и того же языка. Так, в языковом обеспечении чешского этноса такой "болевой точкой", несомненно, является **коммуникативный дискомфорт**, возникающий из-за значительного разрыва между разговорным узусом и действующей кодификацией литературного языка (эти различия наблюдаются практически на всех уровнях языковой системы, т.е. в фонетике, морфологии, синтаксисе, лексике, словообразовании и пр.). Не случайно в чешских устных и письменных текстах весьма высока частотность включений из обиходно-разговорной речи, манифестируемой обычно феноменом obecná čeština. Последний имеет довольно высокий социолингвистический статус, являясь обиходно-разговорным языком Праги, а также значительной части чехоязычной территории. Приведем примеры диалогической художественной речи (разговорные маркеры выделены с помощью шрифта): *Dorozumíš se s nima všema možnejma jazykama. Třeba polsky. A nemáš jezdit* ***vožralej*** *– Nejezdím* ***vožralej****, byl jsem unavenej. Mám svý známý všude.* ***Sem mazanej****.* Topol[10]. Ср. выборочно зафиксированные нами примеры из речи радиоведущих в чешских СМИ (*byl jsem* ***odvázaný***. Радио. 1999; *je to úplně* ***prkotina***. Радио. 1999; *jak to má bejt / být.* Радио. 1997; *dávejte* ***bacha***. Радио. 1999; *šlo to rychlejc; zblednul; posluchači tě pozdravujou.* Радио. 1997; ***zaflíkovat*** *dlažbu asfaltem.* Радио. 1997) или же из речи приглашенных на передачу гостей: *umělý osvětlení všude v Evropě a na celým světě slouží*

---

[10] Нередко различие между литературной и разговорной нормой намеренно "обыгрывается", т.е. используется как художественный прием. Приведем пример из произведения современного писателя Ф. Непила "Как построить загородный дом". (Речь персонажей) "*Vokna taky držej na čestný slovo" – "To víte, tolik let se vo to nikdo nestaral. Tadyhle ta druhá* ***cimra*** *už není tak pěkná, ta je vlhčejší". " To vedle je ještě, větší, tam* ***nejni*** *ani* ***v****okno".* И, напротив, авторская речь является более литературной: *Není tam ani okno a je to nejhezčí místnůstka v chalupě* (F. Nepil). Примечательно последовательное использование начального *v* протетического в речи персонажей (*vokno*) и соответственно начального *o* в слове *okno* в речи автора, равно как и употребление разговорного *cimra*, наряду с более литературным *místnost* в значении "комната".

k určitým těch extrémních případů; tady ten příměr mně nepřipadá příhodnej; to sou dvě nesouměřitelný a to sou dvě věci úplně ***vo*** *něčem jiným čili* ***vo*** *tom bych nehovořil; prostě ten problém není novej; je diskutovanej* (речь спортивного деятеля – футболиста); (звонок в студию) ***já*** *bych se chtěl zeptat jak se* ***vod*** *pěti hodin hraje* ***ta*** *liga na co maji tam umělý osvětlení; třeba* ***tydlenty*** *větší* ***jako*** *Olomouc* (архив Института чешского языка[11]) и др.

Для современной русской публичной речи характерна значительная активизация сленговых манифестаций разговорного языка: молодежного, профессионального и – что особенно шокирует – криминального жаргона. Последнее, хотим мы того или нет, с очевидностью свидетельствует о нынешнем **нездоровье** социального организма этноса, в частности о его криминализации (ср.: *сегодня у нас общественное сознание становится уже не просто даже криминальным, а отмороженным, маргинальным, люмпенским*. НГ. 39-д/1999, статья социолога; приведем также полемическое высказывание, из дискуссии, организованной "Новой газетой": *Ни в одном языке мира нет в таком количестве воровского сленга – заметьте, на этом сленге говорят все слои общества* (подчеркнуто нами. – *Г.Н.*). НГ. 10/1999). Приведем некоторые примеры: *Рефрен этого манифеста становится "****фенькой****" их маленькой компании*. НГ. 11/1999, заметка, ар.; *Жданов не повел "****гнилых базаров****" про родительский дом*. НГ. 45-д/1999, оч., ар.; *Один мой знакомый, услышав эту историю, высказал свое суждение о ней в том смысле, что ловко "****обули****" государство*. НГ. 48/1999, ст., рп.; *Ну* ***откосил*** *бы от ихнего военкомата, и* ***ништяк***. НГ. 45/1999, рец., ар.

О частотности употребления включений из криминального жаргона можно судить на примере нижеследующей газетной статьи (НГ. 1997, речь автора очерка): "***Братков***" *разыскивают дома, чтобы посадить на* ***нары*** (заголовок статьи); (в тексте статьи): *И Дания вздрогнула. Здесь впервые столкнулись с* ***разборками*** *нашей* ***братвы****; установить за объектом "****наружку****"; Таких называют мошенниками, или по-русски "****кидалами****"; У него возникли проблемы с "****крышей****" обманутых фирм* и пр.[12].

Снижению языковой планки в сфере публичной вербальной коммуникации в какой-то мере способствует **истончение** слоя интеллигенции, являющейся потенциальным носителем и пользователем литературного языка. Это обстоятельство негативно сказывается на уровне речевой культуры общества ("*У нас сегодня на две трети сократилась интеллигенция. Люди ушли в бизнес, уехали на Запад. Оставшиеся, получая копейки за свой труд, стараются подрабатывать где только можно и в итоге оказываются просто не в силах поддерживать свой интеллектуальный уровень*". НГ. 39-д/1999, статья социолога). Отток определенной части интеллигенции как наименее обеспеченного слоя населения в сферу "дикого" бизнеса, в том числе и в так называемый бизнес "челночный", сопровождается втягиванием ее в другие социальные (порой и криминальные) пласты, ставит перед необходимостью освоения соответствующих корпоративных речевых навыков (в том числе и криминального жаргона) для того, чтобы, с одной стороны, не казаться "белой вороной"; с другой, чтобы быть коммуникативно успешной (ср.: *в стране, где интеллигенция* ***ботает на блатной фене***. НГ. 17/1999. рец., ар.).

Таким образом, в современном русском и чешском публичном узусе в зависимости от

---

[11] Сердечно благодарим коллег из Института чешского языка ЧАН за предоставленную нам возможность пользоваться результатами наблюдений над современным чешским узусом.

[12] Примечательно, что у существительного *крыша* уже имеются довольно многочисленные производные: *крышевать* 'предоставлять защиту, прикрытие' (*Допустим даже, тебя не убили на Киевском рынке местные* ***менты****, которые "****крышуют****" рынок*. НГ. 9/1999 оч., рп.); *крышевание* 'предоставление защиты, прикрытия' (***крышевание*** *ломщиков чеков*. НТВ. 1999, ар. – журналист об уголовном мире). Далее: *подкрышевывать, подкрышевывание* и пр. Думается, что эта деривационная цепочка отнюдь не является исчерпанной, закрытой.

специфики конкретной языковой ситуации, а также социальных условий жизни социума активизируются **разные** манифестации разговорного языка: в чешском языке – преимущественно феномен obecná čeština; в русском – сленговые манифестации, т.е. подтверждается **избирательность** использования разговорных идиомов. Это не означает, конечно, что в русском языке, помимо сленговых, не могут использоваться вкрапления из других разговорных манифестаций, например, просторечия и т.п. Соответственно и в языке чешских СМИ, а также в художественных текстах (главным образом детективного жанра) встречаются жаргонные включения, однако в целом их удельный вес ниже, чем в русском языке[13]. Нельзя в частности не отметить использование включений из сленга наркоманов, что, кстати, также говорит о нарастающем, причем в мировых масштабах, социальном напряжении: (чешск.) *fet* 'наркотик', *fetovat* 'колоться', *fet'ák* 'наркоман', *haš* 'гашиш', *marjánka* 'марихуана'; (русск.) *наркотá* 'наркотик' (*Один случай продажи* ***наркотиков****... за торговлю* ***наркотóй***. МК. 1998, т.е. в одном и том же тексте встречаются как нейтральное обозначение "*наркотик*", так и сленговое "*наркотá*" с ударенной флексией по типу *дезá* 'дезинформация'; *компрá* 'компромат' и пр.); *передознýться* 'принять дозу наркотика', *сидеть на игле* 'быть наркоманом, иметь наркотическую зависимость' (*Джимми и Джонни давно* ***на игле****", и один уже довел себя до цирроза печени.* МК. 79/1999, заметка, ар.; ср. также переносное употребление: *сидеть* ***на игле*** *МВФ*. НГ. 1998); *забирали героин для себя, чтобы самим* (т.е. милиционерам. – *Г.Н.*) ***вмазаться*** ('принять наркотик'); *Ехала из больницы* ***вмазанная***. НГ. 25/1999, оч., рп.; *Телегурманы давно* ***подсели*** *на его ночную черно-белую "Антропологию"*. НГ. 7-д/2000, подзаголовок интервью, ар.

Приведем также примеры из сленга спортивных болельщиков: *обсуждает последний слух о готовящемся побоище между* ***фанатами*** *"Спартака" и "Динамо". – А что "****динамиков****" мало, – авторитетно говорит крепкий на вид солдат, – так они потом подойдут*. НГ. 25/1999, ст. о спорте, рп.; *весьма остроумны футбольные* ***спартачи***. АиФ. 31/98, инт., рп.; "*Спартак*" *утопили в Бордо* (заголовок). *А мы должны утопить их в "****Луже****"* (Лужники. – *Г.Н.*) – подзаголовок. НГ. 37/1999, ст. о спорте.

Включение в узус современных СМИ элементов обиходно-разговорной речи или же социолектов дает повод говорить об изменении сферы функционирования этих идиомов. Так, социолекты, выходя на более широкий коммуникативный простор, утрачивают свою исконную функциональную замкнутость, исконное корпоративное назначение – служить тайными или же специализированными языками. Соответственно меняется и состав их пользователей: чаще всего это уже не носители, а всего лишь **спорадические** пользователи, употребляющие жаргонные включения "цитатно", как своеобразную текстовую инкрустацию. Впрочем, сам факт использования жаргонизмов отнюдь не говорит о действительном владении нормой данного социолекта. Так, контекст *кого-то восхваляют, кого-то* ***мочат*** *(это не мои слова!),* <u>*топят*</u> (под-

---

[13] В языке современной чешской публицистики широкое распространение получило, например, заимствованное из сленга финансистов, экономистов, криминальных слоев существительное *tunel* 'туннель', используемое, однако, в значении 'тайные пути хищения денег, например, из банка, предприятия и т.п.'; ср. его производные: *tunelovat; tunelování; vytunelovat; vytunelovaný; vytunelování; tunelář; tunelářský* и пр. Приведем примеры, извлеченные всего лишь из одного номера экономического журнала "Euro". 12/1999: *napadený zákeřným vírem* ***tunel****; v němž* ***se tuneluje*** *špatně;* ***tunelovat*** *nějakou společnost; Slovo "****tunelování****" se stalo jedním z nejčastěji používaných termínů při popisu českého hospodářství; "****vytunelované*** *fondy; seznam* ***tunelářských*** *praktik*. Обращает на себя внимание некоторое формальное и смысловое сходство между чешским и русским сленгом: *šít něco na někoho; podmáznout; odvázat se; najíždět* и т.п. (соответственно русск.: *шить* (дело) 'обвинять в чем-либо'; *подмазать* кого-нибудь 'подкупить кого-нибудь'; *отвязаться* 'гульнуть'; *наезжать* 'угрожать; шантажировать' и пр.).

черкнуто нами. – *Г.Н.*) НТВ-Новости. 1999 (пример взят из интервью председателя Центральной избирательной комиссии А. Вешнякова) интересен тем, что, с одной стороны, говорящий, употребляя жаргонизм "*мочить*" 'убивать' как бы дистанцируется от него (*это не мои слова!*); с другой стороны, он явно интерпретирует его буквально (ср. комментарий *топят*), т.е. не как 'убивать', а как 'опускать в воду, вообще в жидкость'.

Употребление в узусе СМИ сленговых включений чаще всего диктуется определенным коммуникативным намерением, т.е. является актуализованным, функционально обусловленным и, следовательно, контролируемым автоцензурой. Так, например, в речи некоторых публичных политиков это отражает продуманную популистскую речевую стратегию, продиктованную прагматичным намерением "вписаться" в предполагаемый речевой стандарт определенного социального пласта населения, быть у него коммуникативно успешным и как следствие этого – привлечь его на свою сторону; ср.: "***Кинет***", "***замочит***" *и так далее – это лексика общества. Премьер говорит на доступном* (подчеркнуто нами. – *Г.Н.*) *обществу языке*. НГ. 39-д/1999, статья социолога, ар. Или же: *сейчас у международных финансовых институтов, несмотря на то, что мы с ними сделали – а мы их* ***кинули*** *на 20 миллиардов долларов…* НГ. 38/1998 (фрагмент из интервью А. Чубайса). Сходный характер имеет и употребление элементов молодежного сленга представителями самых разных генераций; ср. своеобразное речевое "кокетство" великовозрастного высокопоставленного правительственного чиновника: *Если банк начинает себя вести* ***нездорово****; проектов у нас* ***навалом****; предприятие кладут на спину и* ***полный привет****, ничего не шевелится; вот* ***таким макаром*** *все можно сделать*. РТР. 1994, программа "Без ретуши". Или же из интервью главного редактора одной из популярных московских газет (ТВ. 1994): *Ну, написали* ***лажу****; У нас бывает большевистский* ***закидон****; Я понимаю: во Франции столько* ***жратвы****; Американцы* ***кумекать*** *начали; Я могу перспективно* ***послать*** (обругать. – *Г.Н.*); *сумма* ***не хилая***. Эхо. 1999, интервью со знаменитым адвокатом. Ср. также: *Целый год россиянам* ***вешали лапшу на уши***. НГ. 2/2000, оч., ар.; *от звуков которых* ***тащится*** *молодежь*. АиФ. 1–2/2000, оч., ар.; *новая поросль тут же начала* ***балдеть, оттягивалась*** *не по-детски*. АиФ. 1–2/2000, оч., ар.; *Теперь, когда все* ***устаканилось****, выравнялось* (о присвоении кинопремии "Ника" – *Г.Н.*). НТВ. 1999, инт., рп.; *если что, Эхо Москвы всегда* ***на стреме*** (спортивный журналист по поводу трансляции матча). Эхо. 1997 (в данном случае представлено включение из воровского сленга) и пр.

Думается, что со временем какая-то часть этой лексики или выйдет из употребления, или будет переосмыслена, т.е. войдет в лексический состав языка с новым значением. Симптомы этого уже имеются; ср.: *самарские СМИ ретиво стали "****шить****" УФСНП "****политику****", заклеймили позором*. НГ. 7/2000, оч., ар.; *там заправляют его ребята, которые и дают ему цифры и идейные* ***наводки***. НГ. 7/2000, оч.; ар.; *Не буду, впрочем, строить из себя* ***крутого*** *знатока вопроса, хотя это и первое дело для журналиста*. НГ. 5/2000, ст., ар. и пр. Иногда сленгизм и его литературный аналог используются в тексте параллельно, для контраста: *Всякий раз, когда речь заходит об Алишере Усманове, сведущие люди, понизив голос, начинают сыпать "****кликухами****" уголовных "авторитетов" вперемешку с* ***фамилиями****, которые благодаря телевидению и газетам на слуху у каждого*. НГ. 11/1999, оч., ар. Примечательно смысловое пересечение омонимов *авторитет* 'влиятельный, уважаемый, компетентный человек' и отпочковавшегося от него *авторитет* 'влиятельный вор, вор в законе'; ср. в интервью председателя Государственной Думы Г.Н. Селезнева (Эхо, 1999): *нужно использовать чеченских* ***авторитетов*** – (интервьюер) *простите, это звучит двусмысленно* (подчеркнуто нами. – *Г.Н.*) – *Ну, авторитетных людей*. В данном случае вторичное, сленговое значение лексемы фактически потеснило значение первичное.

Расширение сферы функционального использования любого идиома, в том числе и тех, о которых здесь шла речь, не проходит для него бесследно, оно так или иначе "оплачивается". Так, феномен obecná čeština "оплачивает" потенциальное повышение своего социолингвистического статуса (использование его в качестве общеэтнического разговорного идиома или же в сфере культуры) нивелировкой некоторых региональных собственно чешских признаков (начального *ou; v* протетического; последовательного *ej* вм. *ý, í* и пр.). Нечто подобное происходит и со сленгами.

Дисперсное функционирование социолектов в каком-то смысле может искажать реальную языковую картину, создавая иллюзию "живучести" феномена там, где на самом деле речь идет лишь о некоем фантоме. Так, некоторые виды криминального жаргона со временем растворяются в молодежном сленге или же попросту уходят на периферию языкового обеспечения, и лишь отдельные их компоненты сохраняются, выполняя чисто экспрессивную функцию. Вместе с тем буквально на наших глазах появляются новые виды профессионального сленга, например программистов, операторов электронной почты и пр. (см. [Нещименко 1999а]).

Таким образом, изучение языкового материала позволяет говорить о **нарастающем** влиянии разговорной речи на узус репрезентативного языкового употребления. Сказанное отчетливо прослеживается, например, в чешском языке – предметом дискуссии лингвистов является проблема инвазии феномена obecná čeština в сферу культуры. Так, по мнению А. Стиха [Stich 1975], широкое использование идиома obecná čeština в языке художественной литературы начинается всего лишь со второй половины 50-х годов XX в., до этого ее роль здесь была периферийной, она служила лишь средством социальной характеристики персонажей. За относительно короткий срок использование этого идиома в языке художественной литературы (в том числе и в авторской речи) приобрело настолько массовый характер, что стало возможным даже говорить о культурной разновидности феномена obecná čeština (kulturníáobecná čeština).

Примечательна и ускоренная динамика лексического состава русской сленговой речи. Нередко это даже затрудняет взаимопонимание; ср. диалог в передаче "Акулы пера" (ТВ. 1997), в котором участвуют, с одной стороны, молодые журналисты, использующие сленгизмы; с другой – гость, популярный журналист среднего возраста, имеющий более корректную речевую норму: (молодой журналист) *А если я **не волоку?*** – (гость реагирует раздраженно): *Не понимаю, что Вы хотите сказать.* (Молодой журналист поясняет): *Ну, значит, не разбираюсь*[14].

Отметим, что в русских текстах чаще встречаются **лексические** разговорные включения, хотя возможны и просодические или же морфологические: *да, было дело, **засветился** однажды **песня́ми**.* Эхо. 2000, рп., сотрудник радиостанции (нарочитое смещение ударения); *Кич – бесперспективен, он тупик, куда хозяева жизни, избравшие его как эстетику и способ существования, себя же и загоняют. Да какие **хозя́ева**? Тут уместней вульгарное "**хозяева́**" – почувствуйте разницу.* НГ. 28/1999, рец., ар.; *Как доставались такие **должности́**, известно.* Эхо. 2000, жур., иронический комментарий. Эпатажные просторечные включения широко представлены в текстах политических комментариев А. Черкизова (радиостанция "Эхо Москвы"; ср.: *нажрамшись, с какого бодуна, бамажка, выпимши, стакано́м, пить из горла́* и пр.), которого

---

[14] Примечательно, что если молодежь 70-х годов широко использовала для выражения восторженных чувств высказывание "*Какая экибана!*", то позднее оно полностью вышло из употребления. Приведем и другой пример, взятый из сленга театральных поклонников: сленгизмы *сыр – сыриха* еще не так давно обозначали 'поклонник – поклонница'; современному молодому поколению эти обозначения не известны: в употребление вошли заимствования *фэн, фанат* и пр.; ср. фрагмент из телепередачи "Пока все дома" (1997 г.). (Актер Г. Хазанов): *Я ждал после спектакля* (после дебюта его дочери в балетном спектакле Большого театра. – *Г.Н.*), *как **сыр.*** Поскольку дочь не понимает, о чем идет речь, следует поясняющая реплика ведущего передачи – *как **фанат.***

вряд ли можно заподозрить в сниженной языковой компетенции. Все это является дополнительным подтверждением того, что именно лица с высоким уровнем языковой компетенции чаще всего намеренно допускают речевые вольности, выполняющие вполне определенную смысловую, стилистическую и пр. функцию. Показателен в этом отношении и диалог между врачом и пациентом (пример извлечен из материалов обследования повседневной разговорной речи, проведенного сотрудниками Института чешского языка Чешской АН), в ходе которого врач, чувствующий себя более раскованно, чем пациент, изъясняется более "просторечно": (врач) *takže ten votok ustoupil*?; (пациент) *ten otok ustoupil částečně* (в данном случае разговорным маркером является наличие среднечешского протетического *v – votok* 'отек', отсутствующий в более литературной речи пациента).

В целом можно утверждать, что радикальная эволюция речевых норм в сфере публичной **общеэтнической**, т.е. **репрезентативной,** коммуникации чаще всего происходит в переломные периоды жизни социума, при резком изменении общественных устоев, смене социальной и политико-экономической формации. В настоящее время это особенно характерно для стран Восточной Европы, в которых после "шокового" вмешательства в политическую и экономическую жизнь цепной реакцией последовали изменения в культурной, социальной, а также языковой сферах. У социумов с более или менее континуальным политическим и социально-экономическим развитием эти явления могут наблюдаться также, однако там рычаги регулирующего воздействия на речевую культуру используются более эффективно (ср., например, языковой закон Франции, регламентирующий употребление англицизмов и пр.).

Как показало проведенное исследование, динамика языкового обеспечения публичной вербальной коммуникации определяется действием комплекса тесно взаимосвязанных друг с другом факторов: социолингвистических и информационно-коммуникативных. Несмотря на то, что их четкое разграничение не всегда возможно, в целом – и это подтверждает сопоставительный анализ языковых ситуаций различных этносов – социолингвистическая составляющая отличается большей вариативностью, стимулируя появление не только межъязыковых схождений, но и расхождений. Выше мы уже старались это показать на примере чешского и русского языков, иллюстрируя приверженность первого к включениям из разговорного феномена obecná čeština; второго – из социолектов. Кстати говоря, именно по поводу социолингвистических рефлексов в языке СМИ чаще всего и развертывается полемика.

Информационно-коммуникативная составляющая, определяемая во многом уровнем научно-технического обеспечения коммуникации в социуме, напротив, имеет более универсальный характер, поэтому ее проекция на языковое пространство различных этносов выявляет наличие в нем **конвергентных** тенденций.

Вторая половина XX в. ознаменовалась глобальными достижениями научно-технического прогресса, затронувшими практически все мировое сообщество. К их числу несомненно относится использование электронных СМИ, прежде всего радио и телевидения, сделавших возможным информационный охват максимально широкой аудитории (во внутриэтническом и межэтническом масштабе), ускоренное прохождение информационного потока по каналам коммуникативной связи, повышение их информационной емкости и т.п.

Благодаря существенному изменению временны́х и пространственных параметров информационно-коммуникативных контактов реальностью конца столетия стало образование **единого** коммуникативного и культурного пространства (внутриэтнического и межэтнического), в рамках которого не только развертывается межкультурное и межъязыковое взаимодействие этнических общностей, их интеграция, но и, что чрезвычайно важно, осуществляется **мгновенная** вербальная коммуникативная связь, ориентированная на **активную интеракцию** с адресатом. Мы намеренно акцентируем факт мгновенности и интерактивности общения, поскольку это существенно влияет на характер языкового обеспечения.

Превращение электронных СМИ в **доминирующий** информационный канал[15] способствовало значительному возрастанию роли устной вербальной коммуникации, что несомненно является **универсальной** тенденцией развития современной языковой ситуации в мире. Исследование данной тенденции в широком контексте этнической вербальной коммуникации имеет большое теоретическое и практическое значение, особенно если учесть масштабы ее влияния на современную речевую культуру, на динамику речевого стандарта публичной коммуникации. Немаловажной является и ее значимость для внутриязыкового развития, в частности для формирования новых номинационных, в том числе и словообразовательных тенденций, возрастания продуктивности уже существующих схем и способов словопроизводства.

Одним из важных последствий использования электронных медиальных средств как главного транслятора информации явилось повышение социолингвистического статуса **устного** литературного языка, существенное увеличение диапазона его употребления.

Формирование устного литературного языка как средства интерперсонального и публичного общения относится к середине XIX в., когда возникла осознанная потребность в подобном идиоме, определилась сфера его функционирования. Свою роль в этом сыграло возрастание культурно-просветительской и общественной активности социума, наличие этноязычной интеллигенции, а также интеллектуальной среды общения (система образования с использованием этнического языка как языка обучения, а не только как предмета изучения, появление просветительских обществ, кружков по интересам, общественно-политических организаций и пр.).

В отличие от письменного литературного языка, получившего статус идиома общеэтнического значения к середине XIX в., т.е. ко времени появления прессы, устный литературный язык приобрел этот статус существенно позже – лишь во второй половине XX в., что напрямую связано именно с электронными СМИ.

Так или иначе, ныне обе разновидности литературного языка могут служить средством хранения и распространения культурных ценностей, причем как в синхронии, так и диахронии. Это несомненно является важным событием в эволюционном развитии этноса, свидетельствующим о его цивилизационной зрелости, росте этнического самосознания и консолидации социума, повышении языковой компетенции его членов.

Важно подчеркнуть, что к концу столетия устный литературный язык не только приобрел общеэтнический статус, но и стал играть **главенствующую** роль в сфере публичной общеэтнической коммуникации[16].

Невзирая на сказанное, вряд ли можно утверждать, что оценка феномена устного литературного языка соответствует его реальной значимости в системе этнической коммуникации. Долгое время он вообще находился на периферии исследовательского интереса, так как воспринимался всего лишь как **озвученное** воспроизведение письменного литературного текста, т.е. по сути не был самостоятельным научным объектом. При этом в достаточной мере не учитывалось, что способ воспроизведения текста

---

[15] Интересные статистические данные по этому поводу приводит болгарская исследовательница И. Ликоманова. Оперируя фактами социолингвистического обследования болгар, она отмечает, что радио слушают 90,2% населения (причем 60–64% населения это делают ежедневно: 48% – для того, чтобы получить информацию, 13% – по привычке). Что касается телевидения, то 72,6% населения его смотрят ежедневно (при этом 29,7% потребителей интересуются информационными программами). Ежедневно читают газеты 48,3% населения [Ликоманова 1998: 213].

[16] Использование глобальных компьютерных сетей и, в частности, Интернета, хотя и активизировало письменную коммуникацию (примерно 90% распространяемых через Интернет текстов имеют письменную фиксацию), однако характерные для этого вида общения тексты имеют весьма специфическую языковую норму, в них прихотливо сочетаются особенности как литературной, так и разговорной речи, в том числе и профессионального сленга. Зачастую они являются результатом целенаправленной стилизации. Впрочем, подробнее останавливаться на этом вопросе мы здесь не будем, так как он требует специального изучения.

отнюдь не является чисто механическим фактором[17]. Не случайно различия между письменным и устным литературным языком заметны практически на всех уровнях языковой системы: в морфологии, словообразовании, синтаксисе, лексике и т.п., причем носят они не только количественный, но и качественный характер. Разнится, разумеется, и сфера функционирования обеих разновидностей литературного языка.

Норму устного литературного языка отличает от нормы письменного, помимо прочего, меньшая строгость (но не отсутствие!) кодификационных предписаний, более свободный порядок слов, упрощенная структура предложения, иное логическое членение текста, специфические просодические особенности, бóльшая вариативность языковых средств, сниженная частотность употребления некоторых частей речи, например причастий и особенно деепричастий[18], бóльшая экспрессивность высказывания, специфический набор вариативных словообразовательных средств и т.п.

Обращает на себя внимание двойственность природы устного литературного языка: будучи **литературной** манифестацией, он, с одной стороны, как бы отграничен от нелитературных идиомов (в отличие от них он, например, имеет монологическую, а не диалогическую текстовую структуру); с другой, как идиом **устный** он поставлен в условия постоянного соприкосновения с остальными устными феноменами со всеми вытекающими из этого последствиями. И действительно в сфере устной коммуникации, являющейся зоной пересечения двух важнейших коммуникативных ареалов (высших коммуникативных функций и непринужденного повседневного общения – см. [Нещименко 1999а]), используется широкий спектр форм существования языка, нередко конкурирующих друг с другом.

Бóльшая открытость устных литературных текстов по отношению к разговорной стихии способствует распространению в узусе публичной коммуникации разговорных включений, что в свою очередь не может не сказываться на динамике правил речевой эстетики. Не случайно в узусе современной вербальной коммуникации, в том числе и в языке СМИ, столь широкое распространение получили так называемые **смешанные** тексты, включающие в литературные в своей основе тексты те или иные элементы разговорных идиомов.

Появление смешанных текстов может быть обусловлено как намеренной, так и спонтанной межидиомной интерференцией. Причем речь идет либо об **актуализованной** цитации, несущей вполне определенную смысловую или же стилистическую нагрузку, либо о **смешении** элементов разных норм в силу специфики индивидуальной языковой компетенции. В последнем случае коммуникант автоматически проецирует имеющиеся у него речевые навыки на порождаемый им текст, независимо от того, в какой коммуникативной ситуации он будет использоваться.

Удельный вес и частотность смешанных текстов зависят от характера публицистического жанра. Так, например, в информационных, новостных текстах они по вполне понятным причинам встречаются реже, чем в интервью, рецензиях, фельетонах, "авторских" программах и т.п., где более выражено индивидуальное, личностное начало. Каковы бы ни были причины появления смешанных текстов, этот факт говорит о снижении авторитарности кодификации, которая уже не может служить надежным заслоном от влияния разговорной стихии.

Нельзя, однако, не отметить, что даже при реализации всех необходимых для успешного функционирования устного литературного языка условий формирование устойчивых навыков "культурного" публичного говорения (а именно это свидетель-

---

[17] Известно, например, что раннеписьменные произведения древнечешской литературы, предназначавшиеся для чтения вслух (грамотность населения, по мнению специалистов, составляла в то время всего лишь 2–3%), имели более прозрачную композицию и упрощенный синтаксис по сравнению с письменными текстами конца XIV в., рассчитанными уже не только на слушателя, но и на читателя.

[18] Ср. непроизвольно вырвавшееся у ведущего музыкальной программы на "Эхо Москвы" деепричастие *пишá* в контексте: *Верди, **пишá** свои оперы. **Эхо. 1999.***

ствует" об **активном** владении идиомом), может запаздывать[19]. Это особенно проявилось во второй половине 80-х годов, на которые практически во всех странах Центральной и Восточной Европы пришелся пик общественной и вербальной активности (митинги, манифестации и пр.), сопровождавшийся резким возрастанием потребности в устном публичном общении. Положение усугубляло и то, что именно в это время предпочтительными стали публичные выступления без заранее подготовленной, а зачастую и отредактированной письменной версии текста, т.е. "без бумажки".

В создавшейся ситуации отчетливо проявилась иллюзорность установления прямой взаимосвязи между уровнем полученного образования и степенью владения литературной нормой, а также неправомерность слишком "щедрого" присвоения статуса "носитель литературного языка". Как показывает практика, наличие высшего образования нередко является всего лишь формальным показателем и отнюдь не гарантирует активного владения нормой литературного языка, т.е. способности самостоятельно, на основе автоцензуры, без помощи редактора, порождать корректный литературный текст. Подтверждением этого служит снижение численности реальных носителей литературной нормы по сравнению с возрастанием количества пользователей данного языкового феномена. Фактом является и то, что для **активного** владения устным литературным языком необходим весьма высокий уровень языковой компетенции.

Устные СМИ имеют важные преимущества перед печатными: транслируемая с их помощью информация обычно доступнее для восприятия, она не требует от массовой аудитории ни специального времени, ни особых денежных затрат, ни профессиональной подготовки[20]. Вместе с тем они обладают и своей спецификой, которая важна не только для радио- (теле-) журналистов, но и для определения направленности языкового воспитания.

Преимущественно "слуховое" восприятие текста влечет за собой появление и типично "слуховых" ошибок типа *дивиденты* (вм. *дивиденды*); ***презумность*** *невиновности* (вм. *презумпция*); *постановление* ***дезавулирует*** (вм. *дезавуирует*); *тет* ***на*** *тет* (вм. *тет а тет*); *константировать* (вм. *констатировать*) или же: *полюс* вм. *полис; лазарь* вм. *лазер; тусовать карты* вм. *тасовать* (в последнем случае представлена ошибочная мотивация через популярное ныне *тусовка* 'компания, сборище'); ср. также смешение лексем *иммигрант* и *эмигрант* и др.

Устное воспроизведение текста нередко выявляет погрешности в языковой компетенции говорящего, скрытые при графической фиксации текста (например, ошибки в склонении сложных числительных, в постановке ударения, в интонационном рисунке фразы, в произношении и пр.). Так, например, ведущий радиостанции "Эхо Москвы" после безуспешных попыток просклонять сложное числительное 658 во фразе с *658 людьми* беспомощно смиряется: Ну, *в общем с шестьсот пятьдесят восемь людей*. По нашим наблюдениям, редкий профессиональный журналист или же диктор радио и ТВ умеет склонять сложные числительные; ср.: *в размере* ***восьмиста*** *двадцати долларов* (Радио. 1994); *около* ***шестиста*** *ученых* (ТВ. 1993); *не хватает около* ***пятьсот*** *девяти* (Радио. 1993); *около* ***трехста*** *градусов* (ТВ. 1993); *около* ***пятиста*** *нарушений* (ТВ.

---

[19] Ср. следующее высказывание: «*Кто в основном выступает на пленумах? Те, у кого подвешен язык, кто на этом, простите, собаку съел. Почему, думаете, молчит "союз рабочих и крестьян"? Не хотят они нарушать трибунного правильного литературного языка. Кто же хочет на весь Союз прослыть этаким "мужланом"?*» Комс. пр. 1989.

[20] "Странно, что до сих пор о радио забывали. Радиосигнал доступен, радиоинформация оперативна, радиоголоса узнаваемы. Радиостанцию трудно уличить во лжи – там не много расследований, трудно обвинить в оскорблении чести и достоинства – там мало комментариев, зато на радио много гостей эфира, которых легко выстроить в идеологическую цепочку. Наконец, обслуживание радиостанции дешевле выпуска газеты и съемки телепрограммы, а слушательская аудитория вполне сопоставима с телевизионной и много больше читательской" НГ. 27/1999, оч., ар.

1992). Не случайно в ходе экспериментального уличного опроса, осуществленного в начале 90-х годов ленинградским ТВ (по стечению обстоятельств практически все респонденты имели высшее образование), лишь один человек сумел правильно просклонять предложенное ему сложное числительное.

Очевидным становятся и отклонения от общепринятой постановки ударения. Примером этого могут служить профессионализмы типа *Мурма́нск, компа́с, осу́жденный, дело возбу́ждено, лечение опухоле́й, при́зыв* (военный сленг) и мн. др. При общении в профессиональной, т.е. корпоративной среде, подобное смещение ударения является стилистически нейтральным как для говорящего, так и для слушающего, однако за пределами данной среды это "режет ухо", т.е. воспринимается как ошибка. Так, раздраженную реакцию радиослушательницы ("Эхо Москвы". 1997) вызвало произнесение врачом в прямом эфире фразы *лечение опухоле́й*. Примечательно, что в диалоге профессионального юриста и журналиста (ТВ. 1999 г.) первый последовательно произносит *осу́жденный*, второй – *осуждённый*. При устном воспроизведении текста становятся заметными рефлексы исходного регионального субстрата; ср. *на́чать, при́нять* или же устойчивое произнесение врачом (медицинская беседа на радио "Эхо Москвы". 1996 г.), *ларинголо/х/, хирур/х/, гинеколо/х/* (им. ед.), т.е. с фрикативным *г* (во мн. ч. последовательно соблюдалось *г* взрывное).

Ниже мы выборочно остановимся на некоторых функциональных особенностях СМИ (прежде всего устных), существенных для динамики речевого стандарта в сфере публичной коммуникации:

1. ПРАГМАТИЧНОСТЬ И АДРЕСНОСТЬ ЯЗЫКА СМИ

Вербальное обеспечение медиальных средств тесно связано с их целевой установкой: используя каналы коммуникативной связи, не только донести (по возможности без потерь) информацию до **максимально широкой** аудитории, но и оказать на потенциального адресата эмоциональное, психическое, идеологическое и пр. воздействие с тем, чтобы привлечь его на свою сторону.

Для успешного выполнения этого коммуникативного намерения необходимо, чтобы передаваемая информация была **адресной** как по характеру сообщаемой информации, так и по ее языковому воплощению. Это значит, что она должна быть доступной для потенциального массового, общеэтнического адресата, без этого коммуникативное и речевое взаимодействие адресанта и адресата не будет достигнуто, что неизбежно приведет к нежелательным информационным и другим потерям.

Указанная прагматичность и адресность особенно бросается в глаза, когда тот или иной информационный канал (или же информация) ориентирован на какой-то определенный социальный или же генерационный слой – чаще всего это молодежные программы или же специальные молодежные радиостанции и т.п. Яркой иллюстрацией сказанного является, например, газета "Московский комсомолец", где довольно часто копируется молодежный сленг; ср.: *Как и предполагалось, все* ***оттянулись на полную катушку****. К сожалению, это был не обычный* ***турный*** *концерт, в ходе которого* ***пипл*** *накрывает цунами из* ***жутких*** *спецэффектов. Тем не менее* ***фэнам*** *за их денежки более чем внятный звук обеспечили.* МК. 1999 (рубрика "Звуковая дорожка"). Приведем пример радиорекламы ("Эхо Москвы". 2000), предназначенной для молодежи: *Это МТС! У нас для вас хорошая новость! Клёвый молодежный тариф. Ваша тусовка всегда на связи.*

В зависимости от возрастной принадлежности аудитории чешская исследовательница О. Мюллерова предлагает разграничивать два вида вещания: частные радиостанции, ориентированные, главным образом, на молодежь до тридцати лет (чаще всего это посетители парикмахерских и косметических салонов средней руки, шоферы автобусов и под.); государственное радиовещание, адресованное лицам среднего и старшего возраста. Дифференцированным является и использование языковых

средств: в первом случае это столь типичное для современного устного узуса смешение кодов или же варьирование в рамках одного и того же высказывания литературных и нелитературных форм; во втором – преимущественное соблюдение литературной нормы, более нейтральной в эмоциональном отношении, с выраженным стремлением к построению культивированного текста [Müllerová 1996: 204–205].

2. СИЮМИНУТНОСТЬ КОММУНИКАТИВНОГО КОНТАКТА В УСТНЫХ СМИ

Важной особенностью устных СМИ является сиюминутность, одномоментность коммуникативного контакта, т.е. информация должна быть воспринята сразу, "с ходу". В отличие от письменного текста повторное востребование адресатом устного текста (для того, чтобы вникнуть в смысл сказанного, обратиться, наконец, к вспомогательным средствам в виде словарей, справочников и пр.), как правило, не представляется возможным. Исключение составляют случаи, когда один и тот же текст по каким-то причинам повторяется или же воспроизводится в записи.

В силу сказанного вербальное оформление устного текста в СМИ должно быть настолько сближено с узусом предполагаемого адресата, с его языковой компетенцией, чтобы он мог его сиюминутно воспринять. Это изначально предполагает **снижение** языковой "планки" коммуниката, сближение его с массовым узусом, что не может не отражаться на речевом стандарте. Учитывая это, какие бы то ни было речевые "изыски", равно как и злоупотребление специальной терминологией или же заимствованиями в устных медиальных средствах попросту не уместны. В противном случае адресат либо не воспримет информацию, либо она дойдет до него со значительными потерями и искажениями[21].

В этой связи особую остроту приобретает проблема заимствований, так как столь нежелательная для СМИ утрата информации может происходить и из-за чрезмерного употребления еще не освоенных носителями языка заимствований, чем, кстати, весьма грешит современная публицистика. Заметим, что поток заимствований может поступать в литературный язык и через некоторые социолекты (молодежный жаргон или же, например, новый вид сленга системных операторов, пользователей электронной почты и т.п.)[22].

Массовый приток иностранных слов, прежде всего англицизмов, ставший одной из сопутствующих примет культурно-экономической интеграции, является порой настоя-

---

[21] Ср. следующее высказывание: «ведущие политических и особенно экономических программ, увлекаясь супертерминами и упиваясь собственной осведомленностью, напрочь забывают о тех, ради кого, собственно, снимаются передачи. То есть – о зрителях. ... А ведь молодой российской журналистике ныне свойственно напускать туманных терминов, хвастаться всякими непонятными выражениями, запутывая и запугивая своих зрителей и читателей. ("Читаю профессора Сорбонны Андрея Синявского – ну все понимаю! Читаю студентку второго курса журналистики Н. – ну ни хрена не понимаю!" – жаловался кто-то из моих умных знакомых)». НГ. 8-д/2000, заметка, ар.

[22] В силу специфики исторических условий жизни чешского этноса, в частности длительности непосредственных языковых контактов с немецким этносом, чешская разговорная речь включает немало германизмов. В литературном чешском языке в этом случае, напротив, предпочтение обычно отдавалось отечественным эквивалентам. Небезынтересен следующий пример, взятый из текста художественного произведения, где намеренно "обыгрывается" оппозиция чешского и немецкого эквивалентов (*ploché nohy – platfus* 'плоскостопие'): «*"Tupozraké levé oko,* ***ploché nohy****, c.d. klasifikace", ohlásil Kefalín podle pravdy pomalu a rozvážně, jak měl ve zvyku. – "A ták" řekl desátník trochu zklamaně, "já už se těšil na kdovíjak skandální historku a ty na mne vylezeš s* ***platfusem****!"*». (Švandrlík). В данном случае воспроизводится диалог в армейском лазарете. Первая реплика принадлежит новобранцу, сообщающему о поставленном ему диагнозе: *"Пониженная острота зрения в левом глазу, плоскостопие"*; вторую реплику произносит младший сержант: «*"Эхе-хе"*, – произнес разочарованно младший сержант: *"Я-то уж думал, что речь идет о какой-то скандальной истории, а ты лезешь со своим плоскостопием"*».

щим бедствием[23]; ср.: *Спринтеры начали кататься на* ***клабах (слэп-скейтах)***. НГ. 14/1999, инт., рп. (в тексте дается пояснение: ***слэп-скейты***, *новые коньки); Современные законы рекламных кампаний и* ***"пиара"*** *(PR – паблик рилейшнз) диктуют музыкантам особые правила игры.* АиФ. 16/1999, заметка, ар.[24]; *везде в мире* ***мегарекорд лейблы*** *работают с уже существующими, кем-то сделанными артистами.* НГ. 37-д/1999, оч., рп.; *Вряд ли кто узнает ныне в этом раздавшемся в плечах и в шее управленце, настаивающем на репутации менеджера* ***high-класса***, *того сухонького, почти тощего мэнээса.* НГ. 24/1998, оч., ар.; *Целый год крутится колесо по* ***промоушену*** *фильмов, претендующих на мировой прокат.* НГ. 29/1999, инт., рп.; *Люди, которым по определению ничего не светит в политике, делают себе* ***промоушн.*** НГ. 30/1999, рец., ар. В последнем случае примечательно различное воспроизведение одного и того же заимствования, т.е. с большей или же меньшей степенью приближенности к языку-источнику и соответственно с бóльшим или же меньшим удалением от фонетических особенностей воспринимающего языка: *промоушен/промоушн*. Ср. также дериват *рецепшионистка*, образованный от не типичной для русского языка заимствованной основы: *На работу за границу приглашают также в качестве модели, официантки,* ***рецепшионистки***, *гувернантки и уборщицы.* АиФ. 18/99, заметка, ар.

Возможные негативные последствия использования неосвоенных заимствований особенно очевидны в устных СМИ, поскольку слушатель при мгновенном восприятии текста может просто не понять смысл, тем более когда заимствование воспроизводится в не свойственной русскому языку огласовке (например, со скоплением согласных в исходе слова): *никакого* ***экшна***. Эхо. 2000, кинорец. (кстати говоря, в чешском языке в этом случае используется более адаптированное *akční film*). Ср. в письменных текстах: *Нужен был* ***"экшн"***. *Андрей Кивинов как-то спросил:* ***Экшн*** *– это когда стреляют?* НГ. 10/2000, рец., ар. и рп.

Перенасыщение современной речи англицизмами[25] становится ныне важной языковой и социальной проблемой. Иногда дело доходит даже до крайности, когда ученые некоторых стран Восточной Европы вполне серьезно заявляют о возможности этно-английского двуязычия (при соответствующем разграничении функций). На наш взгляд, эта точка зрения не только спорна по существу, но и опасна потенциальным возникновением конфликтных ситуаций (исторические примеры этого известны и из практики национально-языкового строительства в СССР).

---

[23] В некоторых случаях авторы (и, разумеется, редакторы) письменных текстов, копируя буквально английскую конструкцию, даже не дают себе труда подыскать соответствующий русский эквивалент: (заголовок статьи) *Некурящие рейсы Аэрофлота* (вм. *Рейсы для некурящих*), впрочем, далее в тексте все же используются кавычки: *Авиакомпания "Аэрофлот – Российские международные авиалинии" с 15 мая 1998 г. ввела "некурящие рейсы". Статус "non-smoking flight" присвоен 13 рейсам* (журнал "Аэрофлот", июль 1998 – многие из статей этого издания, хотя и написаны русскими авторами, производят впечатление русского подстрочника к английскому оригиналу).

[24] Ср. также: *Дамы в вечерних туалетах и знатные* ***PR-мены*** *общались, выпивали и политесничали.* АиФ. 6/1999, заметка, ар.; ***PR-агентство***. НГ. 23/1999, оч., ар.; *знаменитый* ***PR-центр***. НГ. 23/1999, оч., ар.; *даже знающим, как надо делать* ***PR***. НГ. 23/1999, оч., ар. Впрочем, процесс освоения заимствования развивается довольно быстро – об этом говорит, в частности появление производных от *пиар* типа *пиарщик/пиаровец* (в данном случае можно наблюдать словообразовательную конкуренцию); *пиаровский; пиарить; перепиарить* (ср. в контексте: *с поездкой Путина* ***перепиарили***. НТВ-Итоги. 2000, кор.).

[25] Впрочем, иногда использование в одном контексте русского слова и его заимствованного эквивалента несет функциональную нагрузку; ср.: ***фейсы*** *томных красавиц и толстых спонсоров не вытесняли из крохотного зеркального театра сада "Эрмитаж"* ***лица***, *более обремененные интеллектом.* НГ. 2/2000, рец.

3. УСРЕДНЕННОСТЬ, МАССОВИЗАЦИЯ РЕЧЕВОГО СТАНДАРТА СМИ

Опасение коммуникативных потерь, вполне возможных при **сиюминутном** восприятии информации, а также интересы установления речевого и эмоционального контакта с максимально широким кругом адресатов делают неизбежной, как уже отмечалось, установку на некоторую **усредненность** речевого стандарта, рассчитанного на **массовую**, а не элитарную языковую компетенцию. Впрочем, эта "усредненность" может варьироваться в зависимости от жанровых особенностей текста (новостные программы, комментарии, литературные или же театральные рецензии и обзоры, диалоги со слушателями/зрителями по телефону или же в "прямом эфире", анонсы, рекламы и т.п.).

Массовизация, усреднение речевого стандарта наглядно проявляется и в языке рекламы, представляющей собой одну из специфических разновидностей массовой коммуникации, с отчетливо выраженной прагматичностью и адресностью. Заметим, что язык рекламы довольно точно отражает некоторые особенности современной языковой ситуации: по сути речь идет о цельных минитекстах с четко обозначенной коммуникативной стратегией.

Особый интерес в этом отношении представляет отечественная реклама. Переживая период своего становления, она еще не обрела свою стилистику, поэтому, с одной стороны, здесь копируются западные образцы (соответственно с использованием множества заимствований), нередко не совпадающие с мировосприятием потенциального российского потребителя; с другой, "педалируется" доверительность, непринужденность, даже "разухабистость" общения с включением жаргонизмов, просторечья и пр. (впрочем, иногда это делается из эпатажа, желания шокировать и тем самым пробудить интерес потребителя к рекламируемым изделиям)[26].

Для имитации непринужденности общения, особенно в устной рекламе, нередко используется диалогическая речь (в том числе и с применением "ты-форм"). В письменной рекламе недостаток выразительных возможностей иногда компенсируется фиксацией интонационных особенностей устной речи; ср. текст настенной рекламы в г. Бенешов в Чехии, с радостью извещающей о скором выходе газеты (1997 г.): *Od září denně. Pohoda. Kóóónečně!: (С сентября ежедневно. Вот здорово! Наконец-то!* – перевод наш. – *Г.Н.*). В рекламах на ТВ, помимо вербального ряда, используется и клиповая техника.

Приведем тексты некоторых реклам первой половины 90-х годов: *Немецкая кухня!* ***Обалденный*** *сервис!* ТВ; ***Халявщик*** *ты, Леня* (реклама периода пресловутой МММ). ТВ. 1994; *и* ***на́ликом*** (т.е. наличными деньгами. – *Г.Н.*). ТВ; я *поехал за* ***шмотками*** *в Турцию.* ***Крутой навар*** *получился.* ТВ. К более позднему периоду относятся следующие тексты: (о спрейте) *он не придаст мне* ***крутизны.*** ТВ. 1999; *Разыгрался аппетит – не тормози,* ***сникерсни.*** ТВ. 1998; *О, Моцарт, просто так ты получил? На* ***халяву?*** Эхо. 1999 (реклама бальзама Биттнера); *Шестьдесят* ***баксов*** *и ты выглядишь* ***круто!*** Эхо. 1996; (о напитке "Миринда"): *Жизнь хороша,* ***оттянись*** *не спеша.* ТВ. 1999; *Наши* ***мультики*** *самые* ***клевые*** *в мире.* Эхо. 1999 (ср. использование стилистического регистра *классный, прикольный, вкусный* в рекламе сока по ТВ. 2000); *У нас самые* ***клевые*** *цены.* Эхо. 2000; *Это* ***убойная*** *комедия.* Эхо. 1999, реклама театральной постановки и мн.др. В текстах реклам нередки и языковые ошибки, например, *Я беру* ***одну драже*** (вм. *одно драже*). ТВ. 1998; *призёмистый* (вм. *приземистый* – в рекламе автомобиля). ТВ. 2000.

---

[26] Ср. раздраженную оценку узуса реклам в прессе: «"Наша жизнь прогнет кого угодно", "оттянись", "сникерсни!". Думаете, это молодежно-тинейджерский жаргон? Как бы не так, на сегодняшний день это самый что ни на есть нормативный русский язык – в рекламных картинах. Потому что пока нет более мощного средства агитпропа, чем телевидение, и нет ничего более усердно им тиражируемого, чем подобная лексика (за нее рекламные деньги платят; и телеведущие не отстают)». НГ. 27/1999, ст., ар.

4. ВОЗМОЖНОСТИ РЕЧЕВОЙ КОРРЕКЦИИ В ЯЗЫКЕ СМИ

По характеру речевой коррекции письменные и устные СМИ существенно отличаются друг от друга.

Тексты письменных СМИ проходят или во всяком случае должны были бы проходить через **двойной** фильтр языковой коррекции: внешнее редактирование (внешняя языковая "цензура") и автоцензура, т.е. речевая саморегламентация. Разумеется, было бы наивным думать, что это может полностью гарантировать как от появления ошибок, о чем будет сказано ниже, так и от не всегда оправданных иноидиомных включений, т.е. жаргонизмов, вульгаризмов и т.п. Что касается последних, то в письменном тексте они нередко сопровождаются соответствующими графическими сигналами, например кавычками, выделяются тем или иным видом шрифта и пр., что делает их более заметными в общем текстовом потоке и одновременно сигнализирует о некоторой дистанцированности от них автора. По мере освоения этой лексики надобность в подобных маркерах обычно отпадает.

В устных СМИ практически **единственным** вербальным регламентатором является автоцензура, строгость которой в конечном итоге зависит от языковой компетенции говорящего[27]. В связи с этим для построения корректного с точки зрения литературной нормы устного текста необходим **более высокий** уровень ответственности говорящего, равно как и более высокий уровень его языковой компетенции, что на практике встречается далеко не часто.

Таким образом, с точки зрения соблюдения литературной нормы устный текст более уязвим, чем письменный. Немаловажное значение имеет и психологический фактор. Так, например, при анализе текстов радио- и теледебатов (материалы Института чешского языка ЧАН) можно заметить, что по мере нарастания усталости собеседников эффективность речевого контроля (перед телевизионной камерой, перед микрофоном) снижается, они начинают допускать больше погрешностей в литературной норме, у них все чаще проскальзывают элементы более привычного для их узуса идиома obecná čeština.

Высказанные выше соображения особенно актуальны, если учесть доминирующее положение устных СМИ в системе публичной вербальной коммуникации, а также то, что встречающиеся в их узусе ошибки с помощью радио и телевидения широко тиражируются, в силу чего они либо вызывают болезненную реакцию слушателей и зрителей[28], либо становятся дурным примером для подражания. Все это делает очевидным важность повышения культуры **устного** литературного слова.

Как следует из наблюдений, литературная норма обычно строже соблюдается на государственных каналах, чем на коммерческих, поскольку на последних преобладают "личностные", авторские передачи с преимущественным участием не дикторов, а ведущих программ. Некоторые коммерческие радиостанции пытаются удержать свою слушательскую аудиторию, демонстративно и даже несколько назойливо подделываясь под ее речевой узус.

---

[27] Роль внешней цензуры с определенной долей условности могут выполнять претензии, высказываемые слушателями (ср. телефонный звонок в ТВ-студию во время передачи "Третий глаз": *"Почему Вы приглашаете таких неграмотных собеседников?"*), однако, как правило, эти реплики не соотнесены во времени с речевым актом и поэтому не могут повлиять на качество текста.

[28] В этом отношении красноречив следующий пассаж из статьи литературного критика: «Виноват ли телеэкран, принужденный транслировать нынешний феномен – крайне странное употребление предложного "о": "в смысле о том...", "доказать о том..."? С большим удовольствием прощаю, скажем, думца Бабурина ("О чем они обижены?"), с еще большим – Станислава Терехова ("осмотрелся о том окружении"). Но огорчает Чубайс ("тема о том"), Явлинский ("посмотрите о том"), тем паче, вымолвить страшно, Радзинский ("в курсе о том"). Еще огорчительней, хоть, признаю, и эгоцентричней, что – ловлю у гигантов эпохи блох, а жена говорит мне: "Стой! Как ты сейчас сказал?..." Готово. И я инфицирован». НГ. 1997.

Разумеется, и в устных СМИ есть передачи, находящиеся под двойным контролем авто- и внешней цензуры, т.е. более "привязанные" к письменной текстовой основе. Мы имеем в виду информационные сообщения, некоторые пафосные тексты и пр., однако это их зачастую не спасает от различного рода "ляпсусов", жаргонизмов, клише и пр., нарушающих корреспонденцию между речевым и коммуникативным стандартом. Ср.: *Сейчас выступит академик, видный специалист в области социологии, профессор Бестужев-Лада, который ответит на вопросы* ***с подачи*** *нашего корреспондента* (вступительный комментарий ведущего радиопрограммы "Маяк", 1995); *Патриарх Алексий II* ***взял тайм-аут.*** *Он будет жить на своей даче.* Эхо-Новости. 1997 (эта информация многократно повторялась в течение дня); *Директор-распорядитель МВФ* ***взял тайм-аут***. Эхо-Новости. 1999, вед.; *передачи Андрея Максимова сегодня не будет, он* ***взял*** *себе небольшой* ***тайм-аут***. Эхо. 1999, информация об изменении программы передач, вед.; *британские власти* ***взяли тайм-аут*** *и отложили окончательное решение вопроса о судьбе Пиночета.* Эхо-Новости. 2000, вед. Ср. также реплику журналиста во время интервью: *А Вы можете ответить* ***навскидку****?* Впрочем, подобные клише встречаются и в письменных текстах; ср.: *Вот* ***навскидку*** *два шедевра.* НГ. 13/1999, оч., ар.; *в конце ноября* ***с подачи*** *Амана Тулеева был неожиданно заменен гендиректор компании.* НГ. 49/1999, заметка, ар.; *Судя по рейтингам ваша программа* ***набирает обороты.*** АиФ. 17/1999, инт., журналист; *сидеть* ***на игле*** *МВФ.* НГ. 1998; *Да вся культура американская, от "Макдональдса" до "Диснейленда", рекрутирует эту публику.* ***Посадив их на эту иглу****, они имеют своего покладистого восторженного зрителя.* НГ. 44/1999, инт., рп.; ***посадить*** *актеров* ***"на иглу"*** *качественной драматической игры.* НГ. 5-д/2000, рец., ар. и т.п.[29].

Появляются и новые виды клише, ср., например, распространенное ныне выражение *фишка* (возможно, из игорного сленга): (диалог двух ведущих по поводу кулинарного рецепта) *в чем* ***фишка****-то?* – (другой поясняет) *В чем* ***смысл****?* Эхо. 1999, передача о ресторанной кулинарии; *Главная* ***фишка*** *– ты сам создаешь блюдо, которое кушаешь.* Эхо. 1999, реклама ресторана. Ср. также в письменных текстах: *Блондинка так и осталась отличительной* ***фишкой*** *"Женских историй".* НГ. 44/1999, рец., ар.; *У каждой вокалистки есть какие-то* ***фишки****. А Агузарова... Понимаешь, у нее есть такие* ***фишки****, которые принадлежат только ей.* НГ. 2-д/2000, инт., рп.; *В Пскове отпевали десантников – по высшей* ***фишке****, с большими церковными чинами, в кремле.* НГ. 11-д/2000, ст., ар. – в последнем случае употребление клише диссонирует с трагическим смыслом высказывания. Приведем пример и еще одного нового клише *быть в шоколаде* 'чувствовать себя удовлетворенным': *Вот вы сейчас* ***в шоколаде*** *и не считаете, что это может привести к застою? – Я себя не чувствую* ***в шоколаде****. Мы получили неплохие контракты, которые нам позволяют не считать каждый день нашим последним днем в бизнесе, как это было после обвалов 1995-го и 1998-го годов.* НГ. 11/2000, инт., ар., рп.; *И Уткин остался в родной редакции* ***в полном шоколаде.*** НГ. 11/2000, ар. (заметка о спортивных программах ТВ).

Для предотвращения языковых ошибок и некоторых стилистических несуразностей в устных СМИ, разумеется, могут быть использованы различного рода "ухищрения" (например, автосуфлер). Возможными являются и предварительное ознакомление с письменной основой текста, консультации с редактором, предварительная запись передачи с последующим ее редактированием, монтированием и пр. Тем не менее вряд ли можно быть полностью уверенным в том, что в "прямом эфире" и вообще в публичном официальном общении при сиюминутном речевом акте непременно прозвучит

---

[29] Ср. пример клише в чешском языке: (интервью кинорежисера Я. Сверака радиостанции "Эхо Москвы" – 12.11.1999): *máme před sebou* ***horizont*** *možností* или же: *střednědobý* ***horizont****.* Euro. 12/1999.

безупречный в языковом отношении текст, что в него не проникнут элементы просторечия, сленга и т.п., отражающие речевые навыки и специфику речевого поведения коммуникантов. Положение осложняется еще и тем, что в отличие от письменного текста в устном практически отсутствуют речевые маркеры (кроме голосового выделения или же введения более или менее пространного комментария), предупреждающие адресата об актуализованном использовании тех или иных языковых средств.

Выше мы уже говорили о том, что доминирующее положение СМИ вообще и устных в особенности повышает требования, предъявляемые к языковой компетенции говорящего, к его общей речевой культуре. В этой связи не могут не вызывать беспокойства некоторые тревожные симптомы, например, снижение качества преподавания литературного языка в школе. Между тем именно школе как институциональному способу освоения языковой культуры должна принадлежать важнейшая роль в **активном** освоении литературной нормы[30]. Как известно, в России, да и не только в ней, приобщение к литературному языку обычно заканчивается в старших классах средней школы; в высших учебных заведениях происходит лишь закрепление ранее приобретенных навыков.

Негативное влияние на состояние современной речевой культуры оказывает прогрессирующее снижение удельного веса и качества печатной продукции. Это касается как так называемой "книжной", или же "текстовой" культуры, переживающей сейчас кризис, так и письменных СМИ. Номенклатура и тираж последних неуклонно уменьшаются, снижается качество редакторской и корректорской обработки текста. Взамен этого основным средством распространения информации, достижений культуры во все большей степени становится телевизор или же радио[31], что в свою очередь означает преимущественно "слуховое" приобщение к информации со всеми вытекающими из этого последствиями.

Нельзя не учитывать и ограничение возможностей осуществления централизованного контроля за соблюдением литературной нормы, рассредоточенность очагов воздействия на массовое языковое сознание. За последнее десятилетие распалась единая издательская сеть. На смену ей пришли многочисленные коммерческие мини-издательства (заметим, что даже в небольшой Чехии их, к примеру, насчитывается не менее 300). Некоторые из них в погоне за сиюминутными выгодами и, в частности под давлением таких обстоятельств как необходимость скорейшей окупаемости затрат, быстрейшей реализации книжной продукции и т.п. не могут или же не хотят уделять должного внимания уровню редакторской подготовки текста, наводняют книжный рынок литературой весьма сомнительного художественного достоинства[32].

Не случайно в текстах СМИ встречается немало ошибок, свидетельствующих о неполноценной языковой компетенции авторов, а также о низком уровне редактирования письменных текстов.

---

[30] Книга, СМИ и т.п., по нашему мнению, способствуют приобретению либо **пассивных** навыков владения литературной речью, либо – при благоприятных условиях – закреплению уже имеющихся речевых навыков.

[31] Ср.: *В последнее время нормальные люди предпочитают газет в руки не брать: во-первых, зачем отчаиваться? А во-вторых, стоит ли тратиться? Проще посмотреть телевизор*. НГ. 9/1999, рец., ар.

[32] Приведем оценку деятельности подобных издательств в критической заметке в Новой газете (14/1999): "Мне как-то не везет в работе на хорошие рукописи, – жалуется Олег, молодой редактор одного коммерческого издательства. Большей частью – дурной вкус, уровень ниже среднего. Смакование кровавых подробностей, размазывание по стенам кишок и мозгов, пострачично разложенные трупы... Тошнит! Но жить на что-то надо" или же: "Авторы путают все: от географических поясов до медицинских понятий, не говоря уже о судебной экспертизе и криминалистике. Один автор хронически путал эмфизему с эндемией... У третьего преступник пытался отравить свою жертву не банальным мышьяком, а перманганатом калия! Если бы он знал, что это простая марганцовка" (Там же).

Приведем выборочно лишь некоторые ошибки, зафиксированные нами в устных и письменных СМИ: (ошибки в заимствованиях) *у нас сложился* ***вакуум безвластия***. Эхо. 1998, рп.; *дело в* ***менталитете сознания***. Эхо. 1999, рп.; *драться на* ***эспандерах*** (вм. *эспадронах. – Г.Н.*). НГ. 1999, оч., ар.; *высоких гостей возили на* ***терминальные*** *источники*. НГ. 24/1999, оч., ар. и т.д.; (ошибки в весьма модной сейчас архаической лексике) *он почил* ***в бозé***. Эхо. 1999, инт., рп.; *Едва ли не единственным исключением здесь можно считать Вайкуле, да и то скорее как танцовщицу кабаре,* ***нежели как*** *певицу*. АиФ. 18/1999, оч., ар.; *не пользуется в нашей стране популярностью у* ***власть держащих***. НГ. 6/2000, инт., ар.; (ошибки в использовании современной лексики) *Борис Ельцин* ***накоротке*** (в значении 'непродолжительное время'. – *Г.Н.*) *поговорил с патриархом и тут же уехал*. Эхо. 2000, кор.; *относится* ***ревностно*** (вм.: *ревниво*). НТВ-Новости. 2000, вед.; *У меня раньше были длинные волосы, а некоторое время назад я* ***постриглась***. НГ. 24/1999, инт., рп.; *хлеба, напоминающего по форме* ***осетрину****, зайца, белочку*. Муниципальная газета "Сокольники. Восточный округ". 1999, заметка, ар. и мн.др.

Некоторые из ошибок нами определяются как **диагностические**: имея массовый характер, они, на наш взгляд, фиксируют напряженные места в существующей кодификации литературного языка, сигнализируя о происходящих изменениях в норме. Возможно, в дальнейшем, разумеется, дифференцированно, здесь будет проведена коррекция кодификации или же будет расширен диапазон варьирования.

К числу диагностических ошибок мы бы отнесли определение рода сущ. *кофе*, которое по аналогии очень часто (особенно в разговорном языке) относят к среднему, а не к мужскому роду; ср. также ошибки в родовом разграничении *обоих* и *обеих (в* ***обеих*** *государствах*. Радио. 1995, вед.; *в* ***обеих*** *конкурсах*. Радио. 1995 (организатор конкурса им. П.И. Чайковского); ***обеих*** *собеседников*. Радио. 1995, инт., рп.). Трудности доставляет и склонение сущ. *коллега*; ср.: *с моим коллег****ом*** (данная ошибка неоднократно регистрировалась нами в речи комментаторов и ведущих программ на радио). Массовый характер имеют нарушения глагольного управления – приведем лишь несколько примеров в дополнение к указанным выше: *Примаков* ***подтвердил о том***. ТВ-Новости. 1998 (Г.Н. Селезнев); ***демонстрировалось о том***. НТВ. 1999 ("Герой дня", С.И. Сорокина); ***видели о том***. НТВ. 1999 ("Герой дня", А.И. Музыкантский). Насколько мы можем судить, нечто подобное наблюдается и в чешском языке.

Очень часто наблюдается смешение частиц *не* и *ни*: *тут вовсе* ***ни*** *при чем*. НГ. 42-д/1999, оч., ар.; *Дети-то* ***ни*** *при чем*. НГ. 29/1999, оч., ар.; *А альтруизм* ***ни*** *при чем!* НГ. 23/1999, инт., рп.; *вам* ***не*** *в жизнь не видать*. НГ. 29/1999, оч., ар.; *Сергею Доренко* ***не*** *горячо и* ***не*** *холодно*. НГ. 47/1999, ст., ар. и пр.

Как уже отмечалось выше, массовый характер носят ошибки в склонении сложных числительных.

Распространенными являются ошибки при градации сравнительной степени прилагательного: *Относиться куда* ***более серьезнее***. ТВ-Новости. 1998, вед.; *все* ***более четче***. Там же; ***более строже, более приятнее***. Эхо. 1998, инт., рп.; ***Гораздо более адекватнее***. НТВ-Новости. 2000 (Ястржембский); *По логике Владимира Путина следует, что кровь российского солдата, боровшегося в 1977 г. в далекой Эфиопии,* ***более краснее****, чем у российского военнослужащего, участвующего в "антитеррористической операции" в Чечне*. НГ. 3/2000, заметка от редакции[33].

По поводу приведенных примеров можно высказать предположение о постепенном ослаблении градационного значения у прилагательных в сравнительной степени, в связи с чем и проявляется потребность во введении дополнительного компенсатора.

---

[33] Ср. также интенсификацию превосходной степени прилагательного: *он имеет* ***очень огромнейшие*** *шансы победить*. НТВ-Итоги. 1999, вед.

5. РЕЧЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СМИ

Говоря о речевом взаимодействии между адресантом в адресатом, мы хотели бы разграничить интеракцию скрытую (латентную) и явную, открытую. В письменных СМИ преобладает интеракция первого типа. Ее суть заключается в прагматическом "усреднении" узуса, его подстраивании к узусу предполагаемого адресата с целью устранения возможных коммуникативных и вербальных помех, препятствующих общению.

В устных СМИ также доминирует латентная интеракция, однако по мере возрастающего *осознания функциональной специфики медиальных средств, равно как и* возможностей, открывающихся перед ними в результате освоения достижений научно-технического прогресса (телефонные опросы в прямом эфире, телемосты и пр.), постепенно усиливается значимость интеракции открытой, предполагающей активизацию участия адресата в качестве коммуникативного партнера.

В результате сказанного в электронных СМИ **однонаправленный** поток информации (адресант > адресат) может трансформироваться в **двунаправленный**: адресант > > адресат; адресат > адресант), в котором оба участника коммуникативного акта могут меняться местами, функционально замещая друг друга. Соответственно адресат, генерируя текст, транслируемый публично, из пассивного участника коммуникации может стать активным; адресант, напротив, в определенной ситуации превращается в адресата, которому (вместе с массовой аудиторией) данный текст предназначается.

В указанной ситуации при "выведении в эфир" тиражируются речевые навыки обоих участников коммуникативного акта, хотя они и находятся в неравных условиях: адресант, как правило, владеет не только более исчерпывающей информацией, но и обычно, наряду с более высоким уровнем языковой компетенции, имеет некоторое профессиональное представление о том, в какую вербальную форму следует облекать информацию при ее трансляции на массовую аудиторию; адресат, напротив, продуцируя текст, такими познаниями не обладает, он говорит "сходу", без подготовки (хотя и с дозированным использованием автоцензуры), т.е. опирается на те речевые навыки, которыми располагает.

Активизация речевого взаимодействия очень важна для эволюции речевого стандарта, так как массовое тиражирование речевого поведения уже не только адресанта, *но и адресата со всеми возможными погрешностями, включая и несовершенство* владения нормой, изъяны автоцензуры и т.п., способствует усилению влияния разговорной речи на узус публичной вербальной коммуникации.

Изучение языка СМИ наглядно подтверждает справедливость тезиса о наличии диспропорции между численностью носителей и пользователей литературного языка: количество последних растет в геометрической прогрессии по сравнению с численностью его реальных носителей. В результате этого участником публичного вербального общения может оказаться (нередко именно так это и происходит) лицо, уровень языковой компетенции которого не является достаточным для того, чтобы порождаемый им текст не содержал ошибок и был употреблен адекватно коммуникативной ситуации.

Яркой иллюстрацией сказанного является так называемая гиперкорректность, когда гости передачи, не владеющие навыками культурного публичного общения, "судорожно" стараются говорить литературно (разумеется, сообразно их представлениям, т.е. с изобилием профессионализмов, канцеляризмов и пр.). Ср. примеры, извлеченные из радио-, телеинтервью: ***на ряд** товаров **овощного свойства***. ТВ. 1991; ***сделано возвращение** к этому вопросу*. ТВ. 1991; *Я **предпринял продолжительное общение** с Черномырдиным*. ТВ. 1994; *Это дело **получило большое распространение***. Радио. 1994; ***закрыть потребность** населения **по** муке*. Радио. 1995; *Я **войду** в министерство **с запросом**; патрульная служба ищет и находит **отдельные элементы**; эффективные способы **воздействия** на эту проблему*. ТВ. 1994; ***для усиления** своего **противоправного деяния**; наличие транспортных средств **выражается** в автомо-*

билях; сложная ситуация ***в плане доказывания***. ТВ. 1994; *мы дали команду* ***произвести подметание*** *улиц*. Радио. 1997; *он скрылся* ***путем*** *свободного выхода*. Радио. 1997 (судья о бегстве осужденного. – *Г.Н.*); *Заключенные бежали* ***путем пропи́ла*** *решетки*. ТВ. 1998; *они* ***совершили падение***. Радио. 1995 (спортивный комментатор о падении фигуристов. – *Г.Н.*). Как своеобразную гиперкорректность можно рассматривать и следующую корректировку фразеологизма (вм. *"набить* ***морду"*** – *"набить* ***лицо"***): *Кто с кем развелся, кто кому* ***набил лицо*** *в ресторане ЦДЛ* (Центральный дом литератора. – *Г.Н.*) – *не интересно*. НГ. 12/1999, заметка, ар.

Следует отметить, что коммуникативная, а также вербальная стратегия ведущих диалогических передач на радио и телевидении[34] во многом выстраивается сообразно речевому поведению собеседника. Так, если гость студии, чувствуя себя скованно, говорит на "суконном" языке, ведущий передачу журналист для создания атмосферы непринужденности, чтобы "разговорить" собеседника, "пересыпает" свою речь жаргонизмами; ср. (гость) *гуманитарная помощь* – (ведущий программы) *гуманитарка?* ТВ. 1995 или же (гость – представитель МВД) *работал с нашим контингентом; отдельные случаи, которые мы имели в прошлом году; такие вещи имеют место* и пр. – (ведущий) *человек в* ***кожáне*** (т.е. в кожаной куртке или пальто. – *Г.Н.*); *кто-то погорячится, дубиной* ***съездит*** *своему подопечному*. ТВ. 1994 и т.д.

Интересные наблюдения делает И. Коларжова [Kolářová 1999: 315–316]. Так, она отмечает, что, начиная передачу (т.е. до установления прямого вербального контакта с собеседниками), чешский ведущий в основном говорит на литературном языке (стилистика официального общения). Затем, по-видимому, из речевой "солидарности" или же деликатности (оба гостя – молодые актеры, широко использующие обиходно-разговорный язык), а скорее всего из соображений коммуникативной целесообразности, желания "разговорить" собеседников переходит на привычный для гостей передачи разговорный узус: (реплика ведущего) *A tak i říkám, nebudu se* ***radší babrat*** *v těch podrobnostech... teď mě příjemně překvapilo, že vy ste hráli ve filmech obou****ch****. Takže si myslím, že když už sme* ***začli*** *ten film, mohli* ***bysme*** *si o něm ňeco říct*; (реплика актера) *vo kterým vlastně?*; (реплика ведущего) *Můžeš mluvit vo obou, a určitě bude posluchače zajímat,.. za jakejch podmínek se to natáčelo...*; (реплика актера) ***No****, já sem...* ***vodtamtud****...mně se vpodstatě vybavujou tak* ***akorát ty*** *příjemný historky...vzpomínky,* ***kerejch*** *bylo... u tý* ***muziky*** *dost... vůbec nás tam bylo první rok pět* ***základ'áků****, druh****ej*** *rok asi patnáct* и т.д.

Кстати говоря, проблема установления речевого контакта в СМИ уже давно обсуждается в богемистике; ср.: "Учитывая отличия литературного языка от языка повседневного общения, вряд ли будет уместным в так называемой живой беседе по радио или на телевидении заставлять себя последовательно соблюдать литературную норму там, где это может помешать установлению контакта со слушателем или где бы это производило впечатление искусственности" [Čeština za školou 1974: 70].

Использование таких форм вещания как передачи "прямого" эфира, спонтанные интервью, телефонные опросы, "телемосты", ставшие теперь модными многочис-

---

[34] Примечательно, что в речи ведущих на чешских радио и телевидении литературная норма в целом соблюдается более строго, чем у их гостей (и, кстати говоря, по нашим наблюдениям, чем у русских ведущих), хотя, впрочем, и в речи чешского ведущего программы можно зарегистрировать разговорные включения, особенно в ситуации, когда он хочет установить контакт с собеседником либо произвести соответствующее впечатление на массового слушателя или же зрителя. Ср. фрагмент из передачи "Тобоган" (1996 г. – текст из архива Института чешского языка ЧАН): (ведущий программы) *Pavel je skvělej v tom že* ***dyž*** *dělá* ***ten*** *Kufr* (название телевизионной передачи. – *Г.Н.*) *tak já vždycky žasnu že* ***ta*** *obrazovka je tak rozhejbaná ... Vítku* ***vodkaď*** *si přijel ... Vítku a to je výborný ... vono je to ale dobře*; (гость передачи, работает ведущим на ТВ) *no já to teda vopravdu moc rád nemám ale vo mně kdysi někdo napsal že ... kopíruju nějakej americkej styl.*

ленные "игровые" передачи и пр. – все это усиливает импровизационное начало, делает общение более непринужденным, раскованным и – что очень важно – способствует более широкому включению в устные СМИ диалогической речи.

Как показывают наблюдения, диалогическая форма общения является для слушателя более естественной и доступной. Иллюстрацией этого может служить восприятие диалектоносителями монологической и диалогической речи в устных СМИ: "Для носителей русского (как и всех славянских) диалектов литературная форма языка безусловно вполне понятна. Однако ситуация контакта с радио- и телеречью имеет свою специфику. Для слушателя язык средств массовой информации принципиально монологичен; диалог, в котором не участвует аудитор, также воспринимается как монолог (т.е. речевая деятельность, протекающая без его участия). Форма же монолога, имеющего к тому же определенные лингвистические отличия от языка аудитора, не обеспечивает полного понимания передаваемой информации" [Калнынь, Масленникова 1995: 23–24].

Не случайно в устных СМИ нередко намеренно **имитируется** диалогическое общение с воображаемым собеседником, причем с несколько "наигранной" непринужденностью, доверительностью (данный вид диалога не следует путать с диалогом, характерным для разговорного языка, поскольку он является не спонтанным, а искусственно выстроен одним человеком, т.е. это явление сходное с художественным диалогом). Так, ведущий телепередачи "Версии" (август 1995), прощаясь с телезрителями перед уходом в отпуск, нарочито доверительно говорит в пространство: *А вы уж тут присмотрите за нашим хозяйством: Чечня, скандал вокруг генпрокуратуры.*

Примечательно, что для создания атмосферы доверительности, симпатии к предполагаемому собеседнику журналисты в последнее время все чаще прибегают к эмоционально окрашенной лексике, в частности к деминутивам, прилагательным и наречиям с оценочными суффиксами (возможно, здесь сказывается и влияние разговорной речи). Ср. примеры из речи ведущих и гостей радиостанции "Эхо Москвы" (наблюдения 1999–2000 гг.): *собачка такая* ***декоративненькая***; *сейчас будет* ***кратюсенькая*** *информация; довольно* ***стандартненькая*** *история; когда цена на золото подрастет, его* ***удачненько*** *продадут* (гость студии – экономист П. Бунич); ***постепенненько*** *перетекают полностью* (гость студии – префект А. Музыкантский). Красноречив диалог ведущей со слушателем по поводу проводимой на "Эхо Москвы" игры: *а* ***газетка*** *у вас есть с* ***купончиком****?... Там есть такой* ***списочек;*** *Там есть еще один* ***куплетик***; (о выигрыше – тостере) *на нем можно делать* ***тостики****. Узнайте, когда можно будет получить* ***подарочек;*** *наш* ***телефончик:*** 203-19-22; *у меня еще есть* ***немножечко*** *времени; приму еще один самый последний* ***звоночек***[35]; (ведущий, т.е. это мужская, а не женская речь): *там есть такая маленькая* ***табличечка****; задай им каверзный* ***вопросец***; *там стоит шикарный* ***барчик*** (гость студии – официант описывает, как выглядит их летний ресторан); *Это не* ***денек****, а* ***денище*** (о названии передачи "Ну, и денек") и пр. Ср. также употребление прилагательных со значением ослабленного признака: *ну, это ты* ***крутовато***; *он* ***молодоват*** *для отца* (или же на ТВ: *этот вопрос* ***общеватый***).

Диалогическая речь может воспроизводиться в СМИ в текстах так называемой "секундарной публичности", т.е. при аутентичной репродукции интервью, речи персонажей и пр., когда они из факта частной межличностной коммуникации становятся достоянием массовой аудитории[36] (в каком-то смысле здесь можно говорить о нару-

---

[35] Примечательно, что ведущая игровой передачи на "Эхо Москвы" (2000 г.), употребив очередной деминутив, осеклась, адресуя коллеге реплику "*Нашим слушателям не нравится, когда мы говорим* ***трубочка, телефончик****. Они говорят, что мы сюсюкаем*", на что другой ведущий шутливо замечает: "*Положь* ***трубку***".

[36] Нечто подобное происходит и при использовании в целях индивидуального межличностного общения компьютерной связи (в том числе и Интернета), доступ к которой может иметь неограниченное количество потребителей.

шении корреспонденции между нормой речевой и коммуникативной). Приведем примеры из прессы: (разговор с актером из популярного телесериала "Менты") *А что, вы все не такие богатые, как об этом твердят? – Я не понимаю, почему люди считают, что мы очень сильно "**упакованы**"; Но **тачки**-то у вас у всех есть? – Я говорю: а с какой **балды** вы мне вообще звоните по этому поводу?; Ну, как же, говорит, вся страна знает, что вы – богатые люди! – Я считаю его гениальным режиссером, таких в стране **жутко** мало. Вот в театре, после шести месяцев репетиций, когда я выхожу на премьеру, и с меня пот в три ручья, я могу сказать: да, мне **кайфово**!; Тем не менее ходят слухи, что вы все – любители хорошо **поддать**.* НГ. 2000; *Как вы выбираете героев? – Не выбираю... Я **западаю** на уникальность.* НГ. 2000, интервью с режиссером, рп.; *Всем заправляет **мужик, кликуха** Грузин. **Забалуй** только, пикни против – "**шестерки**" тут же **резину*** (шины на автомобиле. – *Г.Н.*) *продырявят, а там и **железку*** (железную часть машины. – *Г.Н.*) *поуродуют.* Мир за неделю. 17/1999, оч., рп.; *Эй, **чувак**, ты, **в натуре**, пить будешь?* МК. 1999, оч., рп. Ср. также довольно точное воспроизведение стилистики современного непринужденного общения: *Они с Мишей решили обратиться к МВФ (так они теперь звали Мишку Филимонова), который за эти годы неплохо "**раскрутился**", **заимел** два магазина, трехсотый "**мерс**". МВФ согласился одолжить приятелю **штуку баксов**... МВФ усмехнулся: **Рекламщики-пиарщики** сейчас **на хрен** никому не нужны. К весне выживет только **крупняк**, да и то не весь. Короче, вот тебе реальная схема: снимаешь "**двушку**" в недорогом районе... потом **запрягаешь** бригаду **работяг** и приводишь свою квартиру в товарный вид, сдаешь и имеешь надежные **бабки**.* "Мир за неделю" 3/1999, очерк в стиле фельетона.

Следует, однако, учитывать, что журналист, воспроизводя речевые особенности своих собеседников, может прибегать к стилизации, редактированию и пр. (определенное вмешательство в аутентичный текст возможно и при повторном воспроизведении текста интервью на радио и телевидении).

Как мы могли видеть, в силу активной речевой интеракции в устных СМИ их узус становится более проницаемым для вторжения разговорной стихии, в том числе и для различного рода эпатажных включений, "раскачивающих" литературную норму, делающих ее более лабильной, склонной к вариативности.

6. ЯЗЫК СМИ КАК ФАКТОР ВНУТРИЯЗЫКОВОГО РАЗВИТИЯ

Возрастание объема и скорости информационного потока в устных СМИ в комбинации с высокой стоимостью эфирного времени, а также ограниченностью газетной площади (если речь идет о письменных СМИ) делает особенно актуальной проблему языковой экономии. Конкретно речь идет о необходимости максимального насыщения каналов коммуникативной связи компактно выраженной информацией.

В какой-то мере эта задача может быть решена за счет подключения, наряду с вербальными средствами, других знаковых систем[37] (ср. значимость визуального восприятия информации на ТВ). Однако важнейшее значение для компрессации, сгущения информации имеет использование более экономных номинационных способов, таких как универбизация и тесно примыкающая к ней деривация.

Мощным источником таких компактных обозначений является разговорный язык, активно вторгающийся в сферу публичной вербальной коммуникации. Как известно,

---

[37] Технические возможности современных каналов коммуникативной связи допускают использование различных семиотических систем и их комбинаций друг с другом (например, кинетической, звуко-интонационной, вербальной, звуко-сигнализационной, иконической, графической и пр.). При этом нельзя не видеть намечающиеся симптомы **потеснения** вербальных средств или же их недостаточного использования (ср., к примеру, сокращение площади вербального текста в иллюстрированных журналах).

именно в разговорном языке зарождаются инновационные процессы, влияющие в конечном итоге и на литературный язык (см. [Нещименко 1999б]).

Язык СМИ наглядно иллюстрирует замену громоздких описательных конструкций более компактными универбами, причем за многими из них легко угадывается разговорный шлейф: ***Максималка*** *равна 160 километров в час.* Эхо. 1999, вед. (= максимальная скорость); *я объездил несколько* ***обменников*** (= обменный пункт). НТВ-Новости. 1999, кор.; используют ***противоугонку*** (= противоугонное средство). Эхо. 1998; вед.; *Всех поразили десятки миллиардов долларов, прокачивавшиеся через "****оффшорку****"*. НГ. 12/1999, оч., ар. (= оффшорная зона); *В июне прошлого года решили пугнуть тех, кто занижал* ***усредненную величину*** *таможенных платежей. Ввели в аэропортах обязательный осмотр всего груза, если "****усредненка****" меньше $ 2 за кг.* НГ. 13/1999, заметка, ар.; *они получили название* ***оконных кондиционеров****. Создатели* ***оконников*** *одним махом решили массу проблем.* НГ. 17/1999, оч., ар.; *Про* ***Склиф*** *никому ничего не надо объяснять. Все и так знают, что это Институт скорой помощи имени* ***Склифосовского****.* НГ. 12/1999, заметка, ар. и мн. др.

Частотность использования универбов в языке СМИ, особенно устных, стремительно возрастает, постепенно "легализуется" и их употребление в литературном тексте. Примечательно, что нередко описательная конструкция употребляется лишь в начале текстового фрагмента, как бы выводя универб в "свет". Проведенный нами анализ небольших газетных статей, включающих варьирующиеся номинации *гуманитарная помощь / гуманитарка; минеральная вода / минералка; пожизненно осужденный / пожизненник; канатная дорога / канатка,* показал следующее соотношение их частотности: в первой паре – 7 : 5; во второй – 2 : 3; в третьей – 4 : 5; в четвертой – даже 3 : 6 (правда, в последнем случае универб *канатка* был закавычен: *строительство* ***канатной дороги*** *через бухту Золотой Рог ...с вагончиков "****канатки****" туристы любуются пейзажами.* Нов. Изв. 25.02.2000). Характерно, что универбы встречаются не только в речи персонажей, но и в речи авторской (в том числе и в заголовках газетных статей).

Симптоматичной является значительная активизация в языке СМИ использования деривации. Это проявляется в возрастании продуктивности традиционных словообразовательных категорий и способов словопроизводства, вовлечении в сферу словообразования новых типов производящих основ и т.п. Выше мы уже говорили об активизации использования относительных прилагательных, а также о расширении возможностей образования и возрастании частотности употребления деминутивов и оценочных прилагательных.

Вне всякого сомнения увеличивается продуктивность словопроизводства феминативов, подтверждением чего является приток соответствующих новообразований, включающих и окказионализмы. Аналогичная тенденция, впрочем, наблюдается в ряде европейских языков (например, немецком и французском), где соблюдается так называемая политкорректность.

Приведем некоторые примеры новых лексических пополнений феминативов в узусе СМИ: ***Оскароносица-99*** *как раз и сыграла там роль последней графини Вессекской.* НГ. 23/1999. оч., ар.; ***клофелинщица*** НГ. 13-д/2000, рец., ар.; *Все, кто меня знает как* ***шлягерницу****.* Эхо. 1999, беседа с композитором И. Грибулиной, рп.; *она начинала как* ***нововалетчица****.* Эхо. 1999 (искусствовед о выставке художницы, входившей в объединение "Новый валет"); *удачливая* ***детективщица****, без агрессивных намерений потеснившая не только "серьезную" прозу, но и мастеровитых работников своего цеха.* НГ. 28/1999, рец., ар.; ***пограничницы*** *появились в Шереметьево.* НТВ-Новости. 1997, репортаж, ар.; ***Партноменклатурщица*** *изъявляет презрение к "городской колбасе".* НГ. 8/1999, рец., ар.; *наша* ***патриархиня*** (о Пугачевой). Эхо. 1999, вед.; *Его* ***педагогиня*** *по фортепиано в консерватории.* Эхо. 2000, вед.; **Фотографиня** (заголовок очерка о женщине-фотографе). НГ. 4-д/2000. оч., ар.; *портрет* ***монархини****.* Итоги.

2000, кор. (ср. также появление новообразований *снайперша, боевичка* в связи с военными действиями в Чечне) и пр. Впрочем иногда параллельно используется и описательное обозначение женщины; ср.: *история страсти безвольного Федора и* ***женщины-вамп*** *Елены... он не знает, как ему жить без своей* ***вампирши*** *Елены.* НГ. 44-д/1999, оч., ар.; *говорить о романе между руководителем администрации президента Александром Волошиным и специализирующейся на российских политиках канадской* ***девушкой-фотографом*** *Хайди Холлинджер еще рано.* Версия. 11/2000, ст., ар.

Многие из феминативов появились в узусе СМИ под очевидным влиянием разговорной речи (ср.: *На пороге возникли учитель физкультуры и* ***завучиха****, запыхавшиеся, как революционные матросы.* НГ. 49-д/1999, репортаж, ар.).

В этой связи обращает на себя особое внимание возрастание продуктивности суффикса феминативов *-ш(а)*, который обычно используется в разговорной речи, причем нередко для обозначения женщин-жен. Приведем примеры дериватов с *-ш(а)*, зафиксированных в новейших текстах: *народ временно превращается в* ***Электорат*** *(даму со странными наклонностями)... Перед* ***Электоратшей*** *гарцуют самцы-кандидаты.* НГ. 46-д/1999, заметка, ар.; *молодая* ***дизайнерша****.* Эхо. 2000, обзор моды, ар.; *интервьюерша.* НГ. 4/2000, рец., ар.; *фильм болгарской по рождению и бельгийской по диссидентской своей планиде* ***режиссерши*** *Златины Русевой.* НГ. 45/1999, рец., ар.; *девушка-****боксерша****.* Эхо. 2000, информация, ар. [имеется, кстати, и конкурирующий дериват *боксерка: Ей же принадлежали и симпатии зрителей, дружно подбадривавших "****боксерку****"* [вполне законный неологизм с 9 октября). МК. 12.10.1999, статья о женском боксе, ар.]; *от негреющего камина до* ***диктори*** *"Новостей культуры".* НГ. 45/1999, рец., ар.); *Это депутат (или* ***депутатша****?) Госдумы.* НГ. 39/1998, оч., ар.; ***дискжокейша*** *на ТВ показывает жевательную резинку.* НГ. 24/1998, рец., ар.; ***предпринимательша*** *подъехала к дому.* ТВ-6. 2000, информация, ар.; *Одна из* ***оппонентш****, чрезвычайно лояльно настроенная к соискателю.* НГ. 6-д/2000, ст., ар.; *как называет Полина* ***меценатшу*** *Олимпиаду.* НГ. 2-д/2000, инт., ар.; *А кем была Туманова? Подругой* ***маклерши?*** НГ. 44-д/1999, оч., ар.; *я хочу найти* ***организаторшу*** *демонстрации* (феминисток. – *Г.Н.*) Эхо. 2000, беседа, рп. и мн. др. (добавим к этому упоминавшуюся выше *снайпершу*). Ср. также наступательную позицию суффикса *-щик (пиарщик / пиаровец; информационщик / информационник* и под.).

Можно привести многочисленные примеры активизации словопроизводства абстрактных существительных: *За счет своей* ***шизанутости****.* НТВ-Итоги. 1998, инт., ар.; *Отказались выдвигать по разнарядке ЦК ВЛКСМ* ***лучших*** *на правительственные награды. Какой мерой мерить эту* ***лучшесть?*** НГ. 48/1998, оч., ар.; ***Отрицательность*** *его имиджа.* НГ. 24/1998, оч., ар.; *Анатолию Борисовичу удалось войти в реку* ***вице-премьерства****.* НГ. 24/1998, оч., ар.; *реальная "****носибельность****", если так можно выразиться, моделей.* АиФ. 6/1999, заметка о показе мод, ар.; *но уж пародировать так пародировать, и делать это надо в той же тональности и с той же мерой* ***отвязанности****.* НГ. 37/1999, рец., ар.; *За время своего* ***иовства*** (об исполняющем обязанности премьера С. Кириенко). Эхо. 1998, журналист; *У Михалкова каждый фильм жестко просчитан: на прокат в Москве и по России, на* ***фестивальность*** *вообще и на возможные номинации в частности.* НГ. 9/1999, оч., ар. и мн. др. У ряда Nomina Abstracta суффикс *-к(а)* успешно конкурирует с литературными формантами: *проявление – проявка (работники "Кодака", куда он носил на* ***проявку*** *пленочки.* НГ. 45/1999, оч., ар.); *руление – рулежка; озвучение – озвучка* (ср. диалог между журналистом и актерами: Ж.: *Значит, вы против дубляжа*? А.: *Конечно, он интереснее в сравнении с другими видами "****озвучки****" ...после некоторых фильмов я горжусь, что участвовал в их* ***озвучении****.* Мир за неделю. 13/1999, инт, рп.) и др.

Более компактными являются и глаголы типа ***банкротить*** (банки). Эхо. 1999,

вед.(= проводить, осуществлять банкротство, подвергать банкротству); *То, что представители исполнительной власти* ***секретят*** *эти материалы, понять можно*. НГ. 12/1999, оч., ар. (= делать секретным, засекречивать); ***ксерить*** (= делать ксерокс); *Разыгрался аппетит – не тормози,* ***сникерсни***. ТВ. 1998, реклама (= съешь сникерс); *подозревали, что артисты* ***фанерят***. НГ. 39-д/1999, инт., рп. (= петь под "фанеру", т.е. под фонограмму); *Допустим даже, тебя не убили на Киевском рынке местные менты, которые "****крышуют****" рынок*. НГ. 9/1999, оч., рп. (= делать "крышу", охранять) и др.

Следует подчеркнуть, что повышенная частотность использования в текстах СМИ разговорных включений так или иначе способствует повышению их социолингвистического статуса, а также укрепляет, как мы могли видеть, их позиции в конкуренции с адекватными литературными аналогами. Дополнительные импульсы получает конкуренция не только в словообразовании, но и на других уровнях языковой системы, например в морфологии[38].

* * *

Подведем некоторые итоги рассмотрения исследуемой проблемы.

Анализ узуса современной публичной коммуникации на русском языке позволяет сделать вывод о том, что в данной сфере вербального общения во второй половине XX столетия происходит несомненное **усреднение, массовизация** речевого стандарта. Поскольку подобная эволюция наблюдается в целом ряде языков, можно говорить об **универсальности** этой тенденции, являющейся закономерным следствием комплекса объективных причин как социолингвистических, так и информационно-коммуникативных.

В числе предпосылок, обусловивших подобную направленность эволюции норм речевого поведения, важную роль сыграло смещение акцента при установлении литературной нормы с языка художественных текстов на язык СМИ, который и стал восприемником нормотворческой функции. Благодаря использованию СМИ, прежде всего электронных, сфера публичного общения заняла во второй половине столетия главенствующее положение в системе этнической коммуникации, оказывая определяющее влияние на формирование стереотипов речевого поведения. Таким образом, к концу XX в. язык СМИ становится **эталонным**, нормотворческим фактором, влияющим на формирование нормы современного литературного языка, а также на уровень этнической языковой культуры в целом.

В составе медиальных средств доминирующую роль в настоящее время бесспорно играют **устные** СМИ, т.е. радио и телевидение. Соответственно и устный литературный язык (а не только письменный, как это было раньше), обладает ныне общеэтническим статусом, используется в качестве средства хранения и распространения культурных ценностей, причем как в синхронии, так и диахронии. Из сказанного вытекает, что при выстраивании приоритетов в области языковой культуры и языкового воспитания необходимо учитывать функциональную специфику языка устных СМИ,

---

[38] Ср. повышение частотности употребления лексем с ударенными флексиями: *К литературным персонажам – операм, банкирам, бандитам, проституткам –* ***редактора*** *относятся как к пушечному, точнее, книжному мясу*. НГ. 14/1999, рец., ар.; *Судя по всему, проводили некие мероприятия московские* ***опера***. НГ. 45/1999, оч., ар.; ***опера*** *из убойного отдела... эти* ***опера*** *были живыми, простыми*. НГ. 13-д/2000, рец., ар.; *ходили в милицию учителя,* ***директора*** *школ*. НГ. 45/1999, оч., ар. (но: ***директоры*** *площадок* (эстрадных. – *Г.Н.*). НГ. 39-д/1999, инт., подзаголовок). Приведем также примеры появления словоформ мн.ч. у слов Sg. tantum: *они проходят в своих* ***альмаматерах***. Эхо. 1999, журн.; *Новая политика для* ***северов***. НГ. 32/1999, оч., ар. (заголовок); *Все выставленные* ***крема*** *и духи можно было купить по отпускной цене*. НГ. 3-д/2000, заметка о выставке, ар. и пр.

масштабность воздействия их узуса как своеобразного речевого **эталона** на языковое сознание социума.

Специфическая особенность устных медиальных средств заключается в числе прочего в возможности установления **сиюминутного, одномоментного** коммуникативного контакта с массовой, общеэтнической аудиторией. В отличие от письменного текста повторное востребование адресатом текста устного, как правило, затруднено, поэтому его вербальное оформление должно быть настолько сближено с узусом предполагаемого адресата, с его языковой компетенцией, чтобы он мог сиюминутно, причем желательно без потерь и искажений, воспринять информацию. Это изначально предполагает необходимость **снижения** языковой "планки" текста, сближение его с массовым узусом, что не может не отражаться на речевом стандарте.

Публичная коммуникация относится к сфере **регулируемого** речевого поведения. Важно, однако, подчеркнуть, что в отличие от письменных устные СМИ имеют более ограниченные возможности речевого контроля – это главным образом автоцензура. В связи с этим корректность передаваемого по каналам устных СМИ текста в конечном итоге зависит лишь от уровня языковой компетенции говорящего, именно она предопределяет не только качество генерируемого текста, но и его адекватность конкретной коммуникативной ситуации.

Использование современного технического оснащения устных СМИ расширяет возможности речевого взаимодействия коммуникантов, установления между ними обратной связи. В силу этого публичными участниками коммуникативного акта становятся не только адресант, но и адресат, соответственно их речевые навыки транслируются на массовую аудиторию.

Следует учитывать бóльшую открытость текстов СМИ, особенно устных, по отношению к разговорной стихии. Это способствует более интенсивному проникновению в узус публичного общения разговорных включений. Сказанное имеет как позитивное, так и негативное значение. Так, с одной стороны, это делает речь более экспрессивной и эмоционально насыщенной, сокращает слишком большую дистанцию между разговорным и литературным узусом, благоприятствует более динамичному развитию литературной нормы, стимулируя ее вариативность, а также развитие конкуренции дублетов. С другой стороны, стихийный приток неактуализованных разговорных включений, прежде всего вульгаризмов, жаргонизмов и пр. (равно как и неосвоенных заимствований), может иметь разрушительные последствия для общеэтнической коммуникации и вести к нарушению коммуникативного контакта.

Вместе с тем нельзя игнорировать и то, что исключительно слуховое восприятие текста в определенном отношении может оказаться "ущербным", так как оно чревато появлением у аудитора специфических слуховых ошибок. Добавим к этому, что при устном воспроизведении нередко обнажаются такие пробелы в языковой компетенции говорящего, которые при графической фиксации текста остаются скрытыми, "закамуфлированными".

Таким образом, для сбалансированного развития культуры современной публичной речи является необходимым подключение соответствующих рычагов, позволяющих уравновесить, сгладить возможные негативные последствия преобладания устной публичной коммуникации. Речь идет о разработке единой стратегии и тактики в области языковой политики, предусматривающей, в частности, повышение культуры **устного** литературного слова, а также общей языковой компетенции лиц, вербально активных в сфере публичной коммуникации.

Важно отметить, что для решения важнейших социолингвистических и информационно-коммуникативных проблем необходимо не только осмысление большого фактического материала, отражающего современное состояние вербальной коммуникации в этносе, но и его непредвзятая научная интерпретация, свободная от сложившихся стереотипов и иллюзий. Так, в частности все более очевидным становится, что уровень полученного образования (тем более без учета его качества) является всего лишь формальным критерием, не гарантирующим ни корректности использо-

вания литературной нормы, ни тем более принадлежности индивидуума к числу ее носителей. Вряд ли можно оспорить и тот факт, что рост численности **действительных** носителей литературного языка в настоящее время существенно **отстает** от роста численности лиц, практически пользующихся этим феноменом, особенно в публичной коммуникации. Сниженное или же неустойчивое знание литературной нормы приводит к столкновению речевых навыков самых различных социальных слоев, что, с одной стороны, несомненно, делает лабильной литературную норму; с другой – побуждает лингвистов снижать порог нормативных запретов. В результате сказанного в ситуации, когда мы ожидали бы появления корректного с точки зрения литературной нормы текста, нередко приходится иметь дело с текстами, значительно отличающимися от действующей литературной кодификации.

Как показывает проведенное исследование, для решения комплекса актуальных социолингвистических проблем необходимо рассматривать языковые факты в контексте этнического языка в целом, избегая предвзятости в оценке значимости тех или иных форм его манифестации. Важную роль играет применение интердисциплинарного подхода, сочетающего в себе достижения теории коммуникации, социологии, лингвистических дисциплин и пр., а также сопоставительного изучения языков, прежде всего близкородственных.

Одна из важнейших задач социолингвистики, на наш взгляд, заключается в том, чтобы, тщательно зафиксировав новые тенденции в развитии современной языковой ситуации и, в частности, в эволюции норм речевого поведения в сфере публичной коммуникации, не отвергать их с ходу, а попытаться, выявив причины их вызывающие, предложить научно обоснованные рекомендации в области языкового воспитания и языковой политики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Виноградов В.В. 1938 – Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв. М., 1938.

Волошинов В.Н. (*М.М. Бахтин*). 1995 – Слово в жизни и слово в поэзии. К вопросам социологической поэтики // Риторика (специализированный проблемный журнал). 1995. № 2.

Калнынь Л.Э., Масленникова Л.И. 1995 – Исследования по славянской диалектологии. Часть 3: Изучение вариативности в славянских диалектах. М., 1995.

Ликоманова И. 1998 – Релацията стандарт – субстандарт в славянските езици след последните социополитически промени // Slavica pragensia ad tempora nostra. Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě. Praha, 8–10. června 1998. Praha, 1998.

Нещименко Г.П. 1983 – О некоторых аспектах сопоставительного изучения славянского словообразования // Сопоставительное изучение русского языка с чешским и другими славянскими языками. М., 1983.

Нещименко Г.П. 1985 – Функциональное членение чешского языка // Функциональная стратификация языка. М., 1985.

Нещименко Г.П. 1988 – Проблема функциональной дифференциации национального языка в аспекте сопоставительного изучения славянских языков // X Международный съезд славистов: Славянское языкознание. М., 1988.

Нещименко Г.П. 1994 – Язык и культура в истории этноса // Язык – Культура – Этнос. М., 1994.

Нещименко Г.П. 1998 – Значимость оппозиции "носитель – пользователь" языка (языкового идиома) для изучения специфики языковой ситуации и ее динамики // Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов. Краков. Доклады российской делегации. М., 1998.

Нещименко Г.П. 1999а – Этнический язык. Опыт функциональной дифференциации (на материале сопоставительного изучения славянских языков) // Specimina philologiae Slavicae. Bd. 121. München, 1999.

Нещименко Г.П. 1999б – Разговорный язык как импульс инновационных изменений в

литературном языке (на материале русского и чешского языков) // Slavia. Roč. 68. Seš. 1. Praha, 1999.
Никольский Л.Б. 2000 – Трансмиссия культуры и ее лингвистические последствия в афро-азиатских странах // Язык как средство трансляции культуры. М., 2000.
Русск. яз. конца XX... 1996 – Русский язык конца XX столетия (1985–1995) / Под ред. Е.А. Земской. М., 1996.
Русск. яз. 1997 – Русский язык / Под ред. Е.Н. Ширяева // Najnowsze dzeje języków słowiańskich. Opole, 1997.
Brabcová R. 1996 – Škola a spisovná čeština // Spisovnost a nespisovnost dnes. Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunukaci". Brno, 1996.
Daneš F. a kol. 1997 – Český jazyk na přelomu století. Praha, 1997.
Čeština za školou 1974 – Čeština za školou. Praha, 1974.
Ertl V. 1929 – Dobrý autor // Časové úvahy o naší mateřštině. Praha, 1929.
Horecký J. 1981 – K teórii spisovného jazyka // Jazykovedný časopis. 1981. № 2.
Jedllčka A. 1974 – Spisovný jazyk v současné komunikaci. Praha, 1974.
Kolářová I. 1999 – Odraz komunikačních faktorů v textech současné rozhlasové a televizní publicistiky // Stylistyka. VIII: Styl i gatunek / Ed. by St. Gajda. Uniwersytet Opolski, 1999.
Müllerová O. 1996 – Nespisovnost v rozhlasovém vysílání // Spisovnost a nespisovnost dnes. ...Brno, 1996.
Něščimenková G. 1990 – O některých jevech jazykové specifičnosti češtiny a ruštiny v překladatelské práci // Čeština jako cizí jazyk. III. Materiály z III. Mezinárodního sympozia "Český jazyk a literatura v zahraničí". Praha, 1990.
Stich A. 1975 – K obecné češtině v současné krásné próze (Ota Pavel) // Naše řeč. 1975. № 3.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ар. –	авторская речь
вед. –	ведущий
журн. –	журналист
инт. –	интервью
кор. –	корреспондент
оч. –	очерк
рп. –	речь персонажа
рец. –	рецензия
ст. –	статья
АиФ* –	газета "Аргументы и факты"
Комс. пр. –	газета "Комсомольская правда"
МК –	газета "Московский комсомолец"
Нов. Изв. –	газета "Новые Известия"
НГ –	"Новая газета"
Эхо –	радиостанция "Эхо Москвы"
Euro –	Euro. Ekonomický týdeník
Nepil –	*F. Nepil.* Jak se dělá chalupa. Praha. 1993.
Topol –	*J. Topol.* Výlet k nádražní hale. Praha. 1995.
Švandrlík –	*M. Švandrlík.* Černí baroni. Praha. 1990.

* За названием газет следует номер (или далее через косую черту – год).

№ 1 2001

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений / Под общей редакцией академика Н.Ю. Шведовой, М.: "Азбуковник", 1998. 804 с.

Вышедший в свет I-й том "Русского семантического словаря" представляет собой часть фундаментального шеститомного труда, в котором впервые поставлена задача показать на обширном языковом материале законы системной организации лексического уровня русского языка (авторы-составители А.С. Белоусова, В.К. Юношева, Ю.А. Каминская).

О системном характере лексики в языкознании известно давно. Разные типы семантических полей с иерархическим характером связи слов внутри поля, систематизированные группы слов, в той или иной степени близких в смысловом отношении, синонимические, антонимические, омонимические и другие типы лексических микросистем были описаны и в теоретических работах (М.М. Покровский, Й. Трир, Г. Ипсен, А.А. Уфимцева, Ю.Н. Караулов, А.М. Кузнецов, Д.Н. Шмелев, Ю.Д. Апресян и многие другие), и в лексикографических трудах (тезаурусы, идеографические словари, словари синонимов, антонимов, омонимов и др.).

"Русский семантический словарь" (далее – Словарь) демонстрирует новый подход к исследованию лексической системы языка и является новым типом словаря, аналога которому нет в лексикографической практике.

В Словаре элементарной единицей описания является лексическое значение однозначного или многозначного слова. При лексикографическом описании лексической системы авторы опираются на введенную в словарь абстрактную системно-структурную единицу языка – "лексико-семантический класс", *который объединяет лексические* значения разных слов в понятийно-смысловые множества и подмножества в виде "лексического древа". В Словаре описано 507 таких понятийно-смысловых множеств и подмножеств.

"Лексико-семантические классы" структурированы, во-первых, в соответствии с такими универсальными категориями, как части речи. Это "слова указующие (местоимения)" и "слова именующие: имена существительные с конкретным значением (все живое. Земля. Космос)" (с. V). Во-вторых, "лексико-семантические классы" структурированы в соответствии с принадлежащими частям речи универсальными понятиями ("смысловыми сферами"). Например, у имен существительных под общим заголовком "Названия лиц и животных" (с. 59), выделены следующие классы: "названия лиц", "названия животных", "названия, общие для лиц и животных", "названия тела, организма, их частей, продуктов жизнедеятельности". В-третьих, "лексико-семантические классы" структурированы в соответствии с не универсальными, а специфическими для русского языка "понятийно-смысловыми сферами". Например, оказывается, что в русском языке "названия, общие для лиц и животных" (с. 461) имеют два подкласса: "собственно общие обозначения", где зафиксировано всего три лексических значения (*создание, существо*[2] и *тварь*) и "названия по характерному признаку (по качеству, состоянию, функции)" с двумя собственными подклассами – названия "по способности, свойству или функции" (*бегун, брыкун, вьюн, летун, ныряльщик, певун, плавун, пловец, ползун, попрыгун, прыгун, свистун, скакун, скороход, сосун, стрекотун, тихоход*) и названия "по функции, роли", где всего два слова (*замена* и *пара*).

О языковых особенностях и особенностях

строения "лексико-семантического класса" как абстрактной единицы лексико-семантической системы языка (в том числе о ее сходстве с многозначным словом и различиях в строении) говорится в Предисловии, в разделе "Теоретические основы словаря" (см. также работу [Шведова 1999]). Само Предисловие и его разделы содержат изложение нового подхода к исследованию лексического уровня языка.

Новым при исследовании и лексикографическом описании является также и то, что при членении лексики на "лексико-семантические классы" и расположении материала в "лексическом древе" авторы руководствуются не методами теории "Смысл – текст" в широком ее понимании, где отправной точкой при описании системных связей в лексике, лексико-семантических полей, в том числе при создании всех идеографических словарей, являются заданные универсальные или философские понятия, а применяют новый метод, при котором классификация лексических значений, их объединение в понятийно-смысловые множества и подмножества в "лексическом древе" обусловлены и подсказаны "самим языком, его внутренними связями и отношениями". Этот метод условно можно назвать "Текст – смысл". В разделе Предисловия "Задачи словаря. Его источники" авторы подчеркивают, что "основной задачей было представить современную русскую лексику как такой уровень языка, который имеет собственную организацию, созданную самим языком, и им самим регулируемую" (с. XVII).

У слов указующих (местоимений) все особенности семантических объединений лексических значений описаны в соответствующих подклассах в 28 множествах и подмножествах. Здесь представлены понятийно-смысловые множества, созданные самим языком. Так, например, среди слов, указывающих на признак предмета, существуют слова, указывающие "на признак, исходящий от лица или живого существа", и слова, указывающие "на признак, исходящий от любого предмета". Последний делится на подмножества, характеризующие особенности семантики именно русских местоимений. Среди этих подмножеств выделяются: слова, указывающие "на точность выбора из неограниченного или неопределенного множества, на тождество, совпадение с кем-чем-н." (с. 28) (*данный* во 2 знач., *один* в 5 знач. и в составе фразеологизма, *такой* в 4 знач., *тот* в 3 знач. и в составе фразеологизма, *этот* во 2 знач.); слова, указывающие "на противопоставление или сопоставление с кем-чем-н." (с. 28) (*другой* в 3 и 7 знач. и в составе фразеологизмов, *один* в 7 знач., *тот* в 4 и 8 знач.); слова, указывающие "на чередование, повторяемость или порядок следования кого-чего-н." (с. 29) (*всякий* во 2 знач., *каждый* во 2 знач., *который* в 3 знач., *следующий* в 3 знач., *тот* в 5 знач.); слова, указывающие "на выделение, уточнение, ограничение" (с. 29) (*всякий* в 5 знач., *один* в 6 знач., *сам* в 3 и 5 знач., *самый* в 1, 2, 3, 4, 5 знач. и в составе фразеологизмов); слова, указывающие "на усиление, интенсификацию, оценку" (с. 30) (*каков* в 3 знач., *какой* в 3 и 7 знач. и в составе фразеологизма, *какой-нибудь* во 2 и 3 знач., *какой-то* в 4, 5, 6 знач., *кое-какой* и (разг.) *кой-какой* во 2 знач., *некоторый* во 2 знач., *такой* во 2 знач., *экий* и *экой* в 1 знач., *этакий* и *эдакий* во 2 знач., *этот* в 3 и 4 знач.) и другие подмножества.

В части Словаря, посвященной именам существительным, на обширном материале впервые показаны количество и структура лексических множеств, объединяющих в русском языке однозначные слова и лексические значения многозначных слов в лексико-семантическом макроклассе "названия лиц" (схемы 9–45). Одно из таких понятийно-смысловых множеств – это "общие обозначения" (с. 65) для названий лиц: слова *гражданин* (во 2 знач.), *душа* (в 3 и 5 знач.), *индивид* (во 2 знач.), *индивидуал* (в 1, устар., знач.), *индивидуальность* (в 3 знач.), *индивидуум* (во 2 знач.), *лицо* (в 3 знач. и ряде фразеологизмов), *личность* (во 2, 3, 4 знач. и ряде фразеологизмов), *микрокосм* и *микрокосмос, особа* (в 1 и 2 знач.), *персона* (также в ряде фразеологизмов), *смертный, субъект* (в 1, 2, 3, 4 знач. и ряде фразеологизмов), *тип* (в 5 знач.), *фигура* (в 6, 7 знач.), *человек* (в 1, 2, 3, 4 знач. и ряде фразеологизмов), *элемент* (в 4 знач.), *я*. В языке есть также подмножество общих обозначений для названий лиц "с элементом оценки" (с. 68): это слова *башка* (во 2 знач.), *голова* (в 4 знач.), *птица* (в 4 знач.), *штука* (в 6, устар., знач.), *штучка* (во 2 знач.), *экземпляр* (в 3 знач.).

На этих примерах нам хотелось показать всю глубину проникновения составителей в особенности лексико-семантической системы русского языка, что позволяет сделать избранный ими метод описания лексики.

Важно отметить, что названия "лексико-семантических классов", лексических множеств и подмножеств в каждом "лекси-

ческом древе" (т.е. заголовки-таксоны или заголовки-понятия) извлекались авторами из конкретного лексического материала, диктовались самим языком. И в этом их несомненная ценность.

В I-м томе дана, таким образом, первая *полная таксономическая классификация* русских местоимений и части имен существительных. Анализ огромного конкретного языкового материала позволил показать типы лексико-семантических классов местоимений и сгруппированных для описания в этом томе имен существительных и те понятийно-смысловые сферы, то "понятийное членение мира", которые характерны для мышления и сознания носителей русского языка (см. также работу [Шведова 1998]).

Авторы убедительно показали, что такие различные в своих языковых свойствах классы слов, как местоимения и имена существительные с конкретным значением подчиняются одному, общему закону системно-структурной организации: их лексические значения входят в тот или иной "лексико-семантический класс", структурированный в виде "лексического древа", и занимают там свое место в одном из множеств или подмножеств. Каждый неологизм может найти свое место в "лексическом древе" одного из "лексико-семантических классов".

Словарь представляет собой новый тип лексикографического описания (см. об этом работу [Шведова, Белоусова, Копорская 1988]). Избранный способ расположения *материала помогает читателю быстро* находить сведения как о "лексико-семантических классах" и их множествах и подмножествах, так и о каждой лексической единице, входящей в эти макро- и микросистемы. Этому способствуют разного типа схемы. В Предисловии в общей схеме дается классификация всей лексики – тех классов слов и лексических значений, которые вошли в I-й том и войдут в последующие пять томов. В корпусе словаря каждый описываемый "лексико-семантический класс" открывается схемой, представляющей *"лексическое древо" данного класса, затем* называются все ветви "лексического древа", содержащие слова того или иного лексического подмножества.

Каждой классификации предпослано краткое объяснение (легенда), поясняющее особенности ее строения.

Лексические единицы, составляющие каждое подмножество, расположены в алфавитном порядке и имеют определение значения (дефиницию), грамматические, стилистические и там, где это требуется, хронологические пометы, иллюстративные речения, фразеологические сочетания и идиомы, ближайшее словообразовательное гнездо. Общий заголовок для этих лексических единиц соответствует тому разделу схемы, к которому данное подмножество относится.

К сожалению, названия "лексико-семантических классов", подклассов и конечных лексических рядов в самом корпусе словаря не разграничены разными шрифтами, что сделало бы более наглядным и информативным описание каждого "лексического древа".

Разделы "Словоуказатель", "Сводный порядок схем" и "Содержание", данные в конце тома, играют в Словаре не менее важную роль, чем основной корпус.

"Словоуказатель" помогает читателю увидеть в основном корпусе Словаря широту семантических связей и семантических границ всех лексических значений слова.

"Сводный порядок схем" – это полная картина структуры "лексико-семантических классов" местоимений и существительных, обозначающих все живое, Землю и Космос. "Содержание" словаря (оглавление) – это сводный перечень таксономических рубрик и понятий, по которым объединены лексические единицы в том или ином "лексическом древе". Информационная и научная значимость этих разделов имеет самостоятельный характер. Так же, как и основной корпус словаря, они могут быть источником для самых разнообразных научных исследований. Например, Словарь дает возможность выявить количество и типы "лексико-семантических классов", подклассов, а также множеств и подмножеств, которые в русской лексической системе соответствуют универсальным таксономическим рубрикам, существующим (и описанным) в других языках мира (в тезаурусах и идеографических словарях), и количество и типы лексико-семантических множеств и подмножеств, которые специфичны только для русской лексики.

В общую теорию лексикологии авторами *Словаря введены такие новые термины*, как "лексико-семантический класс", "лексическое древо", "лексический подкласс", "конечный лексический ряд". Описанный в I-м томе материал подтверждает существование в языке и в сознании его носителей этих абстрактных лексических единиц. Этим, в частности, объясняется существование в устной речи многих словосочетаний, недопустимых с точки зрения литературной нормы (в том числе в письменной речи) и свободно произносимых образованными

носителями языка, но не воспринимающихся слушающим как ошибка, не замечаемых слушателем, не являющихся ни в какой степени помехой для восприятия смысла – для таких словосочетаний говорящим используются слова или лексические значения из одного "лексического подкласса", "конечного лексического ряда" или другого лексического множества (см. об этом явлении [Сазонова 1995: 172–175]).

Значение рецензируемой работы трудно переоценить. Поражает ее масштабность. Словарь дает богатейший материал для теоретических исследований не только языковедам, но и философам, психологам, социологам, историкам.

Это, безусловно, большой вклад в развитие когнитивной лингвистики, контрастивной лингвистики, таксономии и понятийно-языковой типологии, собственно лексикологии, лексикографии. Он содержит богатейший материал для разнообразных обобщающих исследований в этих областях.

На основе Словаря могут быть созданы самые разнообразные одноязычные и двуязычные лингвистические словари, разнообразные учебные словари и пособия, тематические словари. Выход в свет первого тома "Русского семантического словаря" является большим событием в русистике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Сазонова И.К. 1995 – Употребление причастий в УНР // Современная устная речь. Т. 3. М., 1995.

Шведова Н.Ю. 1998 – Местоимение и смысл: Класс русских местоимений и открываемые ими смысловые пространства. М., 1998.

Шведова Н.Ю. 1999 – Теоретические результаты, полученные в работе над "Русским семантическим словарем" // ВЯ. 1999. № 1.

Шведова Н.Ю., Белоусова А.С., Копорская Е.С. 1988 – Толковый словарь современного русского литературного языка, систематизированный по лексико-семантическим классам слов // BUDALEX'88 proceedings: Papers from the EURALEX third international congress. Budapest, 4–9 September 1988. Budapest, 1988.

И.К. Сазонова

***A. Mikołajczuk.* Gniew we współczesnym języku polskim.** Energeia; Warszawa, 1999. 256 s.

Трудность описания гнева – не только в лингвистике, но и в иных науках о человеке – состоит в размытости эмоциональной сферы. При этом лингвист должен учитывать принципиальную разницу двух типов единиц: с одной стороны, это слова-названия гнева и его проявлений, с другой – носители соответствующей эмоциональной окраски (инвективы, ругательства, проклятия и т.п.). Именно первую область – своего рода естественную терминологию языка в сфере эмоций, избирает предметом своей монографии А. Миколайчук.

Показав во Введении в контрастной и схематичной форме разницу двух конкурирующих, или, скорее, сменяющих друг друга направлений в семантике – структурного и когнитивного, – А. Миколайчук снимает это противопоставление, поскольку практика семантического анализа приводит ее к целесообразности применения обоих подходов в зависимости от характера объекта: структурного – там, где объектом выступает словообразовательная деривация или семантика предложения, и когнитивного – там, где речь идет о метафорических или семантически размытых явлениях. Уже из вводных рассуждений становится ясно, что идеалом семантического анализа автор видит интегральное, но все же тяготеющее к когнитивному, описание, где ключевыми понятиями становятся понятия образа и языковой картины мира. Именно в этом направлении (от чисто структурного анализа – к описаниям, включающим культурный и познавательный аспекты), как справедливо полагает А. Миколайчук, эволюционировали работы таких авторитетов в этой области, как А. Вежбицка и Ю.Д. Апресян.

Само значение (вслед за Э. Табаковской) трактуется в духе когнитивной лингвистики – как концептуализация умственного опыта, как некое тождество с субъективной структурой понятия, – структурой, соответствующей нашему видению мира (с. 17). Такая трактовка лексического значения призвана не только выявить минимальные составные его компоненты, но и показать, как люди представляют понятие и как им пользуются. Этот подход отразился в работе и на более широком понимании метафоры и метонимии. В своем стремлении к интегрированию структурного и когнитивного под-

ходов в семантике А. Миколайчук во многом близка к теоретическим установкам (включая и принцип интегральности), провозглашаемым Ю.Д. Апресяном [Апресян 1999].

Содержательная часть книги восходит от общего к частному и состоит из шести глав: 2. Психологические и философские описания эмоций; 3. Лингвистические исследования в сфере эмоций; 4. Общая характеристика лексико-семантической группы 'гнева' в польском языке; 5. Группа лексической основы *gniew*; 6. Группа лексической основы *złość*; 7. Метафорически-метонимическая концептуализация гнева в польском языке.

Во второй главе А. Миколайчук демонстрирует основные принципы и проблемы изучения эмоций (и в том числе гнева) в смежных науках о человеке – в исторической перспективе и современных исследованиях. Эта глава, несомненно, придает книге дополнительное измерение.

В третьей главе дан обзор основного спектра современных исследований европейских, и в том числе польских, лингвистов по семантике эмоций. Ключевые ссылки здесь даются прежде всего на работы А. Вежбицкой. Характеристики когнитивного направления представлены ссылками на труды З. Кёвечеша, Дж. Лакоффа, М. Джонсона, В. Крофта, других лингвистов, а в полонистике и славистике – Э. Табаковской, И. Новаковской-Кемпной. Для лингвистического описания понятий из сферы эмоций наиболее существенными аспектами называются, среди прочих, причина эмоции, ее предмет, глубина, оценка, длительность, связь с волей, связь с нормами, способы проявления (с. 47–52), и т.п. Значения, выявляемые через такие фильтры, понимаются не как зеркальное отражение действительности, а как ее интерпретация, зависящая от культурных и психологических факторов.

Четвертая глава, несмотря на сжатый объем, является принципиально важной частью работы, поскольку в ней очерчиваются критерии отбора и устанавливаются принципы анализа польского языкового материала. Важное место здесь принадлежит таблице частотности и взаимных дефиниций лексических основ данной группы в толковых словарях (с. 58). Двенадцать основ (*gniew, złość, oburz, wzburz, wściekł, furia, pasja, szał, irytacja, zdenerw, rozdrażn, zniecierp*), представляющих исследуемое семантическое поле, чаще всего толкуются лишь шестью единицами (*gniew, złość, zdenerwowanie, irytacja, rozdrażnienie*). При этом две из основ – *gniew* и *złość* – вместе со своими дериватами являются бесспорными доминантами по частотности. Теоретически важными следует признать предлагаемые А. Миколайчук критерии размещения основ от центра к периферии поля: 1) продуктивность; 2) частотность в роли толкователя иных основ; 3) отсутствие ограничений по сфере употребления, по территории или по шкале "современность – архаичность"; 4) эмоциональная однозначность (основы, обладающие семантическими признаками иных, помимо гнева, эмоций, отходят на периферию); 5) критерий "первого значения" (в центре – слова, обозначающие саму эмоцию, а не ее проявление или причину); 6) критерий связанности образа с проявлением эмоции, особенно полезный для анализа метафорических и метонимических единиц: *spurpurowieć* располагается ближе к центру, чем *zbledną*ć (с. 61–62).

Пятая и шестая главы, самые значительные по объему, представляют собой образцы исчерпывающего анализа двух центральных лексических основ и их дериватов – *gniew* (21 лексема) и *złość* (30 лексем). Семантическая интерпретация лексического материала опирается на фундамент авторитетных словарей, картотек и баз данных, а также на обширную авторскую картотеку словоупотреблений. А. Миколайчук устанавливает оттенки значения, семантические ситуации, свойственные каждой лексеме, облигаторные и факультативные синтаксические признаки. Так, только для глагола *gniewać się*, среди прочих, отмечены такие ситуативные конфигурации, как превосходство субъекта (субъект эмоции – тот, кто сердится / гневается – становится как бы "над объектом" своего гнева, будучи убежденным в своей власти, в праве на кару и на нарушение установленных норм); мнимая подчиненность объекта (в любовных отношениях); стремление сохранения контакта со стороны объекта; возможность предвидения и предупреждения эмоции у субъекта; отрицательная и положительная (в ситуациях типа "воспитатель – воспитуемый") оценка эмоции и тому подобное (с. 72–78, 83). Говоря о причине эмоции, обозначаемой данным глаголом, автор обнаруживает существенную связь этого семантического компонента с темпоральными характеристиками ситуации (с. 78–82). Обобщение семантико-ситуативных признаков, свойственных рассматриваемым лексемам, дается в конце глав.

Каждая лексема подвергается А. Мико-

лайчук "просеиванию" через различные фильтры с одной целью – установить все возможные оттенки значения. Особенности внешней демонстрации (мимика, крик, топание ногами) в сопутствующих контекстах у группы "*złość*" показывают спонтанный характер эмоции, обозначаемой этой лексемой, в отличие от группы "*gniew*". Употребление глагола *złościć się* преимущественно в форме третьего лица, а также отсутствие в ситуациях с этой лексемой вопросов к субъекту о его чувствах, приводит автора к предположению о "реляционном" характере этой лексемы (в отличие от *gniewać się*) (с. 153–154). Именно такие наблюдения и выводы могут впоследствии служить ценным материалом контрастивных семантических исследований. Так, если обратить внимание на то, что существительное *gniew* в польском языке превосходит по частотности глагол *gniewać się*, уже элементарная языковая рефлексия подсказывает, что русский глагол *сердиться* (ближайший эквивалент указанному польскому) не обладает активным именным дериватом (*сердитость*?), в то время как *гнев, злость* и *злоба* являются носителями иной, отличной семантики. Это, безусловно, не может не отражаться на их значимостях в парадигматике и их значениях в синтагматике, или, иными словами, на фрагментации двух языковых картин мира.

Седьмая глава, завершающая аналитическую часть монографии, посвящена классификации и интерпретации метафоры, метонимии, а также гибридного переноса, называемого в работе вслед за Л. Гусенсом метафтонимией. А. Миколайчук выделяет несколько типовых образов, реализующих различными способами польскую языковую картину гнева: образ ***сосуда***, с вектором движения "верх-низ" (*gniew, złość, wściekłość // rośnie, narasta, podnosi się, opada*; *X wylewa złość z siebie*); образ ***физической боли*** или ***причинения таковой*** (*X odgryzł się X-owi za Z, jakby go osa, mucha ugryzła/ukąsiła*); образ ***болезни*** (*X jest chory ze złości, X dostał konvulsii gniewu, żołć go zalewa, cholera go bierze*; *X dostał ataku furii*); образ ***опасного животного*** (*ktoś się naindyczył, zacietrzewił, jest zły jak osa/ jak wilk/ jak kotka*; *jest wściekly jak dzikie zwierzę*); образ ***борьбы с*** (внутренним) ***противником*** (*X walczy z gniewem, X opanował gniew, Złość opanowała X-a*); образ ***чёрта*** и ***пекла*** (*X ma piekło w domu, diabeł w niego wstąpił, wściekły jak sto diabłów / jak licho*); ***ненастной погоды*** (*Y ściągnał na swoją głowę burzę, X ma błyskawice gniewu w oczach, X ciska pioruny gniewu*), образ ***огня*** и ***горячего*** (*X wybuchł ogniem złości, oburzenie wygasa, gniew X-a zetlał*); образ ***воды-моря*** (*fala gniewu, przypływ złości*). В сущности, сама по себе тематическая классификация метафор дает лишь основания к выявлению базовых закономерностей, как это сделано, к примеру, Н.Д. Арутюновой в этюде о метафоре в языке чувств [Арутюнова 1998: 385–402], впервые опубликованном почти тридцать лет назад. Стремясь продвинуться с этого порога, А. Миколайчук выходит за пределы собственно польского языкового материала, беря в качестве контрастивного фона наблюдения Дж. Лакоффа, З. Кёвечеша, А. Вежбицкой об отражении в английском и польском языках соответственно черт "англо-американского" и польского менталитета. Можно сказать, что если в главах, посвященных "портретам лексем", мы видим взаимодополнение лингвистических методов собственно в семантике, то в "портретах метафор" есть признаки смещения акцента в область, определяемую как **этно**семантика – в расширительном, междисциплинарном смысле [Ольшанский 1998: 21]. А. Миколайчук приходит к заключению, что понятие гнева не обладает универсальным образным воплощением, несмотря на то, что большинство образов все же реализуются в обоих языках (особенное сходство А. Миколайчук усматривает в реализации образа огня). Существенные качественные и количественные различия обнаруживаются в реализации следующих образов: ***болезни, чёрта*** и ***пекла***, гнева ***как противника***. Не находя у З. Кёвечеша упоминаний о связи образа ***болезни*** с гневом в английском языке (при наличии такой связи у выражений, обозначающих страх, любовь, стыд, грусть), А. Миколайчук обращает внимание на большой удельный вес метафор на базе именно этого образа в польском языке (с. 238). Еще одно существенное наблюдение А. Миколайчук: в отличие от английского, где лексика гнева не содержит аксиологического компонента, польский язык дает многочисленные примеры оценки гнева (чаще всего отрицательной – как при словах *złość, wściekłość, furia*, но также и положительной – у слов *gniew* и *oburzenie*). Релевантность образа гнева ***как противника*** в лексиконе и фразеологии английского языка и, наоборот, слабая его представленность в польском связывается с двумя различными языковыми картинами, в которых отразились два типа ментальности. Ссылаясь на З. Кёвечеша и А. Вежбицкую, автор приво-

дит такие отражаемые в языке ментальные стереотипы носителей английского языка, как флегматизм, самообладание, дистанция, сдержанность, контроль над эмоциями и повышенное внимание к игре человеческой воли. Полякам же приписываются спонтанность, сердечность, легкость завязывания контакта, а также чувствительность к событиям "нежеланным" и к их воздействию на отдельного человека. В своих заключениях относительно образов гнева в польском и английском языках А. Миколайчук приходит к косвенному подтверждению этих стереотипов в данной лексико-семантической сфере. Англо-американский тип личности делает упор на волевом контроле над эмоциями, трактуемыми как "препятствия в деятельности идеального рационального человека", и именно этим, по мнению А. Миколайчук, объясняется такая существенная разница (в пользу английского) масштабов образа гнева ***как противника*** в обоих языках (с. 239). Следует при этом указать на взвешенность и осторожность авторских суждений там, где они выходят за пределы чистой лингвистики.

Возвращаясь к методологическим принципам, лежащим в основе аналитической части, заметим, что при всей своей симпатии к школе Вежбицкой, А. Миколайчук избегает описания смыслов в семантических примитивах, дающих, по определению самой А. Вежбицкой, "выход и из (металингвистического) Вавилона" [Wierzbicka 1997: 23], а применяет в качестве метаязыка язык обыденный, что, во-первых, делает монографию доступной широкому кругу читателей, а во-вторых, свидетельствует о становлении эпистемологии самого жанра, о процессе "конструирования предмета исследования и выбора адекватного ему метода" [Фрумкина 1996: 59]. А. Миколайчук пишет, сообразуясь прежде всего с характером материала и поставленной задачей – в с е с т о р о н н е г о описания отдельной лексико-семантической группы.

Исходя из всего сказанного, книге польской исследовательницы можно с уверенностью предсказать высокий индекс цитируемости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Апресян Ю.Д. 1999 – Отечественная теоретическая семантика в конце XX столетия // ИАН СЛЯ. 1999. № 4.

Арутюнова Н.Д. 1998 – Язык и мир человека. М., 1998.

Ольшанский И.Г. 1998 – Этно(психо)семантика и национально-культурное своеобразие языков // Проблемы этносемантики. Сборник научно-аналитических обзоров. М., 1998.

Фрумкина Р.М. 1996 – "Теории среднего уровня" в современной лингвистике // ВЯ. 1996. № 2.

Wierzbicka A. 1997 – Understanding cultures through their key words. English, Russian, Polish, German, and Japanese. N.Y.; Oxford, 1997.

Ш.В. Хайров

***Tanaka Katsuhiko.* "Sutaarin–gengogaku"–seidoku.** Tokyo, Iwanami-shoten, 2000. 293 p.

Танака Кацухико – известный японский лингвист, почетный профессор университета Хитоцубаси в Токио, автор ряда книг по монголистике, социолингвистике и истории языкознания. Его новая книга «Внимательное чтение "сталинского языкознания"» (автор дает и собственный русский перевод ее названия, не вполне соответствующий японскому оригиналу: «Новое прочтение брошюры И.В. Сталина "Марксизм и вопросы языкознания"») специально посвящена анализу высказываний И.В. Сталина по вопросам языка и языкознания, сделанных в разные годы. Автор указывает, что в отличие от других марксистов Сталина можно считать лингвистом, хотя он и не обращался специально к данным вопросам до 1950 г. (с. 1). Цель книги – рассмотреть историческое развитие сталинских идей, посвященных языку, и сопоставить эти идеи с развитием мирового языкознания (с. 4–5). Подчеркивается, что эта проблема исследована слабо, хотя брошюра "Марксизм и вопросы языкознания" оказала важное влияние на развитие науки о языке не только в СССР, но и в ряде других стран, включая Японию. Авторы западных работ о Сталине, в частности, И. Дойчер, уделяют этой брошюре мало внимания (с. 42–43), а в СССР и современной России о ней вспоминали лишь в связи с содержащейся в ней критикой учения Н.Я. Марра (К. Танака упоминает изданные в 1991 г. книги М.В. Горбаневского и В.М. Алпатова), но никто не изучал место этой публикации Сталина в истории советской идеологии (с. 42).

К. Танака посвящает первую главу своей книги (с. 8–63) ранним работам И.В. Сталина, как-то затрагивавшим проблемы языка, прежде всего брошюре 1913 г. "Марксизм и национальный вопрос"; в связи с этим рассматривается эволюция взглядов на нацию и язык в марксистской литературе.

К. Танака подчеркивает, что в Европе Нового времени господствовала точка зрения, согласно которой множество народов и языков – лишь помеха, а при развитии цивилизации их различия должны постепенно отмирать; такой подход основывался, в частности, на представлении о том, что язык – лишь оболочка мысли, а одни языки (языки культурных народов) лучше соответствуют универсальной логике, чем другие; культурные языки выполняют цивилизаторскую роль и имеют шансы на сохранение в будущем, а "некультурные" языки, а также диалекты должны исчезнуть. Такая точка зрения, связанная с европоцентризмом, вызывает решительное несогласие автора книги. В связи с этим любопытно такое его замечание: французский язык долго считался в Европе "языком логики", хотя с точки зрения японца французский порядок слов неестествен (с. 15).

Как показывает К. Танака, марксизм – часть европейской мысли XIX века – сохранял такой подход. Он напоминает в этой связи о высказываниях Ф. Энгельса о "народах с историей" и "народах без истории", о его трактовке шотландцев, чехов и южных славян как "реакционных" народов, обреченных на ассимиляцию и исчезновение в ходе исторического прогресса. К. Танака подчеркивает, что у К. Маркса и Ф. Энгельса ничего не говорилось о самоопределении наций. Ситуация стала несколько меняться лишь в самом конце XIX в., когда деятели II Интернационала начали говорить о национальном, в том числе и о национально-языковом вопросе. Однако и тогда, по мнению автора книги, европейские марксисты смотрели на эти проблемы глазами "цивилизованных народов", обсуждая национальный вопрос в странах Европы, но не для "некультурных народов" (с. 24–26).

Однако именно идеи социалистов времен II Интернационала стали основным источником идей брошюры И.В. Сталина "Марксизм и национальный вопрос". К. Танака рассматривает полемику среди австрийских и немецких марксистов в начале XX в., прежде всего между О. Бауэром и К. Каутским, убедительно показывая, что статья К. Каутского "Национальность и интернациональность", изданная в 1908 г. и вскоре переведенная на русский язык, стала идейной основой как работы Сталина, так и всей советской языковой политики, хотя сам К. Каутский после 1918 г. считался "ренегатом" (с. 33–35).

К. Танака в то же время подчеркивает, что Сталин смотрел на национальный вопрос иначе, чем классики марксизма: для него он был частью колониального вопроса, вопроса самоопределения эксплуатируемых народов Азии, Африки и России; именно поэтому столь важное место занимает в его брошюре проблема права наций на самоопределение (с. 26–27). Само по себе это верно. Однако вряд ли стоит противопоставлять Сталина современным ему западным социалистам, тем более что здесь же говорится о влиянии на него идей Каутского. Также не стоит здесь противопоставлять взгляды И.В. Сталина и В.И. Ленина, сохранявшего лозунг сближения и слияния наций (с. 10). К. Каутский, В.И. Ленин и И.В. Сталин с разной степенью детальности выражали более или менее единую точку зрения, согласно которой в эпоху капитализма прежде всего необходима борьба за национальные права, в том числе языковые, а после победы социализма нации и языки начнут сближаться и сливаться. К. Танака безусловно сочувственно оценивает идеи сталинской брошюры 1913 г., особо подчеркивая высказывания о необходимости обучения на родном языке, свободного развития психических способностей наций и др. (с. 62).

Вторая глава (с. 66–105) посвящена высказываниям Сталина по вопросам языка в 20-е гг., в целом соответствовавшим идеям, высказанным им до революции. Подчеркиваются высказывания об увеличении, а не уменьшении числа языков в СССР по сравнению с царской Россией, о необходимости равноправия языков, развития всех языков и др. К. Танака указывает, что в отличие от основателей марксизма Сталин отказался от деления языков на большие и малые, на культурные и некультурные. Особо выделена известная формулировка о «национальной по форме, пролетарской (в более позднем варианте самого Сталина – "социалистической") по содержанию» культуре. Показано, что эта формулировка по происхождению – просто перевод высказывания К. Каутского (с. 100). Автор книги излагает все эти высказывания с большим сочувствием, а лозунг о "национальной по форме" культуре назван "впечатляющим". Он отмечает резкое изменение национально-языковой политики в СССР с 30-х гг., но все же указывает на то, что лозунг права на самоопределение хотя бы формально сохранялся во всех со-

ветских конституциях, но отсутствует в современной конституции России (с. 82–83). В связи с этим, видимо, не случайны выступления К. Танака в Бурятии, о которых были сообщения в печати ("Независимая газета", 22 февраля 2000 г.): он призывал бурят отказаться от русского языка и объединиться с Монголией. Из сталинских идей можно сделать и такие выводы!

В то же время К. Танака отмечает проявившиеся уже тогда противоречия в высказываниях Сталина. С одной стороны, он спорил с идеями К. Каутского о формировании единого мирового языка (или нескольких мировых языков по числу больших культурных ареалов) после социалистической революции; по мнению К. Танака, споря с Каутским, Сталин фактически полемизировал с Ф. Энгельсом (с. 72). С другой стороны, в 1930 г. Сталин вопреки своим же заявлениям об увеличении числа языков при социализме провозгласил неизбежность появления единого всемирного языка, хотя и отнес его к далекому будущему.

Как отмечает автор книги, в 30–40-е гг. Сталин почти не высказывался по национальным и языковым проблемам (с. 104–105). Но в 1950 г. появилась работа "Марксизм и вопросы языкознания", анализу которой посвящена третья, самая большая глава книги (с. 108–182). Параллельно с ее анализом дается краткий очерк развития советской науки о языке до 1950 г., прежде всего марризма.

Если ранние высказывания И.В. Сталина по национально-языковым проблемам оцениваются в книге положительно, то оценка брошюры 1950 г. совершенно иная. Автор приходит к выводу, что она совершенно не оправдывает ожиданий читателя, интересующегося проблемами общественного функционирования языка: в ней провозглашается "возвращение к посредственной, традиционной науке" (с. 132). Вопреки высказанному ранее мнению о том, что Сталина можно считать лингвистом, К. Танака пишет о том, что брошюра недостаточно лингвистична, более касаясь проблематики смежных с языкознанием наук (с. 131).

Оценка Н.Я. Марра в книге основана прежде всего на изданных в Японии воспоминаниях Н. Поппе [Poppe 1990]. Признается фантастичность многих марровских идей; сказано, например, что марристская семантика превращалась в некую "игру для посвященных" (с. 166–167). Но подчеркиваются как большой талант Н.Я. Марра и оригинальность многих его идей, так и важное научное значение многих исследований ученых марристского лагеря, занимавшихся проблемами "язык и мышление", "язык и общество". Особенно высоко оценивается работа [Абаев 1934]; много говорится об идеях И.И. Мещанинова, в некоторых отношениях, по мнению автора, предвосхитивших идеи Н. Хомского (с. 158). Вся эта деятельность, как подчеркивает К. Танака (с. 147), была перечеркнута после выступления Сталина, и советское языкознание перестало заниматься проблемами языка и общества, языка и идеологии.

К. Танака выражает несогласие с идеями Сталина, отрицавшего принадлежность языка к надстройке и классовость языка. Он указывает на ошибочность утверждения Сталина о том, что революция не изменяет язык, ссылаясь на работы П. Лафарга о языке Французской революции и исследования А.М. Селищева и Н.М. Каринского об изменениях в русском языке после 1917 г. (с. 145–147). Но главное, отказ от надстроечности языка ведет, согласно автору книги, к отрыву языка от культуры, которую И.В. Сталин всецело относил к надстройке. А это означает возвращение к идеям XIX в., когда язык считался лишь оболочкой для мысли. В ответе Сталина Е.А. Крашенинниковой К. Танака усматривает игнорирование семантики, составляющей главную суть языка (с. 160–167).

Идеи сталинской брошюры сопоставляются в книге с идеями мировой науки того времени. К. Танака считает, что отрыв языка от культуры, от идеологии, игнорирование семантики у Сталина были параллельны аналогичным тенденциям в американском дескриптивизме (с. 166), в концепциях американского этнолога А.Л. Крёбера (с. 287–288) и др. В то же время исследования связей между языком и общественными процессами шли не только в СССР до 1950 г. К. Танака вспоминает К. Фосслера (с. 145), а также указывает, что как раз в те годы, когда ими перестали заниматься в СССР, эти проблемы оказались в центре внимания ученых ФРГ, чутко реагировавших на раскол немецкого языка в двух Германиях (с. 147–149).

К. Танака не все отвергает в брошюре Сталина, отмечая, в частности, что в ней сохраняются прежние формулировки того же автора и в противоречие с описанной нами выше тенденцией подчеркивается языковая форма культуры (с. 99). Но идея о свободном развитии языков не вполне согласуется с подробно изложенной в брошюре традиционной схемой языкового развития, в соответствии с которой одни языки выходят победителями, а другие исчезают. К. Танака указывает, что эта схема взята Сталиным из традиционного языкознания, но в то же вре-

мя, по его мнению, Сталин во многом писал свою брошюру ради данного тезиса (с. 177). По-видимому, автор книги имеет в виду, что Сталину нужно было обосновать прямо не формулируемую в его брошюре идею о постепенном вытеснении русским языком других языков народов СССР. Подробно рассматривая высказывания Сталина разных лет, К. Танака лишь вскользь говорит о причинах столь резкого изменения позиции руководителя страны, замечая, что тот до 30-х гг. говорил об освобождении языков, а потом поставил задачу "общего языка" для СССР, которым мог стать только русский (с. 172).

По вопросу о будущем всемирном языке К. Танака справедливо отмечает противоречие между принятой Сталиным традиционной схемой развития языков и его же высказываниями о будущем языке, который не будет "ни великорусским, ни немецким" (это противоречие еще в 1950 г. заметил читатель А. Холопов). К. Танака указывает, что в отношении языка коммунистического общества Сталин сохраняет традиционную марксистскую точку зрения, от которой он отказался в других вопросах (с. 180–181).

Далее в книге идет текст брошюры И.В. Сталина на японском языке (с. 184–245); за основу взят не раз публиковавшийся перевод, кое-где исправленный автором книги. К. Танака в другом месте указывает, что брошюра "Марксизм и вопросы языкознания" сразу после появления была переведена на ряд языков, включая японский, но предыдущим известным ему изданием является немецкое, вышедшее в 1972 г. (с. 122–123). В связи с этим отметим, что и на языке оригинала брошюра с начала 50-х годов не переиздавалась почти полвека.

Последняя глава книги (с. 248–282) называется "Сталинское языкознание и Япония". Отмечено, что в 1950 г. появление брошюры стало сенсацией в Японии (как и во многих других странах) сразу по двум причинам. Во-первых, в Японии давно существует мощная традиция левого движения и марксистской мысли, особенно сильная в первое послевоенное десятилетие. Во-вторых, даже на ученых иных взглядов произвел впечатление тот факт, что глава крупного государства выступил по проблемам языкознания (К. Танака несколько раз в книге подчеркивает беспрецедентность такого события). Работа Сталина немедленно была переведена, ей посвящались специальные выпуски журналов, по ней проводились научные конференции. К. Танака даже считает, что наметившийся в Японии в 50-е гг. и наблюдающийся до сих пор "лингвистический бум" начался не без влияния событий 1950 г. (с. 249). На появление работы Сталина откликнулись такие крупные ученые, как Кобаяси Хидэо, автор первого не только в Японии, но и в мире перевода "Курса" Ф. де Соссюра (1928 г.), известный компаративист Мураяма Ситиро, вскоре издавший книгу о советском языкознании, и др. Все они оценили брошюру положительно, отметив как шаг вперед отказ от марризма. Более сдержанной была оценка самого влиятельного в те годы в Японии лингвиста Токиэда Мотоки, отрывки из сочинений которого имеются и в русском переводе [Токиэда 1983]. М. Токиэда, указав на актуальность проблем, поднятых Сталиным, и на важность их обсуждения для разработки языковой политики в Японии, посчитал работу Сталина слишком политизированной и в то же время отрывающей изучение языка от изучения культуры и общества; он также защищал классовость языка, аргументируя это, например, тем, что язык знаменитых японских памятников начала XI в. "Повесть о Гэндзи" и "Записки у изголовья" – не "общенародный", а язык придворных салонов. М. Токиэда находил сходство идей Сталина с идеями Ф. де Соссюра, с которыми он постоянно спорил. К. Танака считает статью М. Токиэда лучшим разбором сталинской брошюры в Японии (с. 260) и во многом следует в своей книге ее идеям. По его мнению, работы Сталина и его японских последователей (Курахара Корэхито и др.) во многом заложили основы послевоенного японского лингвистического консерватизма (с. 275).

В заключении (с. 283–290) К. Танака ставит вопрос о значении работы Сталина 1950 г. По его мнению, советское языкознание 20–40-х гг., тесно связанное с более ранними идеями Сталина по национальному вопросу, во многом отошло от ортодоксального марксизма в сторону изучения многообразия языков, связанного с многообразием культур. Однако Сталин провозгласил неэффективность марксизма в языкознании и поражение советского языкознания (с. 284). Вспоминая работу [Абаев 1934], К. Танака пишет, что Сталин перестал считать язык идеологией и свел его лишь к "технике" (с. 289–290). По его мнению, Сталин, отделив язык от надстройки, то есть культуры, объявил о конце идеологии, признав поражение марксизма и советской идеологии в целом (с. 284–285, 290). Именно в этом он видит значение сталинской брошюры.

Несомненно, автор книги игнорирует многие проблемы, связанные с марризмом и борьбой против него. Лишь вскользь он,

ссылаясь на Н. Поппе, упоминает о погромах в языкознании, устроенных марристами. Вскользь говорится и о фантастике марровских концепций, об отрицании марристами целых отраслей науки о языке, прежде всего компаративистики. А выступление Сталина, как к нему ни относиться, способствовало преодолению ущерба, нанесенного советскому языкознанию марризмом. Но К. Танака прав, говоря о прекращении в СССР после 1950 г. изучения многих проблем, связанных с общественным функционированием языка (впрочем, многие из них на деле перестали исследоваться еще с 30-х гг.). Справедливо указывая на то, что язык – важнейшая часть культуры, К. Танака склонен относить к "посредственной, традиционной науке" всю лингвистику, отвлекающуюся от культуры и идеологии, то есть то, что Ф. де Соссюр называл "внутренней лингвистикой" (пренебрежение к ней характерно для многих японских языковедов начиная с М. Токиэда). Однако структурный этап развития науки о языке был закономерен и необходим. А брошюра Сталина появилась именно в это время. Пусть сам Сталин ориентировался не на структурализм, а на предшествующий ему этап языкознания, но в обоих этапах было нечто общее (ср. "абстрактный объективизм" у В.Н. Волошинова). Сейчас это – уже прошлое, но нельзя им пренебрегать.

В книге немало неточностей и поверхностных оценок. Например, прекращение издания собрания сочинений И.В. Сталина К. Танака объясняет выступлением Н.С. Хрущева в 1956 г. (с. 122), хотя оно произошло раньше, сразу после смерти Сталина. Автор известной книги о языке фашистской Германии В. Клемперер отнесен к ученым ФРГ (с. 147), хотя он жил и умер в ГДР. К. Танака справедливо отмечает, что в советском законодательстве под влиянием дореволюционных высказываний В.И. Ленина избегали термина "государственный язык"; однако неверно, что так было до самого распада СССР (с. 172): в конституциях Грузинской, Азербайджанской и Армянской ССР этот термин использовался многие десятилетия, а в самом конце существования СССР он появился и в общесоюзном Законе о языках, принятом в апреле 1990 г. Оценивая советскую лингвистику, К. Танака слишком ориентируется на интересные, но достаточно субъективные воспоминания Н. Поппе. Особенно это заметно в излишне негативной оценке Е.Д. Поливанова (с. 118–119).

Со многим в книге можно спорить, многое в ней не отражено. Тем не менее ряд ее положений заслуживает внимания. Формулировка о признании Сталиным "поражения идеологии" – преувеличение, но К. Танака прав, говоря о том, что брошюра по сути провозгласила деидеологизацию языкознания и что после нее закончилось марксистское и советское (не в географическом или национальном, а в идеологическом смысле) языкознание. Речь, конечно, здесь не может идти о марксистской социолингвистике, существующей и по сей день, правда, более на Западе и в той же Японии, чем у нас. Отказ от признания языка надстройкой и его сопоставление с машинами и железными дорогами у Сталина закономерно выводили язык за пределы идеологии и культуры. Из этого однако не следует, что последующая лингвистика в СССР была лишь "посредственной, традиционной наукой", как это получается в книге.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Абаев В.И. 1934 – Язык как идеология и язык как техника // Язык и мышление. Вып. 2. М.; Л., 1934.

Токиэда Мотоки 1983 – Основы японского языкознания (фрагменты). Современный язык и современное языковое существование // Языкознание в Японии. М., 1983.

Poppe N. 1990 – Kaisooroku. Tokyo, 1990.

В.М. Алпатов

***Ю.С. Азарх.* Русское диалектное словообразование в лингвогеографическом аспекте.** М.: Наука, 2000. 178 с.

Книга известного лингвиста вышла с опозданием более чем в пять лет. Издание книги было приостановлено, набор рассыпан из-за технических трудностей, связанных с воспроизведением диалектных словообразовательных карт. После трагического ухода Ю.С. Азарх ее друзья и коллеги из отдела диалектологии и лингвистической географии Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН приложили немало усилий для того, чтобы монография Юлии Семеновны увидела свет.

Публикация рецензируемого труда даже на фоне ощутимого прогресса в области исследований русской словообразовательной системы как теоретического (см., например [Улуханов 1996]), так и конкретного характера, в частности исследований, связанных с описанием русской словообразовательной картины мира (см., например [Вендина 1998]), – выдающееся событие в научной жизни. Книга Ю.С. Азарх – существенный вклад не только в русское диалектное словообразование, но шире – в историю и теорию русского словообразования.

Ю.С. Азарх может быть причислена к наиболее видным представителям диалектологической школы Р.И. Аванесова. Ею написаны многочисленные, в том числе и капитальные труды (см., например [Азарх 1984]). Можно без преувеличения сказать, что в области русского диалектного словообразования Ю.С. Азарх – самый крупный специалист, и данная книга представляет собой, несомненно, очень интересную и наиболее масштабную работу, из когда-либо предпринимавшихся в этой сфере лингвистики.

В работе впервые подвергнут сравнительному исследованию – для выявления фрагментов русской диалектной словообразовательной картины мира – огромный фактический материал, который проанализирован в соответствии со строгой методикой, разработанной самим автором. На основании сопоставления многочисленных рядов ареальных словообразовательных и лексических корреспонденций Ю.С. Азарх еще более четко высвечивает границы принятого в русистике диалектного членения русского языка [Захарова, Орлова 1970]. Тем самым восполняется существенный пробел: при разработке проблемы диалектного членения русского языка данные словообразования почти не привлекались.

Монография Ю.С. Азарх по своей сути является новаторской. Построенная на диалектном материале, чрезвычайно специфичном в силу ряда особенностей (неоднородности, поливариативности, насыщенности новыми для исследователя и в ряде случаев неизвестными ранее науке фактами, динамичности), она, вместе с тем, изобилует историческими экскурсами, сделанными рукой опытного мастера. Автор демонстрирует, что может дать практически диахрония синхронии, как она помогает осмыслить современное состояние в реализации словообразовательных моделей. С другой стороны, синхронные данные служат ориентиром для установления ареалов возникновения разных моделей словообразования.

Особую ценность составляют словообразовательные карты, представленные в каждом из разделов монографии. Автор демонстрирует с возможной полнотой "географические" условия функционирования тех или иных словообразовательных моделей, картографируя явления, до сих пор не картографировавшиеся. В работе показано соотношение разных видов моделирования, их частичное переплетение в пограничных зонах. Следует заметить, что словообразовательные карты – явление, еще мало распространенное в лингвистической географии. Тем бóльшую ценность приобретает картографическое представление материала, осуществленного Ю.С. Азарх. Обращает на себя внимание строгость и четкость в выборе системы графических средств. Карты монографии, построенные в соответствии с принципом синхронной подачи словообразовательных диалектных различий, предоставляют возможность для диахронического изучения отраженных здесь явлений в их развитии. Автор справедливо подчеркивает: "Величина и конфигурация ареала могут быть косвенным свидетельством не только исторической продуктивности той или иной модели ЛСГ (лексико-семантической группы. – *С.И.*), но и ее активности в синхронии..." (с. 10).

Книга состоит из введения, трех разделов и заключения. Как отмечается во введении, начальным стимулом для предпринятого автором диахронно-синхронного исследования послужил тот факт, что "принципы научного описания словообразования в лексико-семантическом плане от значения к производному слову недостаточно разработаны" (с. 4).

Автор отмечает все еще слабую изученность словообразования в номинации, необходимость выделения и исследования

лексико-семантических групп и тематических классов, отражающих языковую картину мира. Замечу, впрочем, что принцип моделирования на основе семантики как исходного положения, в сущности, не нов (см. [Степанова 1975; Weisgerber 1971]). Он получил некоторое распространение в работах русских лингвистов с начала 70-х годов[1]. Однако соотношение избранных автором семантических категорий (наименования лиц, названия частей сельскохозяйственных орудий, полей после уборки урожая, ягод, однородного множества растущих деревьев и др.) и выражающих их средств, а также весь круг сопутствующих исследовательских задач впервые исчерпывающе подробно на диалектном материале представлены в работе Ю.С. Азарх.

Говоря о задачах исследования, четко сформулированных автором, нельзя не отметить их широкий диапазон: 1) описание различий в словообразовании ряда функционирующих в русских говорах, исконных для них и давно сложившихся лексико-семантических групп (ЛСГ); 2) восстановление по данным лингвогеографии истории формирования моделей производных членов ЛСГ; 3) определение ареалов словообразовательных моделей ЛСГ; 4) исследование отношений между лексическими и словообразовательными ареалами в пределах ЛСГ; 5) характеристика продуктивных и непродуктивных ареалов в лексике и словообразовании; 6) группировка русских говоров по данным именного словообразования (с. 4).

Столь широкий спектр исследовательских задач не может не направить автора на решение ряда теоретических проблем, связанных со словообразованием как таковым. Формулировки и замечания теоретического характера, щедро разбросанные по всей работе, занимают существенное место уже во введении. Так, важными представляются дефиниции понятий "словообразовательный тип" (СТ) и "словообразовательная модель" (СМ). Автор справедливо утверждает, что словообразовательные модели "представляют собой образцы, по которым воспроизводятся или образуются вновь слова с определенной семантикой"[2], а словообразовательные типы, рассматривающиеся до сих пор в научных описаниях как синонимичные, в реальности "представлены дериватами с неоднородной лексической семантикой" (с. 5).

В качестве объекта исследования избраны лексико-семантические группы (ЛСГ), состоящие из производных слов, связанных друг с другом регулярными парадигматическими отношениями и представленные на картах или в материалах Диалектологического атласа русского языка (ДАРЯ) и Общеславянского лингвистического атласа (ОЛА).

Автор справедливо полагает (и блистательно доказывает это на своем материале), что анализ словообразования ЛСГ позволяет выявить не только общие закономерности, присущие словообразовательной системе русского языка, но и специфические для говоров словообразовательные средства, словообразовательные модели, деривационные процессы и отношения. Нельзя не обратить внимания на то обстоятельство, что уже во введении четко показаны в обобщенном виде диалектные различия в словообразовании лексико-семантических групп. Автор выделяет девять существенных признаков, на основе которых могут противополагаться производные члены одной ЛСГ (с. 7). Важно, что Ю.С. Азарх выводит определенные закономерности в акцентной противопоставленности дериватов разных моделей, оформленных суффиксами однотипной структуры (с. 8).

В разделе "Словообразование лексико-семантических групп" (с. 12–142) рассмотрены мутационные, модификационные и транспозиционные словообразовательные типы. Необходимо отметить, что Ю.С. Азарх дает пространные, но точные определения каждого из словообразовательных типов.

Предложенные автором дефиниции и теоретические обоснования своего видения проблем, связанных с каждым из словообразовательных типов, являются результатом многолетних разысканий автора в этой области лингвистики, разработок внушительного по объему конкретного диалектного и исторического материала (см., например [Азарх 1961; 1965; 1977; 1979а; 1979б; 1983; 1988; 1989 и др.]).

---

[1] Отдельные семантические категории, выраженные наборами суффиксов, выявлены уже в Грамматике-70. Исследование славянского литературного материала на этой основе было осуществлено Т.И. Вендиной [Вендина 1990].

[2] Ср. определение словообразовательной модели, данное в монографии М.Д. Степановой: "...словообразовательная модель – это стабильная структура, обладающая обобщенным лексико-категориальным значением и способная наполняться разным лексическим материалом (т.е. разными лексическими основами)" [Степанова 1968: 149].

Позволю себе пространное цитирование этих собранных по крупицам, "выстраданных" и четко сформулированных наблюдений. Вот что пишет Ю.С. Азарх о мутационных словообразовательных типах: «При мутации между членами словообразовательной пары устанавливаются отношения семантического пересечения: производное "наследует" часть сем производящего, определяющих лексическую мотивацию деривата. Обобщенное мутационное СЗ (словообразовательное значение. – *С.И.*) существительных – 'носитель признака, названного производящей основой'. Характер признака – процессуального, качественного или предметного – определяется категориальным грамматическим значением производящего. ...Мутант в момент рождения слова представляет собой семантический конденсат словосочетания или предложения, стержневое слово которых представлено его производящим... Для слов с мутационным СЗ характерна идиоматизация лексического значения. Это связано не только с широтой данного типа словообразовательного значения, указывающего на отношение производного к тому, что названо производящей основой, но и с тем, что мутант может мотивироваться практически любым ЛСВ производящего, иметь как непосредственную, так и опосредованную мотивацию при отношениях семантического пересечения между членами словообразовательной пары. В рамках мутационного СЗ между обозначаемыми членов словообразовательной пары могут быть выражены как реальные, так и воображаемые связи и отношения при тождестве словообразовательной структуры, производного...» (с. 12–13). Такое детализированное и емкое описание словообразовательной мутации, как кажется, представлено впервые.

В разделе "Дериваты мужского рода со значением лица" рассмотрены два типа наименований лиц – функциональный и характеризующий.

Автор выделяет 15 моделей наименований лиц по функциональному признаку в лингвогеографическом аспекте (образования с суф. *-(е)ц* типа *косец*; с суф. *-ар'* – *косарь, копарь, бочкарь, печкарь* 'печник', *секарь* 'косец'; с суф. *-чик-/-щик* и *-'щик* – *дровщик* 'заготовитель дров', *кинщик* 'киномеханик', *закупщик, почтальонщик*; *-ник* – *дегтярник, кожевник, колесник, посыльник, рыболовник*; *-ач* – *ковач* 'кузнец', *копач* 'земледелец', *орач* 'пахарь'; *-ак* – *едак* 'ездок', *лежак* 'лежебока', *плясак* 'плясун'; *-тель* – *доказатель* 'свидетель', *помогатель, ругатель, укрыватель*; *-ит* – *наимит, тяжобит* 'сутяжник', *молодбит, севбит*; *-атай* – *оборонатай* 'защитник', *послухатай* 'свидетель', *провожатай, помогатай*; *-ан* – *баян* 'чародей, волшебник', *молочан* 'молотильщик', *торгован* 'купец'; *-л(о)-* – *боронило* 'боронильщик', *метало* 'мечет невод'; *-аль* – *копаль, грабаль* (сена), *ткаль, коваль*; *-яга* – *бороняга* 'боронильщик', *молотяга* 'молотильщик', *бродяга* и др.). Каждая из выделенных словообразовательных моделей рассматривается с разных точек зрения: словопроизводственной базы, происхождения, продуктивности в разные периоды истории языка, ареале распространения в современных говорах, соотношении с однокоренными синонимичными образованиями и т.п. (с. 14–26).

Столь же подробно и информативно рассмотрена в монографии номинация лиц по характеризующему признаку (с. 26–39). Заслуживает внимания заключающий эту часть работы вывод о том, что тенденция к специализации формантов у номинаций лиц по функциональному и характеризующему признакам последовательно проявляется у продуктивных словообразовательных типов. Насыщено тонкими наблюдениями описание слов общего рода (с. 39–48). В частности, весьма важными представляются данные о согласовании (по мужскому или женскому роду) слов типа *воевода, слуга, голова* в разные периоды истории языка и в современных говорах.

Детально описана лексическая группа названий рукоятей орудий (с. 48–60). Данные лингвогеографии, аккумулированные в этой части работы, позволяют автору выделить диахронические пласты в словообразовании описываемой ЛСГ: 1) праславянские модели десубстантивов на *-ье* и *-ище* от видовых названий орудий ручного труда и субстантивы с суф. *-н-<-ьн-*, *н'-<-ьнj-* от девербативов на *-ло*, мотивированных отыменными глаголами, производными от видовых названий орудий; 2) восточнославянские деадъективы на *-ье, -ище, -ло*, конфиксы на *-ье* типа *окосье*, десубстантивы на *-ина* – дублеты производящих слов; 3) формирующиеся в старорусский период образования на *-ник, -лка* от видовых названий орудий, конфиксы на *-ник* и *-ина*, номинации с корнем *-держ-* (с. 59–60).

Не менее впечатляющим представляется описание названия полей, с которых собран урожай (с. 60–84). Ю.С. Азарх выделяет два подраздела – общие названия сжатого поля и видовые названия полей, с которых собран

урожай. Вообще следует заметить, что рецензируемая книга существенно расширяет наши представления о многообразии лексических и словообразовательных средств диалектного языка. Систематизированный материал, которым оперирует автор, уже сам по себе представляет значительную ценность, однако его хроно-топологическая интерпретация, осуществленная в работе, многократно увеличивает эту ценность.

Автор демонстрирует богатство и разнообразие общих наименований сжатого поля, большая часть из которых представлена дериватами с корнями *-жн-/-жа* (от глагола *жѧти, жьнѫ*) и корнем *-рж-<-рьж*: *жниво* (*о, а*), *жнивьё, жни́вье, жне́вье, жни́венье, жниве́нье, жне́венья, жн(и/е)веньё, жни́вище, жне́вище, жн(и/е)ви́ще, жни́вник, жне́вник, жнивень, жневень, жниве́нник, жниве́льник, жни́вля, жне́вля, жни́вина, жне́вина, жнивь, жневь, жни́вик, жниви́к, жни́вина, жниви́ца, жни́вцы, у́жни́в, у́жнев, ужни́во, жни́тва, жнетво, жни́тка, жни́тина, жнити́на* и т.д.; *ржи́ще, ржани́ще, ржевник, ржевень, ржани́на, ржани́ца, ржанец, уржевина* и др. Помимо подробных сведений фактологического характера и их ареальной характеристики, Ю.С. Азарх предлагает ряд выводов общего плана о соотношении лексических и словообразовательных ареалов, основанных на исследовании этого материала. Позволю себе процитировать некоторые из выводов, имеющие как теоретическое, так и методологическое значение: "Чем больше лексический ареал, т.е. чем бо́льшую территорию занимает данная лексема и ее производные, тем вероятнее формирование на границах лексического ареала нескольких словообразовательных ареалов. Формирование в пределах одного лексического ареала у однокоренных соответствий различных словообразовательных моделей – это прежде всего сигнал продуктивности лексического ареала.

...На стыке ареалов идет интенсивный процесс взаимодействия однокоренных и разнокоренных образований различной словообразовательной структуры. При этом, как правило, модель лексемы меньшего ареала и менее продуктивного словообразовательного типа перестраивается по образцу лексемы более обширного ареала и более продуктивного словообразовательного типа" (с. 74–75).

Подраздел о видовых названиях полей (с. 75–84), включающий такие образования, как *ржище, овсище, пшонище, ячменище, гречище, льнище*; *клеверище, картовище, гречье, просье, пшенье, ячменье, гречанье, овсянье, просянье, гульбишник, картофельник, картошник* и тому подобное насыщен исторической информацией. Весьма примечательны рассуждения о развитии пространственного значения у образований на-*j-e-*< *-bj-e* (типа *гречье, пшенье, просье, пшеничье*) в результате "регулярной многозначности" (с. 80).

Ю.С. Азарх констатирует ограниченность лексического состава названий ягод и закрытость этой ЛСГ. В основу номинаций рассматриваемой группы положены различные, характерные для определенного вида ягодных растений признаки: цвет плода, его форму, его вкус, запах, воздействие на организм и т.п. Автор анализирует все – как продуктивные (на *-ина, -ища, -ига, -иха, -ина*), так и малопродуктивные модели (на *-уха, -аха, -яга*), а также нерегулярные образования (на *-ель, -ень, -ядь/-яда, -ёра*) (с. 84–92).

На основе лингвогеографических данных Ю.С. Азарх выявляет относительную хронологию этих словообразовательных моделей. Как и в предыдущих разделах, сведенные воедино этимологические, исторические и диалектные данные позволяют автору сделать этот фрагмент описания исчерпывающе информативным. Хотелось бы лишь отметить, что здесь не учтена статья Т.А. Бобровой [Боброва 1990: 95–131], в которой предложены уточненные этимологии для некоторых названий ягод (*брусника, куманика* и некоторых других).

В следующем разделе "Модификационные словообразовательные типы" (с. 93–136) – описательная часть предваряется теоретическими выкладками. Автор четко формулирует свое представление о модификации в словообразовательных отношениях. В работе констатируется: "При модификации лексическое значение производящего полностью входит в семантику производного (модификата). ...Это значит, что производное может отличаться от производящего одним/несколькими семантическими признаками, не противоречащими значению производящего, не изменяющими принадлежность последнего к тому или иному тематическому объединению слов... Однозначность семантической оппозиции членов словообразовательной пары при модификации обусловливает и относительную немногочисленность словообразовательных типов с одинаковым частным словообразовательным значением. Ограниченность выбора словообразовательных средств при

деривации модификатов определяет и достаточно четкое территориальное распределение синонимичных модификационных словообразовательных типов ...Диалектные различия у модификационных словообразовательных типов выражены прежде всего в формантной их части, в словообразовательных средствах..." (с. 93–94).

Это многословное цитирование опять-таки обусловлено тем обстоятельством, что модификационные значения, выражаемые суффиксами существительных и подкрепленные обширным диалектным материалом, до сих пор не рассматривались столь подробно.

В разделе "Существительные со значением женскости" (с. 95–113) рассмотрены различные модели модификатов и исследованы различия в их функционировании и территориальном распределении (образования на *-ка – любителька, свидетелька, докторка, анжинерка, бригадирка, почтальонка, швейка* и под., на *-иха – избачиха, почтариха, пастушиха, ткачиха, врачиха, докториха, медвежиха, волчиниха, зайчиниха, кузнечиха, белиха, толстиха, надсадиха* 'сварливая баба', *барсиха, лосиха, боровиха*; на *-уха – старуха, большуха, брехуха, вруха, игруха, говоруха*; на *-ица – докторица, лекарица, ны́тица, лука́вица, хитри́ца, на́дница, гусиница, гусица*; на *-ина – мона́шина, фельдшери́на, племя́нина, своя́чина*; на *-ея – игре́я* 'песенница', *жнея, ткея, течея* 'ткачиха'; на *-ша – агрономша, бригадирша, капитанша* и новообразования типа *училыша* и под.).

Ю.С. Азарх, основываясь на материалах древне- и старорусских текстов, устанавливает хронологические границы возникновения образований со значением женскости в их соотношении с дериватами муж. рода.

Подраздел о первичных деминутивах (с. 115–123) открывается описанием процесса дедеминутивации, свойственного русским говорам. Обращено внимание на то обстоятельство, что в лингвистике почти не исследован вопрос о различиях в функционировании первичных деминутивов в русских говорах. Подчеркнута регулярность деминутивов в функции сингулятивов, обычно в отрицательных конструкциях: *картовочки не было* и под.

Подраздел об именах со значением невзрослости (с. 123–129) предваряется описанием ряда особенностей, характерных для этого круга слов: 1) обязательное наличие семы 'малый'; 2) обязательное наличие семы 'принадлежность', выраженной как у праславянских, так и у русских инноваций (регулярных моделей) суффиксом *-ен-*, входящим в состав сложных формантов; 3) использование суффиксов, не являющихся формальным показателем грамматического рода – мужского или женского. Подчеркнуто, что на всем протяжении истории русского языка выделяется две подгруппы этой ЛСГ – образования со связанным корнем и лексическим значением невзрослости, выраженным корнем, и модификаты от имен с несвязанным корнем (в отличие от первой, архаичной, закрытой, вторая является открытой семантико-словообразовательной группой). Особый интерес для историков языка представляет обзор функционирования этой категории слов в древне- и старорусской письменности. Автор полагает, что к XV–XVI вв. у образований с несвязанным корнем появляется трехчленная оппозиция типа *гусь/гуси – гусенок/гусенки – гусята*, а у дериватов со связанным корнем – двухчленная типа *теленок/теленки – телята*. На стыке ареалов этих двух моделей засвидетельствованы инновации типа *гусятенок/гусятёнки*.

Небольшой подраздел о названиях однородного множества растущих деревьев (с. 129–134) связан с практически закрытой ЛСГ (это названия зарослей, рощ, леса, состоящих из деревьев и кустарников в основном одного вида или однородных по одному из признаков – 'молодой'/'старый', 'редкий'/'густой', 'здоровый'/'больной', 'высокий'/'низкий', 'крупный'/'мелкий' или назначению – пригодный/непригодный для изготовления бревен, досок, изделий из дерева. Представлены подробные данные о функционировании образований типа *дубье, ельня, поросль, кедрач, ельник* в истории русского языка и современных говорах.

Часть монографии, посвященная модификационным словообразовательным типам, завершается разделом о сингулятивах (с. 134–136). Автор выделяет четыре признака, характерных для этой словообразовательной категории: 1) единичность; 2) нерасчлененность; 3) выделенность из совокупности предметов или массы вещества; 4) определенность, т.е. соотнесенность с конкретным лицом или предметом. Автор исследует сингулятивы с суффиксом *-ин(а)*, который не изменяет лексического значения производного и в то же время имеет функцию, аналогичную определенному артиклю. В работе подчеркнуто, что сингулятивы во мн. числе – как в древне- и старорусских памятниках, так и в современных говорах – обычно употребляются в

сочетании с количественными числительными (тем самым нивелируя противоречие между значением нерасчлененной единичности у сингулятивов и значением расчлененной множественности у словоформ мн. числа). Отмечается формирование в некоторых говорах новой модели сингулятивов с удвоением суффикса – таких, как *дрови́нина, мали́нина, облачи́нина,* а также экспрессивов на *-инка – частоколинка, травинка, зернинка* и под. Следует отметить, что каждая из моделей, рассмотренных автором, точно локализована.

Раздел о транспозиционных словообразовательных типах, как и предыдущие, содержит ряд теоретических обобщений (с. 137–142), важных для исследований в области русского словообразования. Автор констатирует: «При транспозиции производящее и производное находятся в отношениях "нулевой оппозиции"... Члены словообразовательной пары при этом типе семантического соотношения равнозначны друг другу хотя бы в одном из своих лексико-семантических вариантов. Широта категориального значения предметности, с одной стороны, и постоянство связей в речи действия/состояния с их субъектом и объектом, а качества – с его носителем, с другой стороны, обусловливают регулярность представления процессуального и качественного признаков в форме существительного. Таковы имена действия/состояния и имена качества... Синтаксические деривaты, или транспозиты, отличаются от своих производящих частеречной принадлежностью. Имена действия/состояния, наследуя лексическую сочетаемость и актантные значения производящих глаголов, утрачивают в своей семантике их грамматическое значение: вид, время, наклонение, залог, лицо...».

Автор исследует функционирование и характер варьирования в разных ареалах имен действия/состояния с суффиксами *-нье, -ка, -ø, -отня, -отень, -ота, -ость* и др., а также демонстрирует диалектные различия в составе имен действия. Особо отмечены транспозиты с дополнительным модификационным значением.

Особенности организации отдельных подсистем словообразования в различных ареалах диалектного языка, представленные с возможной полнотой в их вариативности, позволяют автору перейти к описанию путей формирования словообразовательных ареалов различных словообразовательных типов на русской диалектной территории.

Проанализированные в предшествующих разделах материалы, собранные воедино, дают возможность вывести определенные закономерности в установлении системы корреспонденций лексических и словообразовательных ареалов, рассмотреть типичные расширяющиеся и сужающиеся лексические ареалы, выделив при этом систему релевантных признаков, и приложить понятия расширения/сужения к ареалам словообразовательным. Для расширяющихся и сужающихся словообразовательных ареалов также выделены соответствующие наборы признаков (с. 143–157).

Заключительный раздел "Диалектное членение русского языка и диалектное распределение словообразовательных моделей" (с. 158–164) демонстрирует, насколько существенны данные словообразования для уточнения группировки русских говоров.

Автор предлагает ряд дополнений к диалектному членению русского языка К.Ф. Захаровой и В.Г. Орловой. В материалах, приведенных в работе для разных диалектных зон, учтены различные словообразовательные модели. Рецензируемая монография свидетельствует о том, что при всей калейдоскопичности и кажущейся бессистемности словообразовательные данные могут служить надежным основанием для установления границ в языковом пространстве.

В компактном заключении (с. 165–167) четко изложены результаты рецензируемого труда. Автор постулирует необходимость – из-за изменчивости лексических и словообразовательных ареалов – повторных периодических обследований одних и тех же частных диалектных систем в зоне иррадиации этих ареалов по Программам ДАРЯ и ОЛА.

Итак, преодолевая многочисленные объективные трудности, с которыми неизбежно сталкивается исследователь диалектной словообразовательной проблематики (аморфность материала, его неравномерность и т.п.), тонкий знаток русского диалектного словообразования, Ю.С. Азарх, создает фундаментальное, оригинальное, тщательно выполненное исследование. Постулирование на проанализированных данных некоторых закономерностей в соотношении лексических и словообразовательных ареалов заметно продвигает работу по созданию полной русской диалектной словообразовательной картины мира. К сказанному следует добавить, что завершает труд внушительный список литературы, включающий все имеющие отношение к освещаемой проблематике труды, и столь же внушительный список источников.

Существенное место в работе занимает материал, собранный самим автором в полевых условиях.

Рецензируемая книга с ее методикой исследования и глубокими интерпретациями диалектных и исторических фактов может служить отправной точкой для подобных штудий. Несомненно, работа Ю.С. Азарх будет стимулировать дальнейшие разработки в этом направлении. Хочется надеяться, что эта книга еще более активизирует работу по собиранию ценного и столь быстро исчезающего лингвистического материала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Азарх Ю.С. 1961 – Существительные женского рода с суффиксом *-ядь* в русском языке // Материалы и исследования по русской диалектологии. Вып. 2. М., 1961.

Азарх Ю.С. 1965 – Словообразование существительных женского рода с нулевой флексией в именительном падеже единственного числа (на материале письменных памятников русского языка с XI в. и данных диалектологии). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1965.

Азарх Ю.С. 1977 – К истории собирательных типа *братья, зверьё* в русском языке // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования. 1975. М., 1977.

Азарх Ю.С. 1979а – К истории словообразовательных типов названий детенышей и детей в русском языке // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования. 1977. М., 1979.

Азарх Ю.С. 1979б – Слова на *-иха* в русском языке // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования. 1977. М., 1979.

Азарх Ю.С. 1983 – Существительные на *-а* с экспрессивными суффиксами типа "гласный задненебный согласный" в русских говорах // Русские народные говоры: Лингвогеографические исследования. М., 1983.

Азарх Ю.С. 1984 – Словообразование и формообразование существительных в истории русского языка. М., 1984.

Азарх Ю.С. 1988 – К истории слов общего рода в русском языке // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования. 1984. М., 1988.

Азарх Ю.С. 1989 – Отражение на лингвогеографических картах некоторых особенностей словообразования // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования. 1985–1987. М., 1989.

Боброва Т.А. 1990 – Ягодные наименования на *-ик(а)* в русском литературном языке // Исследования по исторической грамматике и лексикологии. М., 1990.

Вендина Т.И. 1990 – Дифференциация славянских языков по данным словообразования. М., 1990.

Вендина Т.И. 1998 – Русская языковая картина мира сквозь призму словообразования (макрокосм). М., 1998.

Грамматика-70 – Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970.

Захарова К.Ф., Орлова В.Г. 1970 – Диалектное членение русского языка. М., 1970.

Степанова М.Д. 1968 – Методы синхронного анализа лексики. М., 1968.

Степанова М.Д. 1975 – Вопросы моделирования в словообразовании и условия реализации моделей // ВЯ. М., 1975. № 2.

Улуханов И.С. 1996 – Единицы словообразовательной системы русского языка и их лексическая реализация. М., 1996.

Weisgerber L. 1971 – Die geistige Seite der Sprache und ihre Erforschung. Düsseldorf, 1971.

С.И. Иорданиди

№ 1 2001

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

19–20 ноября 1999 г. в Уфе проходила научная конференция "Актуальные проблемы сопоставительного языкознания и межкультурные коммуникации", организованная факультетом романо-германской филологии Башкирского государственного университета. Конференцию открыл председатель оргкомитета Р.З. Мурясов, подчеркнувший особую актуальность сопоставительного изучения языков как одного из ведущих направлений, становление которых обусловлено эволюцией и дальнейшим совершенствованием методологии и конкретных методов лингвистических исследований. При помощи сопоставительных исследований достигается углубленное познание системно-функциональных закономерностей родственных и неродственных языков, выявляются сходства и различия между ними, а также языковые универсалии. Сущность сопоставительного метода заключается, таким образом, в системно-функциональном подходе к языковым феноменам безотносительно к генетической, структурной, ареальной принадлежности языков.

С приветственным словом к участникам и гостям межрегионального съезда лингвистов, в котором приняли участие ученые-лингвисты Башкортостана и Твери, Москвы и Казани, Самары и Нижнего Новгорода, Сыктывкара и Ижевска, Иркутска и Елабуги, Волгограда и Йошкар-Олы, Набережных Челнов и Челябинска и др., обратился проректор по научной работе БашГУ Р.А. Якшибаев.

На пленарном заседании были прослушаны доклады, посвященные узловым вопросам теории и практики сопоставительного изучения языков.

Р.З. Мурясов (Уфа) в своем докладе дал подробный анализ неличных форм глагола (инфинитивных и причастных) в типологическом аспекте на материале немецкого, английского, французского, русского, латинского и башкирского языков. Инфинитивы в индоевропейских и тюркских языках обнаруживают помимо общих семантико-грамматических характеристик также ряд особенностей, свойственных только одному или одной из групп сопоставляемых языков. Так, в морфологической структуре инфинитива в русском языке находят свое выражение категории вида и залога, в то время как инфинитиву английского, немецкого, французского и латинского языков присущи категории залога и таксиса. В тюркских языках инфинитив не имеет категорий времени, лица, числа и наклонения, но он характеризуется категорией залога, аспектуальности и оппозицией положительной и отрицательной форм. По утверждению докладчика, приписывание инфинитиву категории времени в строгом смысле этого термина в грамматических исследованиях многих языков следует признать ошибочным, так как соответствующие формы инфинитива не выражают ни будущего, ни настоящего, ни прошедшего времени, формы инфинитива выражают таксис, т.е. временные отношения предшествования, одновременности и следования.

Л.М. Васильев (Уфа) обратил внимание на некоторые семантические категории как универсалии контрастивной лингвистики, образующие основной каркас семантических полей. Семантические категории, различающиеся по степени абстрактности и самостоятельности, по объему и структуре своего содержания, по характеру связей с другими категориями, по внешним средствам выражения, соотносятся с самыми общими понятиями, образуя концептосферу языка, его "семантическую грамматику". Объектом контрастивной лингвистики должны быть: 1) семантические категории в сопоставляемых языках; 2) структура се-

мантических полей, именами которых являются семантические категории; 3) структура различных типов значений; 4) различия во внешних средствах выражения одного и того же содержания. При этом, акцент необходимо сместить на содержательную (контрастивную) типологию.

В докладе Т.М. Гарипова и др. (Уфа) были рассмотрены некоторые корреляторы башкирского и венгерского языков в плане гипотетического родства урало-алтайских языков. По утверждению докладчика, идеи о генетической близости урало-алтайских языков находят свое логическое развитие в ностратической теории древнейшего родства или, по крайней мере, первоначального свойства евразийских языков. Факты, присущие обеим семьям языков, в большей степени отмечаются и в их структуре, например, их сингармонизм и агглютинативный характер. Наиболее простое и последовательное объяснение существованию аналогических явлений в языках, традиционно не рассматривающихся как родственные, можно найти, опираясь на постулируемые тесные контакты их праязыков.

Предметом рассмотрения доклада Р.Х. Хайруллиной (Уфа) стала специфика описания картины мира в языке посредством фразеологизмов, заключающаяся в закреплении во фразеологической картине мира системы образов, отражающих национальное мировидение. В своем семантическом развитии единицы фразеологического состава языка сохраняют в себе следы экстралингвистического содержания, совмещая его с языковым, семантическим картированием мира. Опираясь на многочисленные примеры из русского, английского и башкирского языков, в зависимости от способа семантической транспозиции автор выделяет фразеологизмы-метафоры и фразеологизмы-метонимии.

Доклад С.Г. Шафикова (Уфа) был посвящен изучению эквивалентных фразеологических полей в разных языках с точки зрения связи прагматического компонента значения с внутренней формой и языковым универсалиям в сфере фразеологии.

В.М. Калимуллина (Уфа) рассмотрела когнитивный аспект представления подтекстовой информации в переводе: 1) когнитивное моделирование подтекстовой информации в тексте-источнике и тексте-переводе; 2) сопоставление построенных когнитивных моделей и соответствующих языковых фреймов; 3) установление объема корреляции когнитивных моделей. По мнению докладчика, когнитивное направление позволяет связать все языковые процессы с потребностями и реализацией коммуникативной и познавательной деятельности человека, с актами категоризации, концептуализации и языкового отражения окружающего мира.

Л.Г. Саяхова (Уфа) в своем докладе коснулась вопросов сопоставительного изучения языков на уровне языковой картины мира и поделилась своими впечатлениями об обсуждении аналогичных проблем на IX конгрессе МАПРЯЛ, который состоялся в августе 1999 г. в Братиславе.

Широкий диапазон направлений сопоставительного языкознания, многообразие фактического материала характеризовали доклады на секциях. Всего на конференции работало 6 секций: I. Теория грамматики; II. Проблемы теории словообразования; III. Теория текста; IV. Проблемы лексикологии и стилистики; V. Проблемы теории перевода, страноведения и культурологии; VI. Сопоставительное языкознание и методы обучения иностранным языкам.

На I секции рассматривались проблемы частей речи и грамматических категорий в сопоставительном плане, функционально-семантическая категория темпоральности и перфектности [Н.М. Барахоева (Назрань)], аспектуальности [В.А. Литвинов (Уфа)], морфологические особенности [Н.З. Баширова (Казань)], синтаксические разряды слов [А.С. Михеев (Казань)], разговорные формулы речевого этикета (Р.А. Газизов (Уфа)], скалярность и семантика прилагательных (В.Е. Горшкова (Иркутск)], типология темпоральных систем [М.Н. Закамулина (Казань)], изофункциональность и синонимия в синтаксисе [М.И. Запасова (Иркутск)], межкатегориальные отношения [Н.И. Пушина (Ижевск)] и др.

На II секции освещались такие вопросы словообразования и словообразовательных структур в контрастивном аспекте, как морфемный состав слова [К.З. Закирьянов (Уфа)], стилистические деривационные средства [Р.Г. Гатауллин (Уфа)], структурная характеристика безаффиксных топонимов [Р.Ф. Хисаметдинова (Уфа)], модели топонимов [В.В. Кузиков, Р.Р. Закирова (Уфа)], деривационно-семантические категории [Г.Р. Иштуганова (Уфа)], производные с собирательным значением [Е.Н. Болотова (Стерлитамак)], образование парных сочетаний [Ф.Н. Нурисламова (Уфа)], имя собственное в экспрессивном словообразовании [А.С. Самигуллина (Уфа)] и др.

Вопросы сопоставительного изучения текста обсуждались на III секции: структура

текста [Ф.С. Искужина (Стерлитамак)], фонетические средства экспрессивности художественного текста [Ф.С. Мусина (Уфа)], имплицитность как словообразовательный фактор смысловой структуры текста [Л.А. Нефедова (Челябинск)], значение речевого этикета в вербальной коммуникации [Л.А. Азнабаева (Уфа)] и синтаксический уровень поэтического текста [В.А. Смышляева (Санкт-Петербург)], функционально-стилистическое варьирование в текстах [О.И. Таюпова (Уфа)] и др.

На IV секции освещались вопросы сопоставительной лексики и стилистики: факторы создания оценочности в фразеологизмах [Е.Ф. Арсеньева, Н.С. Черезова (Казань)], фразеологические универсалии [С.К. Башиева (Казань)], функционально-семантическая сфера словаря [Г.В. Гафарова (Уфа)], метод компонентного анализа и возможности исследования семантики предлогов [О.Г. Дудочкина (Уфа)], семантический статус экспрессивного компонента глагола [В.Л. Ибрагимова (Уфа)], когнитивный анализ глаголов речи [Ф.Р. Имамутдинова (Уфа)], перспективы сопоставительного изучения лексической системы языков [Т.А. Кильдибекова (Уфа)], структурно-семантические особенности народных примет [Н.Н. Фаттахова (Казань)], текстовые фразеологизмы [З.З. Чанышева (Уфа)] и др.

Предметом обсуждения на V секции были проблемы социального билингвизма и билингвологии [Л.Л. Аюпова (Уфа)], кросскультурные контакты [С.Ж. Нухов (Уфа)], типология межкультурных коммуникаций [Е.В. Харченко (Челябинск)], стихотворный перенос как средство актуализации [Е.А. Фенова (Уфа)], проблема перевода семантической структуры слова [Т.Д. Шабанова (Уфа)], когнитивное моделирование модальности и т.д.

На секции VI рассматривались вопросы лингводидактики [Л.А. Фатыхова, Л.К. Мазунова, З.З. Исхакова, Ф.А. Исламова, Н.В. Маханькова (Уфа)], социально-культурной парадигмы иноязычного образования [С.В. Иванова (Уфа)], иноязычной культуры как предмета изучения [Л.Г. Саяхова (Уфа)] и др.

Секционные заседания завершались дискуссией по всем обсуждавшимся проблемам.

В целом конференция показала, что несмотря на трудности в научных центрах страны продолжается разработка основных фундаментальных направлений сопоставительного языкознания и межкультурных коммуникаций, внедряются новые методы и методики исследования. Конференция, проведенная по данной проблеме в Республике Башкортостан, где живут представители славянских, тюркских, финно-угорских, а также германских народов и контактируют их языки, где в школах и вузах изучается несколько иностранных языков, послужит стимулом к активизации исследований по сопоставительному языкознанию.

Подробности о материалах конференции можно найти в публикации: "Актуальные проблемы сопоставительного языкознания и межкультурные коммуникации" / Ответственный редактор и составитель Р.З. Мурясов. Материалы научной конференции. Уфа, 1999.

Р.Г. Гатауллин (Уфа)

23–25 февраля 2000 года в Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН состоялась Международная конференция "Активные языковые процессы конца XX века" (IV Шмелевские чтения*). Конференции, посвященные памяти академика Д.Н. Шмелева, стали уже традиционными, последняя состоялась в 1998 г. (информацию об этом см. [ВЯ 1999]).

До начала конференции был опубликован сборник тезисов*, включающий более 80 докладов (см. [Активные языковые процессы... 2000]).

В конференции приняли участие ученые из разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Владимира, Калуги, Красноярска, Екатеринбурга, Перми, а также зарубежные коллеги из Австрии, Германии, Италии, Литвы и Финляндии. На конференции обсуждался широкий круг вопросов, посвященных анализу языковых процессов рубежа веков. Тематика конференции во многом определялась сферой научных интересов Д.Н. Шмелева.

Было проведено четыре пленарных заседания с 28-ю докладами.

В совместном докладе Т.В. Булыгиной и А.Д. Шмеле-

---

* Конференция проводилась при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), грант № 00-06-85010.

в а (Москва) «Русская языковая картина мира в зеркале "народной этимологии"» были рассмотрены явления этимологической реинтерпретации, обусловленные ассоциативными связями, которые характерны для современного языка, и особенностями русского менталитета. Живой отклик вызвал доклад В.Г. Г а к а (Москва) «"Гастрономический" диминутив в русском языке», в котором на примере гипокористических форм слов, обозначающих еду, были показаны различия лексических подсистем русского и французского языков. В докладе И. О н х а й з е р (Инсбрук) были обобщены наблюдения над особенностями передачи чужой речи в современной чешской, польской, русской, австрийской и немецкой прессе. В своем выступлении Н.Д. А р у т ю н о в а (Москва) рассмотрела концепт широты (широкости) как характерную черту русского характера (на примере творчества Ф.М. Достоевского).

В докладе Е.В. Падучевой (Москва) "К типологии метонимических переносов" было выделено три основных типа таких переносов. Основное внимание было уделено метонимическим связям между разными значениями одного слова (на примере семантических парадигм глаголов *выйти, уйти, прийти*).

Большой интерес вызвали также доклады Г.А. З о л о т о в о й (Москва) "Понятие личности/безличности и проблема национального характера", Г.Е. К р е й д л и н а (Москва) "Невербальные акты касания и русские глаголы касания".

В докладе Л.Л. К а с а т к и н а (Москва) "Фонологическое содержание долгих шипящих в русском языке и процессы их отвердения" было доказано, что долгие шипящие не являются отдельной фонологической единицей, а представляют собой сочетание гиперфонемы с фонемой /ш/ или /ж/. Выступление Р.Ф. К а с а т к и н о й (Москва) было посвящено изменениям в просодической системе русского литературного языка конца XX века. Интересные наблюдения над современной произносительной манерой телеведущих были сделаны в докладе С.В. К о д з а с о в а (Москва).

Доклады Е.А. З е м с к о й (Москва) "Умирает ли язык русского зарубежья?" и М.Я. Г л о в и н с к о й (Москва) "Общее и специфическое в грамматических процессах метрополии и эмиграции" были посвящены активным процессам, происходящим в языке русского зарубежья. Было показано, что некоторые участки языковой системы в первую очередь подвергаются влиянию иноязычного окружения, а другие, напротив, являются устойчивыми.

Тенденциям и причинам семантических трансформаций в лексике русского языка конца XX века были посвящены выступления О.П. Е р м а к о в о й (Калуга) и К. Л а с о р с а - С ъ е д и н о й (Рим).

Социальный аспект функционирования языка был затронут в докладах З. К ё с т е р - Т о м а (Берлин) "К проблеме лексикографической обработки европейского субстандарта" и Т.И. Е р о ф е е в о й (Пермь) "Малая социальная группа как объект лингвистического исследования".

Принципы возможной типологии фразеологических оборотов и речевых формул русского языка были представлены в совместном докладе А.Н. Б а р а н о в а и Д.О. Д о б р о в о л ь с к о г о (Москва). Акад. Ю.С. С т е п а н о в (Москва) в своем выступлении рассмотрел группу "новых русских" эвфемизмов, подчеркнув, что их появление связано с изменениями в общественной этике.

Русской устной речи были посвящены доклады Е.Н. Ш и р я е в а (Москва) "Структура интенционального диалога в разговорной речи" и М. Л е й н о н е н (Тампере) "Слово *дак* в русской устной речи".

В.П. Г р и г о р ь е в (Москва) в своем выступлении «Заметки к теме “Хлебников и Солженицын”» показал определенную близость между этими двумя крупными писателями, до сих пор ускользавшую от внимания исследователей.

Современной языковой ситуации в России, проблемам языка средств массовой информации и других сфер публичного общения были посвящены доклады С.И. Г и н д и н а (Москва) «Лингвист и "прибой рынка"», О.Б. С и р о т и н и н о й (Саратов) "Хорошая речь: сдвиги в представлении об эталоне", Н.А. К у п и н о й (Екатеринбург) "О расширении границ речевой свободы", О.А. Л а п т е в о й (Москва) "Кризисные точки языковых изменений", А.П. С к о в о р о д н и к о в а (Красноярск) "О соотношении процессов экспрессивизации и вульгаризации русской публичной речи", В.Н. Т е л и я (Москва) "Социально-коммуникативное пространство формирования речевого стандарта", А.Я. Ш а й к е в и ч а (Москва) «"Зоны поглощения" и "зоны излучения" в языке газеты».

На конференции работало ч е т ы р е с е к ц и и.

На заседаниях первой и второй секций ("Активные процессы в системе языка" и "Активные процессы в функционировании языка" было заслушано 26 докладов. Проблемам функциональной семантики были посвящены доклады Е.В. Урысон (Москва) "Аналогия в семантике", О.Ю. Богуславской (Москва) "Разнообразная неопределенность", И.И. Макеевой (Москва) "Семантические архаизмы в современном русском языке" и др.

Проблемам языковой личности были посвящены доклады В.Е. Гольдина, А.П. Сдобновой (Саратов) "Отражение современных языковых процессов в ассоциативном словаре саратовских школьников", М.А. Кормилицыной (Саратов) "Усиление личностного начала в русской речи последних лет", И.Т. Вепревой (Екатеринбург) "Метаязыковая ориентация языковой личности в условиях языковой перестройки".

Новые жанры городской коммуникации рассматривались в докладах М.В. Китайгородской, Н.Н. Розановой (Москва) "Тенденции жанрового развития современной городской коммуникации", Т.М. Григорьевой (Красноярск) "Графико-орфографические приметы современности", Е.В. Осетровой (Красноярск) "*Слухи* в коммуникативном пространстве города".

В выступлении Л.П. Крысина (Москва) "Новые аналитические прилагательные и явления хиатуса" было показано, что хотя хиатус не характерен для звуковой структуры русских слов, в фонетической подсистеме заимствованной лексики это весьма распространенное явление.

Секция "Языковые подсистемы" включала 17 докладов, семь из которых были посвящены проблемам диалектологии. Вопросы диалектной лексикографии обсуждались в докладах О.Г. Гецовой (Москва) "Место общерусской лексики в лексической системе современных говоров" и Е.А. Нефедовой (Москва) "Экспрессивная лексика языковой (диалектной) личности", построенных на материалах картотеки Архангельского областного словаря. Проблемам диалектной фонетики были посвящены доклады Д.М. Савинова (Москва) "К вопросу о происхождении умеренного яканья в говорах Тульской области" и И.Б. Качинской (Москва) "Распределение согласных по твердости/мягкости в архангельских говорах по данным солдатского песенника 1904–1905 гг." Грамматическая категория времени, представленная в диалектном языке, с точки зрения особенностей восприятия времени в традиционной крестьянской культуре была рассмотрена в докладе О.Г. Ровновой (Москва) "К вопросу о грамматической категоризации глагольного действия в русских говорах".

Четыре доклада было посвящено вопросам социальной дифференциации русского языка. В докладе Е.В. Ерофеевой (Пермь) был рассмотрен статус городского просторечия в современном русском языке и выдвинуты доказательства в пользу его несистемного характера. Речевому общению в малых социальных группах были посвящены доклады Т.И. Доценко (Пермь) "Активные процессы в лексиконе подростка", А.В. Занадворовой (Москва) "Цитата в семейной речи", Л.Л. Федоровой (Москва) "Современное состояние молодежной речи: к определению жаргона". Живой интерес вызвали также доклады Н.К. Онипенко (Москва) "Языковые механизмы диалогизации монолога", А.Д. Кошелева (Москва) "О соотношении инвариантного и частотного компонентов языкового значения" и др.

В секции "Лингвистическая поэтика. Культурология" было прослушано девять докладов, которые охватили широкий круг вопросов.

В интересном докладе Н.А. Фатеевой (Москва) "Художественный текст и его электронное представление: интертекст и гипертекст" был проанализирован большой пласт современной литературы.

Бурную дискуссию вызвал доклад А.Б. Пеньковского (Владимир) "К предыстории современных процессов семантического развития: О проекте дифференциального словаря языка пушкинской эпохи". На примере употребления слова *старина* докладчик показал, что в пушкинскую эпоху многие слова, обозначающие пространственные и временные характеристики, имели "двойной масштаб": большой, соответствующий современному употреблению, и малый – ныне утраченный (так, в современном языке нельзя сказать *гостил у него два часа*). Незнание этого факта приводит к неправильному пониманию и толкованию текстов Пушкина современными читателями и комментаторами.

Сообщения З.С. Санджи-Гаряевой (Саратов) "Оценка советского чело-

века (30-е годы)" и А.П. Романенко (Саратов) "Советская культура и язык" были посвящены проблемам функционирования языка в тоталитарном обществе.

Подводя итоги конференции, председатель оргкомитета Л.П. Крысин отметил высокий научный уровень представленных докладов. По итогам конференции решено опубликовать сборник текстов выступлений.

1–3 марта 2000 г. в Санкт-Петербургском государственном университете в рамках XXIX межвузовской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов прошла конференция, посвященная морфологии и словообразованию балтийских языков. Это уже третья конференция по балтистике, организованная кафедрой общего языкознания филологического факультета Санкт-Петербургского университета, где с прошлого года началась подготовка специалистов в области балтийских языков. В конференции приняли участие лингвисты из Латвии, Литвы, Норвегии, Германии, Польши, Украины и России. Рабочими языками были латышский, литовский, английский и русский.

Основная часть докладов касалась грамматики латышского языка, видимо в силу меньшей ее изученности. Сообщения, посвященные литовскому языку, затрагивали мало исследованные, и потому наиболее интересные, грамматические особенности. Б. Вимер (Констанц) в своем выступлении представил новый взгляд на проблему зависимости лексического значения диффузных глаголов от префиксации в литовском языке. Необычным способам выражения модальности с помощью форм первого лица множественного числа презенса глагола был посвящен доклад П. Вуйчика (Варшава), Э. Зайкаускас (Вильнюс) затронул вопросы определения грамматического, лексического и прагматического статуса перформативности, которая до сих пор не выделялась как отдельная категория в литовском языке. Интересный подход к рассмотрению словообразовательных моделей некоторых парных междометий в литовском языке был представлен в докладе Я. Швамбарите (Шяуляй).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Активные яз. процессы ... 2000 – Активные языковые процессы конца XX века (IV Шмелевские чтения). Тезисы докладов международной конференции. М., 2000.

ВЯ 1999 – Вопросы языкознания. 1999. № 1.

А.В. Занадворова (Москва)

Многочисленные доклады, посвященные латышскому языку, носили в основном описательный характер. Однако несколько сообщений затрагивали и теоретические проблемы. Важный вопрос о статусе инструменталиса в современном латышском языке был поставлен в докладе А. Андронова (Санкт-Петербург). С. Берг-Ольсен (Осло) в своем сообщении также коснулся латышской падежной системы – он говорил о морфологической омонимии падежных окончаний. Довольно общей теме – стилистическим потенциям морфологии – был посвящен доклад Я. Розенбергса (Рига).

Остальные доклады, касавшиеся морфологии латышского языка, можно условно разделить на две группы: описание состояния современного языка и анализ особенностей памятников письменности. К первой группе относится сообщение А. Вулане (Рига), посвященное классификации функций окончаний в современном латышском языке. Доклад А. Калначи (Рига) касался морфологических способов выражения семантической оппозиции одушевленный/неодушевленный в современном латышском языке. Р. Макаре (Рига) обозначила в своем докладе источники синонимии в морфологии; М. Балтиня (Вентспилс) обобщила словообразовательные стандарты и варианты латышского литературного языка. В этой же группе докладов можно выделить серию сообщений специалистов из Риги о статистическом анализе грамматики современного латышского языка: И. Грейтане говорила о методах компьютерной морфологической обработки латышских текстов; В. Кузина – о статистической обработке словообразовательных единиц латышского языка, К. Леване – о разработке морфологического маркирования для текстов латышского языка, С. Клявиня – об анализе продуктивности и употребительности аффиксов латышского языка, В. Скуйиня – об описании словообразо-

вательных моделей в терминологии латышского языка. К этой группе докладов примкнуло также статистическое исследование употребления форм с суффиксом *-dav-* в литовском языке, представленное в сообщении Дануты и Романа Рошко (Варшава).

Доклады второй группы строились на анализе материала памятников письменности. Л. Лейкума (Рига) анализировала морфологические особенности первой, изданной в Санкт-Петербурге, латгальской книги; доклад Э. Мильчоноки (Рига) был посвящен вариантам форм настоящего времени глаголов с суффиксом *-in-* в тексте фрагмента "Lettische Postill" (1654) Г. Манцеля. Р. Пяткявичюс (Вильнюс) описывал склонение существительных *i̯io*-основы в латышском Новом Завете 1685 г. К этой группе докладов можно отнести и описание особенностей памятника литовского языка – сообщение А. Сметоны (Вильнюс), который анализировал словообразование в рукописной грамматике Казимера Криступа Даукши. Некоторые доклады были основаны также на диалектном материале: В. Шаудиня (Даугавпилс) рассматривала особенности морфологии и словообразования в "Словаре гарсенишского диалекта" Й. Кулитанса; сообщение А. Бангиере (Рига) касалось явления анаптиксы на грани морфем в неопределенной форме глагола в земгальском диалекте.

Сравнительно-исторический подход к проблемам грамматики балтийских языков применили в своих докладах только некоторые выступавшие. А. Непокупный (Киев) рассматривал лит. *kaliboba* 'четвертый муж' как лексико-словообразовательный реликт и анализировал его соответствия в славянских языках. Доклад Ю. Откупщикова (Санкт-Петербург) был посвящен сравнению балтийских и славянских причастий в словообразовательном и словоизменительном аспекте. Несколько докладов касались развития языка в диахроническом аспекте: В. Казанскене (Санкт-Петербург) затронула интересную проблему истории словообразовательных моделей древнепрусского языка. О. Бушс (Рига) анализировал происхождение суффикса *-uk-* в латышском языке. И. Диманте (Рига) рассматривала возможность формирования латышского предлога *virsū* через ступень адвербализации. Проблемам истории языка был также посвящен интересный доклад А. Брейдака (Рига) об одном архаизме в народных песнях восточной Латвии и его индоевропейских истоках. На основе анализа фольклорных индоевропейских текстов был построен также доклад М. Завьяловой (Москва), посвященный некоторым грамматическим особенностям текстов литовских заговоров.

На конференции были затронуты также и прикладные проблемы, в частности, роль коммуникативной грамматики в освоении латышского языка как второго анализировалась в докладе А. Митревичи (Рига).

Взаимовлиянию смежных разделов грамматики были посвящены два доклада: И. Локмане (Рига) рассматривала роль грамматических значений именных форм в синтаксической структуре предложения; В. Смочиньский (Краков) – роль ларингальной метатезы в литовском языке.

Все доклады были встречены с большим интересом и вызвали живые дискуссии, что особенно важно на подобного рода конференциях, когда молодые ученые работают наравне с профессорами и получают возможность при непосредственном общении оценить важность своих научных наблюдений.

Хочется поблагодарить организатора конференции Алексея Викторовича Андронова за приложенные усилия и энтузиазм, а также пожелать, чтобы и следующие запланированные конференции были такими же насыщенными и интересными и проходили в такой же свободной и живой атмосфере.

М.В. Завьялова (Москва)

11 марта 2000 г. в "Доме Балтрушайтиса" при посольстве Литовской республики в Москве состоялся Круглый стол "Московская балтистика на пороге XXI века", приуроченный к 10-летию обретения Литвой независимости. Организатор Круглого стола – советник по культуре посольства Литвы в России Ю. Будрайтис – поставил задачу собрать ученых, которых объединяет интерес к Литве в разных аспектах – языковом, историческом, культурном. Традиции балтистики в Москве, имеющие давнюю историю, в настоящее время, к сожалению, поддерживаются мало. Этому

виной как политические процессы, осложнившие связи с Литвой, так и разобщенность ученых внутри России. Посол Литвы в России З. Намавичюс, открывший встречу, подчеркнул, что Литва заинтересована в налаживании научных и культурных связей с соседними странами особенно сейчас, когда она стоит на пути вхождения в Европейский союз. Возобновление контактов с литовскими коллегами не менее важно и для российских ученых.

Во встрече принимали участие историки, археологи, лингвисты и литературоведы, а также представители прессы и издательства "Индрик". Кроме того, были гости и из других городов – Санкт-Петербурга, Киева и Вильнюса.

После торжественной части, посвященной событиям 10-летней давности, состоялась живая дискуссия, в ходе которой участники Круглого стола обсуждали проблемы и перспективы развития балтистики в Москве и шире – в России. Многие собравшиеся отмечали, что информацию о настоящем собрании необходимо обобщить и распространить. В.Л. Янин (Москва) предложил выпустить сборник статей по материалам Круглого стола, посвященный Дню литовской независимости. В ходе дискуссии выяснилось, что все участники заинтересованы в проведении таких встреч как можно чаще. А.П. Непокупный (Киев), выступавший на Круглом столе в качестве ведущего, предложил устраивать в "Доме Балтрушайтиса" ежегодные конференции по лингвистике и истории. Немало пожеланий касалось издательской деятельности: было предложено подготовить к изданию литовскую метрику и другие памятники письменности; создать новый свод источников; издать словарь литуанизмов Яблонскиса; составить реестр древностей юго-восточной Балтии; опубликовать материалы архивов. Представители издательства "Индрик" предложили наладить взаимовыгодный обмен литературой с издательствами Литвы.

Были затронуты также наиболее актуальные научные проблемы, на которые в первую очередь хотелось бы обратить внимание ученых, занимающихся историческим, языковым и культурным наследием Литвы, – возвращение на новом этапе к проблеме языков Великого Княжества Литовского; проведение археологических исследований на территории бывшей Пруссии; изучение предыстории Великого Княжества Литовского с привлечением специалистов других наук; изучение уникальности Великого Княжества Литовского с точки зрения взаимодействия культур. Многими исследователями подчеркивалась необходимость объединения не только усилий ученых разных стран, но и разных научных областей с целью более полного и широкого подхода к решению проблем.

В заключение было принято решение организовать на базе "Дома Балтрушайтиса" при Литовском посольстве, ныне фактически выполняющего функции культурного центра, Общество балтистов, основной целью которого будет воплощение высказанных на данном мероприятии идей. Работой создаваемого Общества будет руководить Научный совет, состоящий из представителей разных научных организаций. Ближайшими запланированными задачами являются: организация ежегодных "балтийских чтений", а также периодических выступлений с докладами видных деятелей науки, культуры и политики Литвы, России и других стран; популяризация достижений балтистики при содействии издательств в России и Литве; создание научной библиотеки Общества путем обмена изданиями между издательствами России и Литвы. В перспективе деятельности Общества – установление сотрудничества между Россией и Литвой в подготовке научных кадров, развитие контактов с балтистами Латвии, а также обмен информацией с научными центрами по балтистике в других странах. Следует отметить, что многое на этом пути уже сделано – в этом году в "Доме Балтрушайтиса" организуется уже третья конференция, посвященная Ю. Балтрушайтису, чья деятельность и творчество является лучшей иллюстрацией взаимодействия двух культур – литовской и русской. Кроме того, уже собрана небольшая научная библиотека, которая благодаря усилиям Ю. Будрайтиса постоянно пополняется.

Хочется верить, что и подобного рода встречи станут доброй традицией, возобновятся прежние связи в области культурного и научного сотрудничества между двумя странами, и посольство Литвы в России окажет в этом необходимую поддержку.

М.В. Завьялова (Москва)

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи представляются в двух экземплярах: текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке или на компьютере через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

3. Библиография в журнале оформляется следующим образом:

3.1. Список использованной литературы дается в конце статьи по алфавиту фамилий авторов и оформляется так:

– "Код работы" (фамилия и инициалы авторов, год выхода цитируемой работы), тире, название работы. В случае, если авторов больше двух, допустимо указывать только одного автора плюс выражение типа «и др.» или «et al.».

– Если это монография, то после точки указываются место и год издания, например:

Успенский Б.А. 1994 – Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М., 1994.

– Если это статья, то после двойного слэша (//) указывается журнал (допустимы при этом стандартные сокращения) или выходные данные сборника, например:

Трубецкой Н.С. 1990 – Общеславянский элемент в русской культуре // ВЯ. 1990. № 2, 3.

– Если это сборник или иное аналогичное издание, то "кодом" является одно из двух:

а) фамилия и инициалы редактора (или редакторов; допустимы сокращения как и в ссылке на авторскую работу, см. выше) с указанием "ред." (для других языков – ed., hrsg. и т.п.) и год;

б) сокращенное название и год.

В обоих последних случаях вслед за ключом после тире указывается полное название работы, а после точки – место, запятая, год издания, например:

Greenberg J. ed – Universals of human language. V. 1. Method and theory. Stanford (California), 1978.

Universals. 1978 – Universals of human language. V. 1. Method and theory. Stanford (California). 1978.

3.2. В тексте ссылки на литературу даются в квадратных скобках; фамилия (и инициалы автора, если это необходимо во избежание недоразумений), год публикации работы с указанием цитируемых страниц (если это существенно). Например [В.В. Иванов 1992: 34], [W. Jones 1890]. Если в библиографии упоминаются несколько работ одного и того же автора и года, используются уточнения типа: [W. James 1890a]. Под этим же кодом упоминается данная работа в списке литературы.

3.3. Подстрочные примечания, которые сохраняются наряду со списком использованной литературы, имеют сквозную нумерацию.

4. Непринятые рукописи не возвращаются.

5. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются.

6. Автором публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, который является окончательным вариантом сдаваемого в набор материала; корректура авторам не высылается.

Статьи, оформленные не в соответствии с указанными выше правилами, к рассмотрению в журнале "Вопросы языкознания» не принимаются.

CONTENTS

L.N. Bulatova, E.A. Zemskaja, S.M. Kuz'mina, V.I. Novikov (Moscow). The range of the talent. To the 80-th birthday of Prof. M.V. Panov; E.A. Zemskaja (Moscow). Will the Russian language abroad really die?; M.-L. Greenberg (USA). The rise and fall of lenition of the plesives in Slovene; A.L. Šilov (Moscow). Toponymic loan-translations and etymology of substrat toponyms; G.I. Berestnev (Kaliningrad). Self-conscience of personality in the light of language data; V.D. Devkin (Moscow). On the unborn German and Russian dictionaries; G.P. Neščimenko (Moscow). Dynamics of the speech standard of contemporary public verbal communication. Problems. Trends of development; **Reviews:** I.K. Sazonova (Moscow). The Russian semantic dictionary; S.V. Hairov (Petrozavodsk). *A. Mikolaičuk*. The notion of anger in literary Polish; V.M. Alpatov (Moscow). A new interpretation of I.V. Stalin's linguistics.

Исправления в журнале "Вопросы языкознания" 2000 г. № 5

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
28	3 снизу	[i:]	[u]
29	26 сверху	сведетельства	свидетельства
29	1 снизу	Luca Menozzi	Menozzi
30	21 снизу	Олемика	олмеков
30	20 снизу	корректными	ошибочными
31	8 снизу	Luca P.M.	Menozzi P.
31	4 снизу	Стоункин	Стоункингу

Технический редактор *О.Н. Никитина*

Сдано в набор 29.10.2000 Подписано к печати 11.12.2000 Формат 70 × 100 1/16

Офсетная печать. Усл.-печ.л. 13,0 Усл.-кр.-отт. 19,4 тыс. Уч.-изд.л. 15,7 Бум.л. 5,0

Тираж 1467 экз. Зак. 4246

Свидетельство о регистрации № 0110167 от 4 февраля 1993 г.

в Министерстве печати и информации Российской Федерации

Учредители: Российская академия наук, Отделение литературы и языка РАН

Адрес издателя: 117864, Москва, Профсоюзная, 90

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, телефон 201-25-16

Отпечатано в ППП Типография "Наука", 121099 Москва, Шубинский пер., 6